

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)

А. Б. Байбородин (Иркутск)

Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)

Т. Г. Четверикова (Омск)

Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)

А. В. Кирилин (Барнаул)

Э. И. Русаков (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Н. М. Закусина (Новосибирск)

Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)

А. Ф. Косенков (Новосибирск)

В. С. Никифоров (Новосибирск)

Владимир Титов (ответственный секретарь)

Виталий Сероклинов (зав. отделом прозы)

Марина Акимова (зав. отделом поэзии)

Михаил Косарев (зав. отделом критики)

Дмитрий Рябов (зав. отделом публицистики)

**6/2016**

Главный редактор: М. Н. ЩУКИН

## Содержание

### ПРОЗА

- Алексей ТАРАСОВ. Чьи-то голоса в синем небе.** Рассказ. ....3  
**Павел ПОНОМАРЁВ. Беглец.** Повесть. ....47  
**Анатолий БИМАЕВ. Убийцы.** Рассказ. ....78  
**Сергей ПИВЕНЬ. Могила юридивого.** Рассказ. ....96

### ПОЭЗИЯ

- Светлана КЕКОВА. Вода и глина.** Стихи. ....42  
**Владимир КОСОГОВ. Человек насущный.** Стихи. ....73

### ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Осеннее кочевье.** Стихи монгольских поэтов  
в переводе Намжила Нимбуева. ....89

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Алексей УСТИМЕНКО. Катание по каменной шинели.** .... 106  
**Мастеровое слово.** Беседа с писателем Михаилом Тарковским. .... 117  
**Николай ЗАЙКОВ. Как фамилия у Вовки Гуркина?** ..... 123

### Народные мемуары

- Пётр ЧАЩИН. «Словно не домой я вернулся...»**  
*Одиссея белогвардейца на Восточном фронте.*  
*Предисловие Александра Шекшеева.* ..... 138  
**Александр СУХАЧЁВ. Семейный альбом**  
**на фоне крушения империй.** ..... 165

### КНИЖНАЯ ПОЛКА

- Елена ПАПКОВА. «В его минуты роковые».** ..... 177  
**Издано в Сибири.** ..... 181

### Картинная галерея «Сибирских огней»

- Светлана БЕЛЯЕВА. Новосибирск Николая Грицюка.** ..... 189

- Авторы номера* ..... 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г. Главный редактор, директор-руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукин.

Алексей ТАРАСОВ

## ЧЬИ-ТО ГОЛОСА В СИНЕМ НЕБЕ

Р а с с к а з

### 1.

Знаете, здесь такая непрерывность, просторы, безлюдье, такая жуть и космос, что события твоей незначительной маленькой жизни и знакомые голоса оттуда становятся вдруг исключительно ценными.

Там тебя записали Иваном. Тебе два года и два месяца, заканчивается лето 1969-го, одинокое рыхлое облако над зеленым матовым прудом уснуло сугробом. Иван его не видит. Всхлипывая, уже минут десять неотрывно смотрит на закрытую гудящую печь: на топочной чугунной дверке остался след от прикипевшего мамкиного чулка. Она в сердцах захлопнула ее ногой, когда печь надымила.

В их подмосковном дачном поселке жили семьи ученых и военных. Дача мальчика, вся усыпанная палыми рыжими иглами, стояла на границе луга и леса. Иван впервые расстался с матерью: она уехала в Москву. С ним остались отец, старший брат Ярослав и бабушка. Мальчика отучали от грудного молока.

Те шесть дней, что отец тогда продержался, он считал самым своим героическим свершением. По праву, а не потому что его жизнь была бедна на подвиги. Он, при всем том, что боялся Ивана, принял на себя первый удар, весь жар и свирепый ор, слезы ручьями и сопли пузырями, все негодование и презрение к миру, всю ненависть и нетерпение и невозможность продолжать жить. Извергаемую социопатию во всей красе, что в итоге вылилась в побег Ивана прочь, хоть куда отсюда — по влажным, гниющим прошлогодним веткам и хвое, под непадающими еще листьями и набирающимися терпкости ранетками. Иван расцарапал отцу лицо, когда тот подхватил его на руки, укусил небритую щеку, найдя соль своих же слез и в них, в соли — запах материнского молока.



Стоило матери исчезнуть — отец стал главным врагом. Он здесь, он никуда не делся, а рая больше нет, отец лишил его, вышвырнул из него... но ведь тот принадлежал Ивану — и никому более. Он не заглядывался на чужое, он лишь требовал вернуть все, что было прежде. Все, что его.

Он, кстати, заранее понял, к чему идет. И заблаговременно возненавидел отца. Голосил, когда тот пробовал заглядывать в его кущи. Утверждал, что съест папку, потом Ярика и останется с мамой. Правда, никто его угрозы понять не мог. Отец, может, тоже завыл бы, но позволял себе лишь высмеивать частнособственнические замашки сына, пытался петь глупые песни, рассказывать страшные, кровожадные сказки. Он-то, как филолог, знал — мало что их ужасней. И тем не менее нашептывал, как детей вели в лес на голодную смерть, закапывали под яблонями детские косточки — и все в этом духе. Иван отбивался, бежал, горланил что есть мочи, звал маму, падал, срывал с себя одежды. Бабушка только охала да всплескивала руками: куда ей справиться с ним.

Иван ее звал «бабакой» — нечто среднее между бабушкой и собакой, ударение от «собаки», на втором слоге. В отличие от «дедаки», тут ударение происходило от «дедушки». Бабушка — может, в отместку — звала внука Ваней и Ванюшей, и он пускался в крик:

— Неваня, неваня — Иван!

Отец выдумал называть его вовсе то Церамустриком Вторым (первым, видимо, был брат), то Молекулой, то Пафнутием-Пафнутиком. Иван голосил:

— Непахнутый!

Время у него было такое — отрицания всего.

— Дичится, поперешный, — кивая кому-то, говорила бабака.

Ему — «хорошо», он — «не хосе». Ему — «холодно!», он — «не хоедно». Ему — «вон идет корова». Он — «не коева, не идет!». Ему — «надо одеться». Он — «не одеться, не надо!». Ну, здоровый критицизм и негативизм, это нормально на входе в жизнь, говорил отец. Дорастет и до отрицания отрицания.

Иван не позволил накормить его кашей. Забившись в угол гольшом, так и уснул на полу за диваном.

На крышу домика падали иглы сосен. Тени деревьев лежали на воде, все удлинясь. И дачный поселок, воздух, дрожащий в просветах между соснами, белая панاما и красная шея одинокого дачника, и залитая солнцем луговина, и тихая неподвижная вода, и зеленая дымка над тропинками к ней, и сон Ивана, и тихая суэта вокруг него в доме, одевание его и укладывание в кроватку были единым миром с общими закономерностями. В нем гуляли какие-то отблески на противоположном берегу пруда, шуршание по хвое велосипедных покрышек, что-то временами осыпалось, поскрипывало и в лесу, и в построенном еще до войны, разросшемся за тридцать лет доме. Донесли удары ракетками по волану, чей-то отдаленный вскрик, проявились зеленые фосфорные



огоньки в глуби за деревьями, где у земли стояла сырость, грибная прель. И к ровному дыханию Ивана примешивалось еще чье-то, кого-то очень большого. Иван бы услышал, но он спал.

С ветвей сорвалась лесная птица, ее не разглядеть.

Ты видел маму.

У нее голубые жалостливые глаза на худом лице, она вся большая, длинноволосая, у нее большие руки, а теперь Иван разглядел и спину — и спина большая, но ей идет, она пловчиха. И молодая ученая. Она красивая, как в кино. Где ты, мама, я не могу без тебя...

Иван открыл глаза и позвал маму. Перед ним появился отец: «Я за нее». Иван сморщился и отвел взгляд, закрыл веками мир. Полежал еще. Все вспомнил и зарыдал горько-горько, завыл. Его подняли на руки, ему вытирали слезы, а Иван больше не хотел никого и ничего видеть, в глаза отцу не смотрел, останавливался на его бровях, открытом лбу с зачесанными назад волосами.

— Гдемамагдемамагдемамагде...

Потом родственники долго убеждали его поесть кашу, а когда усадили за стол, решали, кому кашей кормить. Он согласился на брата. Бабака пыталась напичкать его еще и творогом, и он снова заревел. Немного погодя согласился с медом. И с борщом. Бабака хотела схитрить и положить в суп кроме сметаны еще творог. Он ее раскусил и устроил обструкцию, как сказал отец: двинул бидон с молоком, стремительно уносимый бабакой, и капли его полетели смягчать твердые и темные, как железо, доски пола, нежно мерцали на нем, попав под вспыхнувшее солнце в распахнувшейся двери.

Могло показаться, что мир без матери упростился, требовал от Ивана всего ничего, две вещи: молчать и есть. То есть одного: открывать рот только затем, чтобы проглатывать еду. Но мир не мог заставить. Даже если б он действительно желал чего-то подобного.

Непонятно зачем, но время текло. Подступила первая ночь без матери, без ее тела, животного тепла. Блестел угол жестяной коробки, куда брат складывал спичечные этикетки, росла башня из книг — ее Иван сейчас вновь разрушит.

Отец переговаривался с бабакой и Яриком, выясняя, в чем секрет младенческой неиссякаемой энергии сопротивления миру, где в ребенке спрятан вечный двигатель и генератор рева. Бабака вздыхала, стряпала блины (на них, с медом, Иван согласился), отвечала, что варенья в этом году не будет: дрозды, бандиты, поели всю вишню. Налетают на рассвете шайками и быстро-быстро обчищают куст за кустом. Даже черемуху и пирус перед самым крыльцом в этом году обчистили.

Иван требует света.

— Свет — зажги! — Он говорил в повелительном наклонении. — Мух — бей!

И кто-то еще смотрит на него, Иван чувствует. Ему неважно происхождение этого взгляда, он решил про себя, что это мать.



Воскресенье, 17 августа, истекало. Иван не видел, как за стеной дома Ярик с замершим сердцем снял с капустного листа зеленую гусеницу с железными челюстями и когтями. Наглядевшись на нее, нехорошо улыбаясь, кинул на землю и растер сандалией в кашу. Край света дымчато прошел по его лицу, верхушкам деревьев, небу. Тонкие стволы высоких сосен, набравшие за день солнца, нехотя остывали и уплотнялись. В это время в Москве мать Ярика и Ивана под высоким белым потолком приматывала бинтом к груди, начавшей антично каменеть и гореть, капустные листья, оборванные на даче и подогретые над зажженной газовой плитой. Левая, любимая и рассосанная Иваном, выросла уже как голова. Поверх завязалась шалью. Уснуть не получалось, и Анна села за книги. Лицом к окну, где за двойными стеклами еще шумел бульвар. Из круга света от настольной лампы в ночь перетекали густые волосы, собранные вскоре в конский хвост и перетянутые венгеркой. Потом она их снова распустит, как у колдуньи Влади, лампа замигает... Утром придет подруга Эмма. Она не работала и тоже кормила сына долго, до года. В очередной раз Эмма расскажет, как отучала своего: пошла к соседке, та обильно, не жалея, намазала ее перси зеленкой, замотала их клеенкой. Эмма зашла домой и с порога объявила сыну:

— Доктор в больнице тити отрезал.

Ее мальчик недоверчиво подошел, обнял ее, постоял так, помолчал, потом, когда она к нему присела, расстегнул ей кофту, посмотрел. И отчетливо, на весь дом выговорил:

— Сука, — неизвестно, в адрес доктора или матери. То было второе в жизни его слово после «мамы».

Эмма поможет сцезживаться. Анна складывалась в невообразимые позы, попискивая от боли и тяжело дыша. В глазах темнело, казалось, что слышит голос Ивана.

А потом позвонит со станции Виктор. Все у них хорошо, буркнет, все в порядке, а Иван — в первую очередь. Будет расспрашивать ее и, оглядевшись по сторонам, вполголоса: ты эти булыжники, оружие пролетариата, хоть сфотографируй, слепок сделай. А под конец не сдержится:

— Безответственная вы, Анна Владимировна...

Понятно: все из-за нее.

Но это будет завтра, а пока поздний вечер, Ивана баюкали, он не поддавался, плакал уже охрипло, но не менее истошно. В эти самые минуты на сцене Вудстока — она стояла совсем рядом с домиком, где горели желтым светом окна, сразу за той теменью, что сгущалась между подмосковными соснами, — перед босоногим людским морем заканчивал петь растрепанный ворон Джо. Он тоже хрипел и еще терзал, поджигал свою невидимую эйр-гитару, а Пит несколько часов назад уже расколол о подмостки свой очередной реальный «гибсон». Иван в своем гневе не одинок.

И вот Джо Кокер с Иваном Шороховым в этот пронзительный обычный день голосят в плотные слои атмосферы, в околосреднее про-



странство и далее, в собачий холод и космос, удел всего и всех. Виктор Шорохов, возможно, справедлив, недоумевая, зачем так орать-то. Но так, видно, им хочется и для чего-то это нужно. Каждый по-своему, но одинаково неистово, и где-то в Солнечной системе их песни соединяются; Иван и Джо — герои, что перекидывают этот мир друг другу, как тот мяч, летавший у пруда пару часов назад. Он свечкой забирался в небо, исчезал в нем, насыщенно-синем, и пушечно падал на руки загорелых волейболистов; мир кружился и летел.

Почему отсюда, где прошлое под стеклом и эти окукленные, кристаллизованные и искрящиеся мгновения стремительно разворачиваются, скоро ничего мучительного, а уж тем более счастливого вовсе не останется — кажется, что тогда бушевала одна энергия, переливаясь из Подмосковья в штат Нью-Йорк? Кто знает... Может, причина в том, что ты родился, удивительно легко, в Москве в воскресенье, 18 июня 1967-го? В самый разгар калифорнийского Лета любви, цветочной революции в Хайт-Эшбери, в третий день Монтерейского фестиваля, как раз в тот момент, когда Джимми вставал на колени перед оттраханной им и брошенной в огонь гитарой.

Что до Пита с его группой, они и тогда были первыми: разнесли сцену и поразбивали гитары, когда лишь отошли воды и начинались схватки — The Who выступали перед Джимми.

Может, все дело в том, что миссия хиппи триумфально завершалась Вудстоком, точно как и твое грудное младенчество, твой персональный рай заканчивались на подмосковных дачах возмущенными, но вообще-то и утоленными, налитыми воплями? Или потому что эта библиотека голосов, собрание воплей и рева не сгорит никогда, ничего никуда не исчезнет и именно твое поколение и вынудит мир спустя два десятка лет перевернуться. И эта энергия ощущалась еще тогда, в твоем начале. Поражался же отец, откуда в таком карапузе столько сил на крик. Точно через тебя еще кто-то/что-то вопит. Ну, или поет, если песня такая.

А может, подоплека этого межконтинентального интернационального рева в том, что Анна всегда внутренне сомневалась, от кого Иван? Она изменила Виктору с сорокалетним неотразимым двухметровым блондином шведом, профессором-славистом на конференции в Вене. Она сама не поняла, как все получилось, это сладкое обманчивое вино, вились-обнимались, и тело к телу, плоть к плоти, язык врага к языку врага, его словно втягивало в нее, а он то ли смеялся, то ли вздумал ее, заревевшую после всего, утешать: дескать, то их вклад в потепление международных отношений. С дальнейшей разрядкой напряженности, добавила Аня, сдерживая вой.

Конечно, во всем виновата «холодная война». Без нее он бы не занялся русским, она бы не рвалась так на эту конференцию, они и не посмотрели бы друг на друга; и откуда бы взялась эта тяга, векторы которой можно объяснить лишь особой физикой, политической?





Прощаясь, нашла в себе силы отшутиться, наговорив что-то про давние симпатии викингов и русских, про развенчание мифов о красной угрозе и про возможный подарок к 50-летию Октября. Профессор сразу не поймет, а потом засмеется:

— Нет, это невозможно, но, тьфу-тьфу, если получится — ведь все равно раньше?.. Впрочем, это в ваших традициях — досрочное выполнение плана? Пятилетку за четыре года?

«Нерусь, зачем сплевываешь? Чтоб не сглазить? Ты же, наоборот, накаркал теперь...»

Швед никогда так ничего и не узнает.

При встрече Виктор отводил глаза, и Анне на миг показалось, что он знает о случившемся, потому ему стыдно. Он рассматривал носы ботинок, она же разглядывала точно впервые его, и лишь со стороны могло показаться, что она не испытывает стыда.

Это прошло. Аня уговорила маявшееся сердце, что просто отомстила мужу. Привезла ему кроме книг джинсы и пару нейлоновых рубашек. К запонкам, недавно подаренным его родителями. А потом все переживания стали вовсе неважны, она засыпала, видела сны и выходила из них со счастливой улыбкой.

Иван родился, как это и бывает, похожим на отца. Спустя месяц-два обрел глаза и черты матери. В связи с чем бабака заключила: счастливым будет.

Завкафедрой за тортом — отмечали чей-то день рождения — сказала мельком, никому не адресуя: чем образованней женщина, тем раскрепощенней, а уж если ее окружает коллектив таких же — туши свет. Внебрачными связями здесь действительно поразить было некого, но Анна завела шашни с идеологическим врагом. А ведь были претендентки на ту конференцию куда достойней...

Нет, о мимолетном и нелепом, реальном, как гроза зимой, адюльтере ничего определенного в институте не знали, если только что-то угадывали, некие колебания воздуха над Анной. Она их и сама ощущала и не стала дожидаться, пока они сгустятся и обрушатся на нее. Никто особо не удивлялся тому, что на кафедре она бывала все реже, часы ее сокращались, никто ничего лишнего не спрашивал, когда она взялась оформлять сразу и декретный, и творческий отпуск. Оно было и к лучшему. Причем — для всех без исключения. Для ректората, коллег, друзей, студентов, мужа, для страны и самих Ивана и Анны.

Анна чувствовала к Ивану иное, нежели к Ярославу. Пугалась этого: оба ее кровиночки, но Иван еще кто-то, больше себя. Больше всего тут. Откуда иначе эта незнакомая бесповоротная нежность, точно сошедшая сверху и уже от нее никуда? И она всюду. Чудо не объяснить; вот Иван — оно и есть. Ярик — сын и человек, будущий мужчина, тот, кого ей растить, кто потом женится, и у нее появятся внуки. А Иван... Что-то неземное было в нем. И происходило с ним больше, чем жизнь.





Нездешний свет ложился на него... или им распространялся, кто знает? И тужила Анна о сыне, тосковала заранее.

Виктор отрефлексировал эти несовпадения в материнстве Анны первым. Объяснил это послеродовым измененным сознанием. Накоплением Анной опыта женщины и матери. А также тем, что Иван появился восьмимесячным и Анна испытывала чувство вины. Тем, что Иван совсем кроха. Тем, что его и не планировали, что он — как дар.

Ярославу было девять, когда родился Иван. Ярик рос костлявым, с крыловидными выступающими лопатками, с проступающими ребрами, и у него сквозь белую кожу плеч, груди, рук хорошо видны были голубые ветвящиеся вены: русские реки с излуками и притоками под снегами и льдами. В том ничего необычного не было, одна анатомия и физиология. В Иване же кроме него самого, его облика Анной угадывалась — просвечивала для нее водяным знаком — и судьба: его сердце уже было полно драмой — так это Анна ощущала.

Первенца Анна и Виктор выращивали и социализировали по спущенному шаблону: в ясли — с трех месяцев, потом сад; каждое лето — на коллективные дачи при садике; потом школа, продленка, пионерлагеря. Вышитый номерок «98» на трусах, майках, панамке. Уже в садике оставляли с ночевкой. Однажды отец, крепко поддав с друзьями и коллегами 31 декабря, вез на санках трехлетнего Ярослава на побывку домой. Обнаружил через квартал, что дитя в санках нет. Побежал обратно, беспokoился напрасно: колобок поднялся и бодро вышагивал в валеночках в правильном направлении.

Анна помнила, как жалко его было утром будить и одевать, но Виктор убеждал, что выбора, по сути, нет, и это очень даже правильно.

Поначалу Анна бегала между лекциями кормить грудью. Целая история, с подключением профкома, ректората. Ей положены были две получасовые отлучки и одна часовая. Радовалась, что в яслях переодевала в казенное и стирки стало меньше — этого долгого кипячения в ведре на кухне, помешивания деревянной палкой, постоянно занятой ванны... Все вскоре закончилось само собой: Ярик перестал искать грудь, если только во сне, когда спал рядом. Нащупывал сосок, но, потерев его пальчиками и почмокав впустую в воздухе губами, успокаивался. Выходит, сам отказался. Стал самостоятельным; не в том ли и состоит задача воспитания?

Но Ярослав уже не так часто искал ее глаза своими, а когда они все же пересекались, Анна видела: они стали совсем другие. И что-то внутри оторвалось от этого, сердце зашло, и Анна, наверное, впервые испытала столь жгучую ненависть к себе. А потом и к мужу, подтолкнувшему ее на такое материнство.

Ей бы сил не хватило себя винить, и она нашла первопричину беды: все это из-за увлечения психоанализом, привнесенного в их семью и компанию Виктором. Он, существуя на кафедре германо-романской филологии, начал читать Фрейда и его последователей в подлиннике, чем и



поделился в их кругу. Физиков, они же лирики, интеллектуалов в стесненных обстоятельствах. Под гнетом контекста, он же конвой. Они так нравились себе, такие же молодые отцы-матери, когда рассуждали о том, что в захватывании ртом соски присутствует нечто от инцеста, что рот ребенка есть сосредоточение его либидо... Виктора, этот сутулый мешок сарказма, не понять было, когда он говорит всерьез и бывает ли такое вообще — даже на партийных собраниях сомневались. Дыша на очки и протирая их платочком, он задумчиво и сумрачно вещал Анне, что долгое кормление титькой чревато серьезными проблемами в будущем: пострадают умственные, речевые способности ребенка и, главное, — в нашем мире — адаптационные навыки! Она из-за своего ложно понимаемого гуманизма и материнского долга — на деле пустого сюсюканья и самоутверждения, желания видеть себя заботливой образцовой матерью — напроць может отбить в маленьком человеке свободолюбие, крепость духа, самодостаточность, разовьет феодальную зависимость от себя, своей юбки, отчужденность от остального мира... И следует осознанно, со знанием дела не задерживать ребенка на сосании, на оральной стадии психосексуального развития, он не сосунок, а новый счастливый строитель коммунизма, в котором ему предстоит жить. Мы-то уже старые станем, и до горечи сердечной жалко, что будем пользоваться всеми благами, а отдачи должной от нас уже не получится. Ярослав же должен вырасти эффективным членом нового общества. Новый стиль, Анна Владимировна, формируется, новая эпоха грядет. Так что соответствуйте! Нечего, Анна Владимировна, эгоистично носиться с сиськой наперевес, ища подтверждение своей незаменимости. Незаменимых у нас нет. Даже с такими буферами.

Когда Виктор вновь попытался пуститься в подобные разглагольствования перед ней, существующей теперь исключительно близ Ивана и для Ивана, Анна лишь счастливо и отрешенно улыбалась, даже не подумав, что муж может ей мстить, что-то чувствуя. Настолько не совпадали все его слова с ее сегодняшней жизнью. Она видела, как муж испытывает безотчетный стыд за себя перед другими, что он не такой простой, как они. Недополучая от продавщицы сдачу, теряется, сгорает от стыда. А потом за это презирает себя и себе подобных. Самоумаление проявлялось зримо, физически: у него горб уже вырос — так он сутулился, прятал в землю, в камень глаза, ляпнув что-то. Распрямить его — он был бы повыше того хипповавшего варяга. Вот уж где полное отсутствие адаптационных умений. Эти свои комплексы он переносит на сыновей, невротик, не верящий ни во что и никому, не доверяющий не только ей, это-то ладно, но и родителям, и детям своим, даже этому серому небу, дождю, мокрым тротуарам, поникшим тополям, вообще — ничему и никому.

Бескомпромиссно растворившись в младшем сыне — ничего, кроме, — Анна переселила мужа в другую комнату. Тот, не повышая голоса, равномерно бубнил:



— Это какое-то сектантство. Ты лишаешь Ивана права на выбор жены. Ты принуждаешь меня к поискам любовницы. Ты ломаешь жизнь сразу двум индивидуумам. В конце концов, твой муж не Иван, а я!

Застилая Виктору на полу матрас, пообещала навещать сию келью. Позже, когда он попытался заговорить о яслях, взвилась:

— Ясли — для скотины. А у человеческого детеныша есть дом. И мать. — Заглаживая тон: — Как вспомню тот манеж — Ярик лежит на животе, чьи-то пальцы в рот себе засунул или ему засунули, на спине у него стоит другой шкет, вцепился в загородку... Рядом кто-то обосрался.

— И что? Вон какой красавец! И все так выросли.

— Ничего, уж как-нибудь... Переживем кошмар старорежимного грудного вскармливания и ужасы младенчества в родном доме. Иммунитет будет крепче. Вон, в Монголии до школы от титьки не отнимают. Индейцы к матери на три года привязывали...

— И что, помогло им это? Где твои отважные апачи и сиу, где беспретные орды Чингисхана?

— На Кавказ переселились. Горцы. В Чечено-Ингушетию. В Северный Казахстан. Там сейчас индейцы. Крепкие и бесстрашные. И ничего в них девичьего.

— И вашего интеллигентского, добавь.

— Это ты сказал.

Некоторое время спустя:

— Анюта, дорогая, но ведь все наоборот в реальности! У тебя каша в голове. Апачи — это не та романтическая и веселая композиция британцев, которую я тебе и себе запускаю. Были настоящие апачи. И были гуроны, там, наоборот, отнимали от матерей как можно раньше. Они-то и были крепкими, как ты говоришь, и храбрыми. С чего ты решила... Ох уж эти литературные барышни.

Еще через пять минут:

— Ну поведешь ты его в школу, и после линейки он приставит табурет, сам достанет у тебя сиську и будет есть. Рада ты будешь?.. В самом деле. Он же не сможет жить тут, кого ты хочешь вырастить?

Какие твои заслуги в том, кто ты есть; ты лишь сплетение из расположения родинок, формы носа, очертаний губ, цвета глаз и места рождения, его ландшафта и преобладающих здесь ветров, часа рождения, имени, данного тебе, происхождения и возраста родителей, момента, когда зачали тебя, — это и есть предписание тебе. И никому это не подконтрольно, родители не в состоянии стать другими, они тоже predeterminedные издалека... и их родители в свою очередь тоже, это длинная цепь и это тривиальное стечение обстоятельств. Ничьих заслуг, ничьей вины. И никому не дано заложить своему плоду глаза посмышленней, люди этого не умеют. Семья и школа, воспитание — это рябь на канале или покой воды: насколько она черна и глубока, от ее волнения, понятно, не зависит. Наоборот, где мель, там и рябит, где вода глубока и холодна — спокойна.



Есть, правда, одна штука, которую мы в силах изменить. Нас все же допускают к программированию. Мы в состоянии поучаствовать в планировании и конструировании будущей катастрофы. Или ровного течения, быть может, даже счастья. Это момент отлучения от груди, от матери. Его можно сдвигать. Это решение матери.

Наверное, так они думали; теперь уж не узнать. Время было такое — лиричных физиков. Когда верили в человека, в науку и прогресс, в рациональные подходы. И что, помогло?..

Такой вопрос в те времена задавал Виктор.

Вот-вот разразится гроза над сценой в американских полях, зальет ее вода с небес, а Подмоскovie улетит в теплую, со странными сполохами ночь. И это победное пение, эти неистовые вопли в гулкой стратосфере, сливаясь в молитву, поднимающуюся ввысь, сообщали: ты не один, весь мир с тобой.

Бабака примет эстафету ненадолго. Баюкая, пела, старая, все про вечный сон, про гости на погост, гробок из семидесяти досок, баю-баюшки-баю, тоненьки дощечки да колокола, елочки да березочки, ямки, блинки на поминки дитятки, бай-бай, бай-бай, про чурочку в могилочку под бел камень, под сыпуч песок, рядом с бабушкой своей, рядом с родненькой. Отец в это время будет курить на крыльце, смотреть на Луну, где недавно прогуливались американцы: она, безусловно, потеряла ореол таинственности, представлялась уже чем-то вроде Рейкьявика или Красноярска. Жизнь все-таки полна парадоксов: вот вижу с веранды сейчас Луну, Венеру, какую-нибудь чертову альфу Центавра, но не в состоянии увидеть ни Рейкьявик, ни Красноярск, ни Вену, ни даже Москву. Хитро как-то все устроено, слишком хитро. Звезды эти, опять же, вижу, а их, возможно, уже и нет в помине. А Вену — даже и не вижу, и с чего вдруг следует верить, что она где-то стоит... Будет он вспоминать Луну, летавшую, как мяч от трубадура к принцессе в недавно увиденных хипповских «Бременских музыкантах» со зверушками-битлами: выпивали традиционную молдавскую «Примаверу», в их круг затесались киношники-художники, и все сокрушались о перспективах какого-то убойного мультика; Виктор с товарищем, недавно консультировавшим мосфильмовцев, напросились посмотреть, им выписали пропуска...

Что за дева гуляет среди звезд, не разглядеть лица?.. Виктор замотает головой, постучит кулаком по лбу. Приложит ухо к стеклу. Серые коты из заморья пришли, баю-бай, из заморья пришли, много сна принесли, баю-бай, много сна принесли, все по малькам растрали...

Будет влетать папиросный дым в звездные туманности, думать, что все эти вычурные созвездия, знаки зодиака мог выделить и назвать только художник-шизофреник, кто-то под галлюциногенами. Либо чрезвычайно одаренное дитя. Разглядеть в кастрюле и черпаке двух медведиц... Кто еще — только избалованный, поздно оторванный от титки ребенок, кому еще бы пришлось в голову выбрать это имя — Млечный Путь. Перед рождением Ивана, в Международный день защиты детей, 1 июня,



вышел «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера», — Виктор потом прочитает в рецензиях, что на обложке среди картонных фигур, окружающих битлов, есть и Фрейд. Вскоре выяснились и невеселые обстоятельства: в альбоме зашифровано, но при желании читается по рассыпанным намекам детальное сообщение о смерти Пола. Его любимого из битлов. 11 сентября 1966-го — видимо, вскоре после сочинения и записи «Желтой субмарины» — Пол разбился на машине, находясь под ЛСД. Сейчас вместо него двойник. Становилось ясно, почему они перестали давать концерты, отрастили растительность на лицах.

Виктор культивировал в себе внимательность к миру и не мог не проецировать все эти далекие, но оттого не перестающие быть самыми важными события на себя, на семью. Он не спешил с выводами, он всю жизнь думал. Прислушивался, вглядывался, возвращался на абзац и — думал.

Он читал детям «Бременских музыкантов» — там никаких хиппарей, конечно. Но суть та же: романтизация бунта, революции, робингудства. Животные подались в музыканты, потому что были обречены, став ненужными дому. Их вынудили порвать с прежней жизнью, что всегда и везде делалось через разбойничий притон, через малину, но это же неважно, смысл — лишь в мотивах, в стиле...

На крыльцо вырвется Ярик:

— Папа, сделай что-нибудь. Что он орет как резаный?

Сделать что-нибудь получалось не очень: Иван драл глотку что есть мочи. И со сказками требовалось укладываться в краткие моменты, пока он набирал воздуха.

— Серый волк — зубами щелк. Раньше он выл на Луну, а сейчас слышит твой крик. Что ж вы все так орете? И битлы, и ты... Непременно волчара заинтересует. Придет и съест. А-а-ам! Помнишь семерых козлят? А как нас потом искать будет и плакать мать? — Виктор замолкает, произнеся запретное слово. Он думает, что Иван забыл мать. И если не напоминать, и не вспомнит. — Спи-ка, Ваня, засыпай, баю-бай, баю-бай, бай-баю, бай-баю, баю-баюшки-баю, спи, Ванюша, мать твою!.. Ну вот, снова. Что ж такое!.. In the town where I was born, lived a man who sailed the sea... — Иван притих. — And he told us of his life, in the land of submarines...

Виктор вспомнил, как подшутил над Анной: она после гостей разбирала по коробкам магнитофонные ленты, а сама включать новенькую «Мрию» еще опасалась.

— Где что записано? Как можно понять?

— Это же просто, Анюта! Вот так рот откроешь, а ленту пропускаешь между пальцами, большим и послуненным указательным, и понятно. Смотри! — Он открыл рот, нахмурился, потянул пленку и так же, как сейчас, запел «Yellow submarine».

— Дай попробую! — Анна старательно округлила рот, и он заржал. Получил бобиной с девятой перезаписью по голове.



— Ах ты!.. А я думаю, что такое приключилось, с чего вдруг смолк веселья глас? А кто будет на горшок проситься? На твои зассанки волки придут, на дух человеческий. Знаешь, какой у них нюх?

Глубокой ночью домик один живет в ночи. Свет из двух окошек стекает в пруд, и желтые глаза из воды смотрят в звездное небо. Из-за наколец стронувшегося с места облака выглядывает глаз третий, белый. И под ярким лунным светом небо сразу станет огромным, протянется в космос, а трава, кусты, деревья — еще мельче и неподвижней. Уменьшится и домик.

— Не ложися на краю, не ложися на краю: придет серый волчок, придет серый волчок, схватит Ваню за бочок. Схватит Ваню за бочок и потащит во лесок...

Лампочка в доме потухнет, пространство регрессирует до полной черноты, но ненадолго. Сгустившись, тьма в доме тут же начнет редеть. И сам не свой на рассвете бледный мальчик поднимется, будет смотреть на высветленные солнцем стволы сосен, черные провалы между ними, где прячется волчок. Ванюша впервые услышит свое сердце. И будет струиться, на него проливаясь тихий свет.

Мать, измученная, с фанатичными негаснущими искрами в глазах и уже с этого мгновения стыдливо-счастливая, появится, открывая калитку на фоне заходящего солнца, только через три дня.

## 2.

Новый, 1986 год Москва встречала без Ивана и его друзей. На одну компанию в ней стало меньше. Друзья ушли в армию чуть раньше — летом, сразу после первого курса; Ивана забрали («призвали! забирают в тюрьму!») осенью, со второго.

Ярик служить не ходил, пусть и вырос настоящей оторвой: в десятом классе, приехав с друзьями на дачу, украли в соседнем совхозе лошадей. Нашли их в лесу спустя три дня. Жил внутри вестернов с Гойко Митичем и гэдээровскими индейцами, но так сразу и не скажешь, кому в душе симпатизировал, краснокожим или ковбоям. Серые глаза его к школьному выпуску обрели металлический отблеск. Гонял в Крым на электричках и товарняках, девиц менял, не мучаясь. Искушения системой странно избежал: его бывший круг хипповал, а он стал стройотрядовской легендой. Окончив универ, пошел по комсомольской линии. Из краснокожего — в краснорожие. Оттенок глаз поблек от стали до олова.

Иван в армию не пойти не мог. Хотя с его здоровьем вполне реально было бы откосить, да и не все друзья ушли, парочка осталась. И один самый близкий — Сереган. Тот, с кем вместе болели гриппом, алкоголизмом в начальной стадии, латиноамериканским магическим реализмом, французским экзистенциализмом, однокурсницей Катей. Которая, конечно, ждать его не будет.

Можно было бы продолжать эту жизнь, но Иван в сентябре 85-го оказался в Волоколамске, и неведомо как все сразу решилось.





Он пришел к строгой белой церкви Рождества Богородицы на Возмище: каменной она стала еще при рождении Ивана Грозного. Неизвестно зачем долго стоял и смотрел, задрал голову, на храмовую колокольню. Она выглядела ракетой, с невероятной мощью и силой устремленной в неиссякаемую синеву неба, когда вдруг воздух качнулся, толкнул ощутимо. Раздался громкий хлопок.

— Это ударная волна, — тихо, издали донеслись слова Наташи. — Тут недалеко военный аэродром, и как раз над нами самолеты переходят звуковой барьер. Я выросла под эти взрывы. Стекла в домах звенят, сервизы в буфетах. — И с улыбкой добавила: — «Мадонна», ГДР, на шесть персон.

Иван, несмотря на внушительный рост и широкую кость, всем своим видом напоминал почему-то о плюшевых игрушках и о детях того возраста, когда их лишь тискают и души в них безоговорочно не чают. С зачесанными назад длинными и мягкими светло-русыми волосами, пушком над верхней губой и на щеках, таким нежным, что непременно хотелось его погладить, Иван и одевался — мать одевала — в такой же мягкий вельвет, серые шерстяные пуловеры, тоже вызывающие безотчетное желание прикоснуться. Когда он хотел что-то сказать, лицо сразу обретало живость, всякий раз отображая множество чувств, часто насмешливость, глаза начинали блестеть, пушистые белесые ресницы вздрагивали и казалось, что говорить он будет много и забавно. Но много Иван не говорил. И вот теперь он стоял с каменным лицом, не слыша Наташи, слыша свой кровоток. Он знал, что здесь, в этом храме, бывал еще кровопийца Малюта Скуратов, по его поручению написана любимая икона Ивана, смотрящая прямо в его сердце — Волоколамской Божьей Матери. Он мог бы рассказать, чем эта версия лика Богоматери отличается; но, конечно, дело было совсем не в искусстве, не в отличиях. Иван опустил голову, ему стало легко, и он приобнял влюбленную Наташку за плечо.

В Волоколамск он приехал на электричке: не смог отказать в помощи однокурснице — привезти от ее бабушки в общагу продукты. Наталья встретила его на станции, на автобусе добрались до центра, потом долго шли пешком, пиная листья, вдоль Волоколамского шоссе, старых частных домов, попадались двухэтажные на пять-шесть семей, с несколькими входами — каменный низ, деревянный верх; и, поднявшись по склону, вдруг разом увидели бело-зеленую колокольню...

Дед с деревянной ногой, с осколочным ранением, перечеркнувшим его лицо справа налево, сам выволок мешок картошки и поднял из погреба три трехлитровые банки домашней тушенки. Бабушка собирала на стол, усадили их с Натальей рядом. Снова в небе жажнуло, но за стенами и под крышей воздух уже не толкался. Наташка что-то сказала деду, и тот качнул головой — слева направо:

— Неправильно ты говоришь. Это никакой не звуковой барьер, это по нам ударная волна вдарила. А вот сейчас — уже по Ежовым. Когда самолет летит быстрее звука, волна всегда будет идти за ним. А здесь все





они уже быстрее звука летят, аэродром-то перенесли, когда его Пеньковский сдал. Слышал, Иван, про этого шпиона?.. Полковником был. Как изобличили, его заживо в крематории сожгли, перед строем. В назидание.

Иван делал все, чтобы его забрили наверняка. Еще на первом курсе раздал пощечины проректору по учебной работе и председателю профкома. Те стояли в дверях, тормозя опоздавших студентов, позади них дружина старшекурсников. Всех записывали. В незнакомую Ивану барышню, шедшую впереди, вцепился проректор, схватил за руку выше локтя и что-то невыносимо грубо ей говорил, помахивая пальцем перед носиком; та пыталась вырваться. Потом подоспел и толстомордый профсоюзник, закончивший годом ранее философский. Она отшвырнула каким-то диким и вольным движением волосы, Иван увидел цыплячьи, прозрачные, лучащиеся робким светом позвонки на ее шее — с них-то он и начал с щемящим чувством куда-то лететь; девчонку развернули в профиль, лицо ее исказила боль и обида, она закинула голову, и Иван вошел в штопор: через ее шею шел шрам — что такое произошло с ней, что это могло быть, как это могло быть, чтобы такая нежная шейка и такой страшный рубец? А уже через мгновение счастливо и сокрушительно вспыхнула иллюминация и расцвели поля голландских тюльпанов — когда он, обхватив эту худышку, остро ощутил левой рукой под тканями грудки ее, не большие, но и не маленькие твердые соски. Вот тогда, произнося «отпустите ее!», Иван уже бил локтем профбосса и той же рукой, правой, наотмашь заехал проректору. А потом — философ не оставлял попыток отбить добычу — добавил тому во всю силу по роже, тоже мигом ощутив рельеф ее: влез в слизь с плавающими в ней буграми носа и надбровий. Въехал тыльной стороной ладони, потому что только что эта рука шла в обратном направлении — обнимать со спины незнакомку, сомкнуться с левой рукой.

Бросил проректору, сотрясаемому злобой, в его совиные глаза:

— Шорохов, филфак, сто третья. — И увлек по лестнице спасенную, обратясь весь в свое левое предплечье, живя тактильным счастьем, эти холмики — преддверье рая, ворота в него, с этих горок только туда, за что весь свет погубить не проблема, вдыхая ее макушку, ее волосы.

Она сказала:

— Светлана, истфак, двести два.

И не шепнула ведь, а громко так выговорила — точно не ему, а, выйдя из ступора, проректору. И еще эта беспомощность... Ведь кто-то уже пытался перерубить эти позвонки, и для чего они и этот шрам открылись теперь ему? Их не видели ни проректор, ни профсоюзник, они не палачи, они не видели ничего, им не предназначалось, увидел Иван... И это бесстыдство — она не убираала его руки. Или абсолютная девичья невинность — Иван еще в этом не понимал ничего.

Почему его не выгнали тогда, непонятно. Он поражал преподавателей стремительным умом, веселой легкостью, с коей оперировал глу-



бокими знаниями, необычными ассоциативными сравнениями, метафоричностью, но это ведь не обязательно записывалось в положительный баланс: не гастроном — никаких весов для свиных голов, печени, суповых наборов. Его курсовая об особенностях стиля Андрея Платонова — это как минимум кандидатская, сказал научный руководитель. Но надо подождать лет двадцать, тогда, возможно... На втором курсе Иван отказался посещать военную кафедру, и все уже стало неважно. И если б в армию не ушел, его отчислили бы уже точно.

Перед самым призывом сходил — зачем-то ему это было нужно — с однокурсниками на ноябрьскую демонстрацию. Наверчены из бумаги гигантские гвоздики, надуты грозди розовых шаров — их отпустят в небо на Красной площади, обита кумачом фанера, на нем — об Октябрьском пленуме: решения в жизнь. Танки замерли на Манежной площади, мокры асфальт, серы гранит и мрамор, и в них, и в лужах отражается, надвигаюсь, дрожащая громадная тень. Пар изо ртов быстро рассеивается, военные почему-то кто в шинелях, а кто в одной парадке.

Все сдвинулось со своих мест и потекло. И все это ярко-алое, цвела фонтанирующей артериальной крови, стремительно несомое серыми фигурками — знамена, банты на пальто и куртках, гвоздики, повязки, лозунги — выплескивало коллективный трепет и безумство, эротичные и бешеные энергии, стыдное и эйфорическое ощущение себя частицей коллективного питекантропа. И пошли бы убивать и умирать, не сгибаясь, в полный рост и в полный накал, но пока еще так много жизни в дрожащем воздухе, в этой утренней хмари, в этом триндеже о войне, о нашей миролюбивой политике, в лязганье танков. Откуда эта убежденность, нет, даже твердое знание, что с миром не случится ничего страшного, пока человеческое множество кричит и поет, пока орет «ура», оповещая о себе, бросая свой призыв в верхние слои атмосферы, отпуская его и теряя из виду? Что заставляет думать, что это люди не дают шару остановиться, люди заряжают его, избавляясь от переполнявших их токов, отдавая их земле, а краю неба, до которого достает край их голосов, отдавая свои чувства?

Зачем-то Иван и после демонстрации не ушел домой, выпил стакан портвейна, согласился вечером поехать со старшекурсниками-дружинниками на Белорусский вокзал, а пока ходил под окнами общежития, дышал, понемногу приходил в себя. Когда-нибудь вдруг это случится, и он будет жить в городке со старой европейской архитектурой, узкими кривыми улочками, где не то что танкам — машинам будет не проехать, и, просыпаясь, он будет видеть сквозь окно в покатой крыше небо: город должен быть таким.

На вокзале его отправили с напарником забрать из можайской электрички бабку-«синявку». В пустых и закрытых вагонах было жарко. Прямо в луже в тамбуре сидела женщина в распахнутом детском клетчатом пальтишке. Расцарапанный нос, грязные пряди волос, выбившиеся из-под платка, прилипли ко лбу, шее. Она спала, судя по запаху, в луже



мочи. Одной ноги у нее не было. Костылей поблизости тоже. Иван не знал, как ее поднимать, не знал, вырвет его прямо здесь или чуть позже, не знал, что лучше для нее и для всех них — оттащить ее в обезьянник или оставить здесь, в тепле. Иван не знал, как следует поступить, чью сторону занять, как по правде лучше, какая и в чем здесь применима доброты и какая жалость. С ним было такое впервые. По черным влажным ступеням ее спустили на перрон и понесли, подхватив с двух сторон под мышки. Почти невесомая вначале, сшитое из тряпья чучело, она, просыпаясь и возвращаясь на землю, все набирала вес. Опустили на скамейку, чтобы передохнуть.

— Ты, змей лютей, золотая голова, выкинь свою жалу от рабы Божией Натальи, от живота, от сердца, от третьей жилы, от третьей поджилки, от третьего сустава, от третьего суставчика... — Иван куда-то отплывал в облаке перегара, чувствуя цепкую хватку этой дамы с кошачьими зрачками, двумя руками обхватившей его локоть. Она быстро-быстро говорила-наговаривала: — ...и двенадцать ногтей, и тринадцатый самый больший, из передних ног шли бы в ноги задние, в левое копытечко...

Иван не помнил, как донесли ее до околотка.

— Вот, доставили гингему.

— А чего это вы оскорбляете нашу дюймовочку?

Потом шел долго от одного мигающего желтым светофора к другому. Сообразил, что звали эту несчастную Натальей, как его бабушку. Та после долгого лежания в больнице умерла год назад у них дома.

Призыв «85-2». Что-то не заладилось с самого начала. Команду в полсотни человек погрузили в вагон, но не довели. Продержали день на вокзале в Кирове, потом отправили поездом дальше на восток, вслед за печными дымами, в снежные глубины. Поменяв план, вновь тормознули в Свердловске, пересадили на электричку и отправили на местный пересыльный пункт. Заново запустили по врачам. Длинный, гниющий от частого мытья коридор с незакрывающейся входной дверью и выбитыми оконными стеклами, трясущиеся от холода пацаны в одних трусах, боящиеся прикоснуться друг к другу, глаза упираются в затылок впереди стоящего. Очередь без приказа ровная. Три дня ожидания, до обеда в строю, покупатели ходят мимо; в последнюю ночь у одного из москвичей, спавшего на втором ярусе, украли ботинки, и он вышел на плац — невольничий рынок из французских романов — в вязаных носках; команда переформирована, дополнена; покупатель-майор не говорит куда. Вроде в учебку, войсковая ПВО. Сначала обратно в Свердловск. Там из поезда выпустили на вокзал, три бутылки краснухи по кругу, вокзальный туалет, где на кафель прилеплен листок, третья, очевидно, копия на пишмашинке: «Товарищи, нас обманывают...» — и дальше об отставании фундаментальной науки в СССР, о кризисе в экономике, об Афганистане; кто-то недавно плюнул на диссидентскую листовку, слюна до сих пор медленно стекала с одной строчки на другую. Через полчаса поезд. Краткий, минут



на семь, сон на боковой третьей полке. Автономное одиночное плавание тесной подлодки. Неудобно, но деваться некуда. Произнеся это про себя, Иван повторил. Потом снова. На всех своих четырех языках, понимая, что с этими словами придется жить два года. Хотелось пить. Попробовал петь. Шепотом. Не разобрать, что это было — песня, молитва, стон. Его никто не слышал.

Строились на перроне под густым снегом, как в книгах, и Иван ощутил, что эти хлопья в неподвижном воздухе останутся с ним. В нем. Навсегда.

Неожиданно оказался первым в строю. Только сейчас заметил, что выше всех, хотя дылдой не был. Зачем его сюда, с какой целью, если остальные подобраны компактные, вероятно под тесную технику?.. Огромная городская баня, обмундирование, и вот ворота с красной звездой. Старшина вручил одному из духов бесплотных ржавую машинку «бегущая волна»: «Хоть на людей станете похожими». Перед Иваном стригли пацана, череп которого оказался исчерканным шариковой ручкой.

— Равняйся! Сырно! Равнение на-а-право! Тарищ полковник, личный состав третьей учебной батарееи...

«Чей — личный? Чего — состав? Разрешите узнать, тарищи полковники?»

Войско оловянных черепов. Непохожих, с самыми причудливыми очертаниями. Иван до этого не знал, что люди так уродливы. Видел у Босха, но мало ли что нарисуют.

Командир взвода на третий день поинтересовался:

— Какого цвета снег?

Робко сзади:

— Белый.

— Взвод, газы! Бегом марш!

Кто-то падал, Ивану повезло: за духами еще не закрепили конкретные противогазы, бирки еще не нашили, и перед построением он взял маску на два размера больше — на морозе легче надевать. Легче было и дышать. Взводный ехал следом на «Яве»: «Так какого цвета снег?»

А этот, с почеркушками на черепушке, оказался не промах. Мариец Василов единственный, кто просыпался не по команде «подъем», а когда выспится. Сержанты скидывали его с койки, гоняли из-за него взвод и всю батарею отбиваться и заново вставать по пять раз. Тот по-прежнему не реагировал на команды. Сладко спал, пускал слюну в подушку. Его били. Выносили в туалет, бросали на пол, обливали водой. Он спал. Просыпался, как правило, к завтраку.

Иван думал: невозможно разбудить лишь того, кто притворяется, что спит. И, мучаясь от недосыпа, проваливаясь в дрему каждую свободную секунду, впервые в жизни завидовал — стойкости Василова. Но как-то раз увидел в упор момент его пробуждения. Тот разлепил глаза. В них было столько ужаса, безумия, что хватило бы затопить все тут. Все до крыш, до неба.



На Васикова плюнули. Решили — болезнь. О том, чтобы отправить в госпиталь, а потом комиссовать, никто не заикался, в батарее держали даже парочку бойцов с энурезом. Сержанты, дабы избежать разбирательств с дежурным офицером, прятали Васикова, благо он небольшой, на табуретках под висящими на стене шинелями. Или командовали уносить в каптерку: там его запихивали в нишу с парадками.

После присяги дали увольнительную, Иван впервые шел этими загнутыми улицами не в строю и не по проезжей части. Город мерз в мокрой гнилой котловине. Во рту стоял металлический привкус, стеклянный гололед под сапогами отзывался листовым железом. Тут вообще было полно всякого металла, громыхания, сварки: экскаваторы и подъемные краны, два гулких железнодорожных моста, сама железная дорога, пересекающая поселение, провода, зачеркивающие воздух, как стальные жилы и нервы некоего непредставимого зверя. Необъяснимые ограды, составленные из спинок кроватей. Встречались некогда модные, с шишечками. Где все те, кто спал на этих многочисленных койках, лежал с открытыми в пустоту глазами? Это их хрипы то витают в воздухе, то стоят тучей?.. Зарешеченные окна, маленький железный истукан-Ленин местного дегенеративного вида, в железном, но точно ратиновом пальтишке и железной же, но как будто шерстяной уркаганской кепке. За спиной вождя гостиный двор — старинные торговые ряды, выстроенные каре с традиционной аркадой: каждый сводчатый вход в галерею вел бы далее в отдельную лавку, но теперь их двери были заколочены ржавыми железными листами, лишь в нескольких что-то происходило. Иван купил зубную пасту и крем для бритья в железных тюбиках, здесь же стояли колоннами эмалированные тазы и ведра: в них квасят капусту, с ними ходят по грибы и на станцию за разливухой.

Столбы, качаясь на семидесяти семи ветрах, баюкали знаки STOP, нянчили схематичных человечков. Гаражи — сварные коробки из железных листов голубого или бордового цвета, за гаражами — пустырь, железная карусель и накренившийся скелет детской ракеты, хмурые подростки. Тут играли в «чику» и «пристенок», молчаливо прыгали на растянутых панцирных сетках, установленных на бетонных блоках.

Где все те люди, что спали, любили на этих железных нитях и их продавили? Где в этом граде пионеры, где сборы металлолома в Фонд мира?

Найдя в тумбочке Ивана томик Кэндзабуро Оэ, купленный в увольнении, а еще у кого-то — крем для рук, дежурный по части верещал на вечерней поверке:

— Здесь должна быть щетка, бритва и мыло! А это — педерастия!

Когда смрад загустел настолько, что даже не сержанты — щеглы начали, задыхаясь, просыпаться, а мыть ноги бегали уже трижды, калмык Абушинов, комок, командир отделения, врубил свет и выстроил взвод: «Ноги к осмотру». У Селифанова из Капотни — он спал на втором ярусе и по диагонали от Ивана — отмороженные пальцы уже, похоже, догнивали. Из санчасти земля так и не вернулась.



Увольнительных было еще три.

Пришла весна: вытаяло собачье дерьмо и мусор, повсюду лежали раздавленные шинами и башмаками птенцы. Сварные из арматуры кресты на кладбище, до которого Иван дошел на этот раз, оказались того же небесного цвета, что гаражи и ограды. Видимо, в город завезли лазури с избытком.

В следующий раз Иван пошел тем же маршрутом. Кусок пыльного леса посреди города — там, по рассказам, чистили рожи. А чем еще здесь заняться... Марш Шопена навстречу. Самое то. Обрывок громадной картонной шахматной доски, чья-то могилка, краснокирпичная крошка на дорогах, черные то ли бараки, то ли коровники, в них обвалилась крыша. Ничего из прежней жизни не могло подтвердиться, еще вчера она представлялась подледной, теперь ее не обнаруживалось вовсе, весь мир представлялся другим, и в нем все текло иначе.

А как же усыпанный рыжей хвоей дощатый домик и мальчик в нем? Где он? Только на фотке в рамочке под стеклом? Белая панاما и красная шея одинокого, уходящего дачника... Было это или нет, откуда это? Тихая, неподвижная зеленоватая вода...

Даже украшение этого города, тщетные одуванчики на трамвайных путях меж шпал, были не такие, как в прошлом мире. Совсем не стойкие, а Иван же помнил, как они пробивались в Москве сквозь тротуары. Здесь их, прозрачных новобранцев, легко прихлопывали грязью и землей. Здесь все решала не сила стебля — количество дерьма. И он уже не протестовал, в нем вскоре ничего уже не возмущалось, его прежнего забили, запинали в угол, забросали мусором, пылью, его больше не было. Только страх и подчинение, и никакого величия в унижении, никаких смыслов сокровенных, никакой соли, даже никакого страдания в этом, никаких сказок из того мира, несуществующего. И это не плен, как ощущалось раньше, и ничего не вернется, ничего уж не будет как прежде: давило так, что мест для сомнений не оставалось.

Рядом с частью стоял элеватор и хлебозавод, и первые утра запах хлеба сводил с ума, прямо указывал на существование иных галактик; теперь выяснилось: это глюк, ложь, мир есть только этот — с тумбочкой дневального, ты одинок во Вселенной. Тот мир, что был раньше, сбросил маску. В реальности он вот такой. Что читал о нем, слышал, видел, чувствовал — чушь, на самом деле счастье и блаженство в одном — в воскресном просмотре программы «Служу Советскому Союзу!» в колонну по шесть на табуретках. Если дежурный задерживался, захватывали начало «Утренней почты». Это не другой, это тот самый мир, в котором все должно быть хорошо, все наладится, тот рациональный мир, который все доброе защищает мощными институтами и системными механизмами. Просто однажды у него из-под полы шинельки высовывается голый крысиный хвост и ты видишь, какая под ним бездна. Этот мир с тобой, да. Эта тьма здесь, с тобой, всегда рядом.





Если б смог, он бы возненавидел ту скамейку на Чистых прудах, где сидел с друзьями, проклял бы, забыл навсегда «Пинк Флойд», песни «Машины» и «Воскресенья» — ведь они воспринимали это все как настоящее, истинное, должное.

Бежать? Но и тогда ему не вернуться в Москву, к этой лавочке, он все ему данное время проведет там же, под хвостом. Все, одно это осталось. Если только не начнется большая война — китайцы ли пойдут на нас, американцы ли нанесут ядерный удар по сотне советских городов... Тогда, вероятно, хоть что-то изменится, произойдет смена планов.

Из школы сержантов его не отправили ни в Германию, ни в Венгрию, ни в Чехословакию, ни в Польшу — туда уехал Васиков. Не отправили в Афганистан. Не зачислили ни в одну из пяти команд с засекреченным пунктом прибытия. Не пустили ни на запад, ни на юг, ни на восток. Сначала перевели в полк обеспечения учебки, а через пару месяцев вернули в свою учебку — командовать отделением.

Одинокое плавание стало невозможным. Теперь ему не избежать контактов, команда на всплытие. Новый призыв тихо, растениями тянулось из окаменевших досок пола; как лесные орехи, голые головы различались своей складностью, Иван знал, точно на ощупь, форму каждого черепа из войска, замершего сбоку от него; он уже тогда знал, что эти непохожие черепа навсегда с ним — и во снах будут, покачиваясь, о чем-то его кланчить, молиться ему, ржать над ним. Иван пугался собственного омерзения к ним. В чем их сила, почему от них не уйти, что с ними и с ним не так — он такой же, один из. Но стоял он сбоку от черепов, шел — впереди или сзади. Иногда приходилось выходить перед строем, поворачиваться лицом, глазами к нему; в строю-то все одинаковые, одинаковые черепа ждали указаний.

Через две недели в кочегарке узбек Усманов из отделения Ивана рубанул лопатой по шее чеченца Мусаева. Чеченцы, их было всего двое в батарее, ошивались у печей, остальные носили уголь. Сгибались, высыпая носилки, чтоб не поднимать пыль. Когда рыжий, налитый кровью, как воздух кислородом, Мусаев в очередной раз отвесил Усманову пинок под зад и отвернулся от него, сыто хохоча, аж переламываясь, тот взял прислоненную к стене лопату и со всего маха прицельно опустил ее, почти перебив шею. Тем самым шанцевым инструментом, с которым вчера Иван учил их обращаться: покрасить в зеленое и черное, пронумеровать через трафарет, заточить, смазать солидолом, заклеить лезвие полоской оружейной бумаги.

Мусаева из санчасти увезли в город, потом в другой; лечился он долго, в итоге его комиссовали. Иван смотрел на белые голые ступни Усманова, когда тот с ничего не выражающим смуглым лицом взялся перемотать тут же, у жарких печей, портянки. Крови в утрамбованных пластах угольной пыли видно не было.

Следующее всплытие — через неделю. Грузин Гоча Гергедава сошел с ума. Ничего не ел два дня, закатывал странные истерики:





— Это из-за меня вас мучают. Убейте меня.

После отбоя обхватывал руками голову и качался из стороны в сторону. Иван сделал все, чтобы комбат позволил ему лично сопровождать Гергедаву в окружной госпиталь, а тот и отказывался ехать с кем-либо еще, боялся, бился головой в стену. У него была большая, непропорциональная и неровная голова.

Фельдшерам и врачам Иван поведал столько ужасов, что участь Гергедавы была предрешена. В часть он не вернулся.

И снова под воду. Рядом плыл майор Попов, от его речей Иван испытывал эстетические чувства.

— Вы скоты. Не делайте умных лиц. Вы же солдаты. Младший сержант Шорохов, вы видели свое лицо в зеркале? Загляните при случае. Там вы увидите настоящую обезьяну. И не надо бурчать под нос, что я над вами издеваюсь. Я скоро как двадцать лет рублю строевым и лучше всех здесь знаю, что надо Родине и как следует воспитывать вас. И я не пожалею сил для установления в подразделении твердого уставного порядка. Да, можете не шептаться, мне нравится на выходные, когда все офицеры отдыхают, заступать ответственным. И то, что вся власть сегодня с утра в моих руках, это лишь основание для огорчения тех, кто помышлял нарушить дисциплину. У кого есть такое желание, выйти из строя!.. Нет таких? Я рад. Вернемся к младшему сержанту Шорохову, который последнее время будоражит наше подразделение своими бандитскими выходками. Почему вы не выходите из строя, товарищ младший командир? Или вы хотите сказать, что сегодня все будет нормально? Подождите искать оправдания, я вам еще слова не давал, не пытайтесь со мной пререкаться. И не вынуждайте меня переходить к красному террору. Вы и так уже одной ногой в тюрьме стоите. Пока я командую, не следует нарушать моих приказаний, товарищ младший сержант, будущий каторжанин. После развода зайдите в канцелярию и напишите объяснительные, две штуки, по поводу вашего вчерашнего проступка и вашего вчерашнего же преступления. Вы, надеюсь, догадываетесь, о чем идет речь. Почему у молодого солдата Красина тапочки за вашим номером, первым? И где в таком случае ваши тапочки? Рядовой Красин показал, что вы ему отдали свои, после того как его тапочки своровали. Так вот, в армии не крадут — в армии теряют. Что за безобразия творятся во вверенном вам подразделении? И почему рядовой Улицкас во время политико-воспитательной работы находился в кочегарке и стирал свое обмундирование? Или вы считаете это делом более важным? Меня не интересует, какой институт у него за плечами, можете даже не упоминать это в своей объяснительной. Все это перечисление вами талантов этого юноши я читал в прошлый раз. Вы, Шорохов, так и не понимаете, зачем вы здесь. Есть директивы и приказы, и они выполняются, а не обсуждаются. Становись! Равняйся! Отставить из-за товарища Шорохова! Подбородочек, пожалуйста, повыше, молодой человек. И ручки на место. Вот так. Равняйся!



Майору Попову нравился его слог, больше никому из офицеров не доступный, и он понимал, что только Иван мог это оценить.

В августе батарея пылила на полигоне. Стояла жара. На Ивана сосредоточенно мчался Бердиев, длинный тощий узбек двадцати пяти лет, за ним вплотную гнал «четвертый», пусковая установка, за рычаги которой с утра сел сержант Бурцев, тоже комод. На кочке он поддал Бердиеву под зад; солдатик разжался, выпрямился, и его, переламывая тело, кинуло влево, но, падая на вытянутые руки, он не свалился — перебирая руками-ногами, отвернул на четырех опорах от трассы. Иван всплыл, заглушил движок и, скинув шлемофон за спину, выпрыгнул из пусковой. «Четвертый», пойдя дугой, вновь догнал щегла — тот перешел на шаг. Иван замахал руками, впрочем, не надеясь, что увидят. «Четвертый» дернулся, ударив и уронив Бердиева, и остановился. Иван, не заметив и наступив на ногу Бердиева, падая, с ходу влетел чуть не по пояс в боевое и схватил за руки сержанта Бурцева.

— Ты что, сука, спятил? Дедок, говоришь, без пяти минут? Все можно?

Бурцев неловко двинул его локтем по уху и вытолкнул из пусковой, вылез сам — в расстегнутом до пупа кителе, лениво спрыгнув на землю.

— Ма-асква, овца, а не опух ли ты?

Сзади захрипело. Бердиев перевернулся на спину, рванул крючок на кадыке, еще. Расстегнул воротник только раза с пятого. Ноги его тоже дрожали, хэбэ между ляжек было темным.

— Гад ты, Бурцев...

— Э, Ма-асква, ты точняк нюх потерял. Бердиев, ко мне!

Курсант поднялся.

— Товарищ сержант...

— Дуи на полусогнутых в лагерь. Лагерь знаешь, да? Дорога найдешь, да? Бегать как — знаешь, да? Постой. Я тебе крючок на глотке через кожу еще не застегивал?

Бердиев было дернулся, но виновато опустил голову. Иван встал между ними, глаза в глаза Бурцеву. Тот отвернулся, взялся за ручку люка, сплонул.

— Давай, ступай потихоньку, родной. Что обоссался, то докладывать никому не нужно. Понял, да?

Бердиев повернулся и, шатаясь, виляя, согнувшись в поясе, пошел. Спина у него тоже была мокрая, под хэбэ проступали позвонки.

Через две недели Иван сам дал в зубы Бердиеву: в наряде на кухне тот взялся разливать суп в грязные миски. Перед тем как ударить, Иван почему-то решил, что теперь-то, после того случая на полигоне, он имеет на это какое-то дополнительное право.

Бурцев оказался рядом, расхохотался.

— Ништяк!.. Что, Ма-а-асква, не я, так жизнь учит? Ты знаешь, что куры насмерть заклевывают хромых и ущербных? Это чтоб другие такими же не стали.



Истек год службы, Ивана снова перевели. Теперь в автороту замком, заместителем командира взвода. Однажды нестерпимо захотелось в церковь — когда разбил в кровь лицо, выбил зубы командиру отделения, лопухому ефрейтору, не пожелавшему скрести пол стеклом и кусками резины вместе со всеми, и не мог остановиться, все бил и бил. Но все церкви в этом старинном городке находились за колючкой: там размещались зоны и тюрьмы. Иван видел.

Один день в неделю их поднимали то в три, то половине четвертого утра, то в четыре (по очереди) и гнали в общественную склизкую баню в центре города, потом бегом обратно — чтобы успеть на плац, взмыленным, к семи, к разводу. Подразделения учебки, полк обеспечения из двух дивизионов и автороты, следуя в баню и из бани по графику, пробегали мимо пяти зон. За высокими бетонными или кирпичными стенами с колючкой поверху стояли церкви без куполов. Их тоже было пять. На их крышах иногда виднелись вороныи силуэты сидящих на корточках ээков.

Город в этом беге запечатлевался на сетчатке скачками, дергано, рубленными, перекошенными планами. Всегда ночными или мутно предрастветными. И вдруг — то была первая весна, Иван уже служил в полку — первый солнечный блик, как великое откровение, в еще нагретом стекле прожектора. Его только что отрубил краснопогонник, сплевывая с вышки вниз, на бегущий дивизион чернопогонников. Они были врагами, бились в увольнительных ремнях, алая и черная розы. Лишь единожды, вскоре после того напрасного солнечного блика, впряглись на четыре дня в один хомут: две речки, в стрелке которых стоял город, поднялись в первые майские дни так, что город начало затапливать. Таскать мешки с песком вывели и красных, и черных, и ээков. Коричневая, пузырящаяся муть растекалась стремительно, несла, закруживала мусор, кусты, деревья, срезанные и вырванные с корнем.

### 3.

Седьмого ноября стояли в оцеплении; мимо пьяные мужики и замерзшие бабы с перекошенными физиями мимо, солдатам улыбались лишь сопливые девчонки да без улыбок зырили на них пацаны; отцы города и два полковника на трибуне время от времени спускались по деревянным ступеням, на какое-то время, как и все, вступали на утоптаный снег, но только одной ногой, другая уже заносилась в автобус; оцепление топталось, сапог о сапог, второй дивизион полка обеспечения вдоль улицы Ленина, основные силы образовывали коридор на площади того же имени: две батареи учебки дополняли чугунную решетку мертвого парка, еще две — напротив, заслоном у каменных торговых рядов; первым повезло — можно отходить в парк и курить. Иван и курил до одури; рядом, в детской беседке, намерзшись, беспрестанно отливали солдаты и офицеры, фанерное строение парило, точно готовясь к взлету; городок маленький,



мирного населения немного, жаль, что не меньше, радуется, что эзков на демонстрацию не выводят — в городке шесть или семь колоний. Последних гражданских энтузиастов офицеры умоляюще подгоняло жестами; те почти бежали, нездоровые рожи тряслись, колыхались, булькали, бляели. Даже на этом зверском холоде от них несло дерьмом, даже в авгиевых конюшнях дерьма было меньше, чем в каждом нынешнем городишке в этот день... да в любой день — есть ли что-то более невыносимое, чем эти райцентры? И вот арьергардом выступают боевые подразделения. С трибуны команда «строиться». Сапоги не гнулись, первые шеренги поползли уже вперед, оркестр дудеть не в состоянии, «песню запе-вай!», не так быстро, не так быстро, «раз! раз! раз, два, три!»...

Сквозь колониальную промзону, котловину с плавильными печами и прокатными станами, трубами, тюрьмами, бараками, сквозь частный сектор, где к индустриальным дымам примешивалась вонь паленых свиных шкур: здесь по случаю двух выходных и окрепших морозов принесли жертвы Великому Октябрю. Еще дальше, туда, где уже темнеет или еще не светало. Там всегда так. По мертвому полю с замороженными в него дугами ребер крупных животных, усеянному костями динозавров, акульими зубами — в палеозое здесь было дно, — чьими-то позвонками, растасканными собаками, и экскрементами, вмержшими в лед. Кто-то же, блин, учреждал, собирал этот мгlistый пейзаж... Подумав об этом, Иван сразу увидел невдалеке, впереди и справа, невесть откуда взявшийся домик, почерневший то ли от внутреннего сумрака, то ли от разлитой вовне тоски. Из трубы поднимался еле видимый березовый дымок, кто-то жил там своей жизнью, и с чудовищной силой захотелось в этот одинокий домишко, и чтобы там действительно гудел огонь, и отблески на красной меди с завитками, и чтобы распухший фотоальбом и бюстик Толстого, и укрыта рукопись, ждущая своего часа, пусть и не дожидется, и чтобы книги и пластинки, и всепонимание и полуулыбки, и чтобы выплакано было уже все и навсегда, без повторенья, и снизу-сверху, и с боков с гарантией заговорено, травами залечено, водой сбрызнуто, огнем сожжено, набормотано-забормотано. Пойди от меня, раба Божьего Ивана, всякое железо от сердца во древо, в землю, перо во птицу, клей в рыбу, а рыба в море, от меня, раба Божьего; надень на меня, раба Божьего, рубашку каменную от востока и до запада, от земли и до небеси, от стрелы, от пиццали и от пушки, и топора, и от ножа, и от меча, и всякого железа, от всякого рода русского, черемисского и литовского и нечистых всех родов, и ныне, и присно...

Иван куда-то выпал. В иную, призрачную, мучительную и счастливую жизнь под налетающими проливными дождями, под осыпающейся рыжей хвоей, под кружащими сизыми голубями, с ветром, сушащим черные грязи и раздувающим прозрачный огонь, с утопленными в Чистых прудах желтыми листьями, в такт всех рождений и всех смертей, в лад с кружением земель и вод, с мчащимся среди трагически бескрайней заснеженной степи ночным поездом... И только когда уткнулся в шинель



впередидущего, всплыл с глубины, вернулся в стадо, в строй шести сотен хребтов, тысячи двухсот глаз, начищенных блях, головных уборов на два пальца от бровей, комсомольских значков, привинченных левее второй пуговицы на длину спичечного коробка, поглаженных флажков для передачи сигналов... Все кругом вошло в фокус. Мир был с ним. И какое-то новое солнце в нем, пламя ли, свечение. И он ясно ощутил самого себя. Все свои метр восемьдесят три в пространстве, все мышцы до одной, счастье в голове и сердце, качающем литры крови; и в это мгновение Иван понял, что скоро погибнет, из армии не вернется.

В конце марта Иван съездил в Москву: Гулий, карлик и коммунист двадцати семи лет, откуда-то из-под Львова, тоже заметенный служить срочную и поставленный комсоргом части, подошел к Шорохову и объявил, что их командируют в Минск на конференцию армейского комсомольского актива. Будут присутствовать коллеги из стран Варшавского договора. Иван понял, что нужен в качестве полиглота. И моментально выстроил план. В поезде, оторвав никак не остывающий лоб от грязного стекла, кивнул Гулию:

— Смотри, ни звезды не видно. Видать, все в самоволку подались. — И, ни минуты не сомневаясь в задуманном и твердо зная, что дятел наступит, спросил: — Ты в Минске-то без меня разберешься сам?

Гулий тоже соображал быстро, понимающе и виновато развел руками.

За окном сизого тамбура в утренней белеющей синеве показался твой родной город. Твой наркотик, эрогенная зона... Раньше ты не обращал внимания, сколько военных на вокзале, в метро, на улицах. Москва — военный город. Подойдешь воровски к своему дому. Нащупаешь в кармане предохранитель на три ампера и будешь мять его пальцами, пока не разобьешь стекло. Войдешь в старый, сталинского ампира дом с широкими лестничными пролетами и высокими потолками, пыльными стеклами, облитыми уже весенним, полузабытым солнцем. В подъезде выкуришь папиросу на лестничной площадке и не найдешь привычной наскальной живописи, зашпаклеванной и покрашенной недавним ремонтом. Зайдешь в дом и не найдешь дома. Лишь появление соседского пса Тишки с желудком на боку — он по-прежнему спускался гулять во дворе и поднимался обратно самостоятельно, лая, чтобы дверь открыли, — напомнит иллюзорные надежды, что возвращение возможно.

Дом тебя тоже не узнает. Ты стал другим.

Переоденешься в гражданку. Будешь в Москве полтора дня. Немногим дольше, тридцать девять часов. Зачем ты это сделал, поддался себе, так и не поймешь. Все было не так и не то.

Ну нет же, страх и тоска ведь в какой-то момент пройдут, будешь ощупывать скатерть, газеты, книги, текстуру своего стола, обивку дивана, свои джинсы, вдыхать запах кофе, уж потом — так всегда после полного счастья — устанешь и задумаешься. Это как соитие: после — внутренний



спад, но пока оно длится, ты себя вопросами не мучаешь. Хотя откуда тебе знать, как хорошо бывает: в книжках только читал, предчувствовал. Ты даже детского греха не узнал. Лишь стыдные поллюции. Все самое главное было впереди — физическое, плотью явленное подтверждение тем редким мгновениям, когда ощущал, что ты тут не один, что тебя любят и ты любишь, и ты включен в мир, и он с тобой и за тебя, и вы летите, и вам это нравится, и будет так вечно...

У тебя не случилось. Но в мире это ничего не отменяет. Мир — братская могила, но если ты возьмешься выгрызать себя из нее, мир будет с тобой. А так-то — да, потом, после всего это все кажется глупостью. Но ты бы рад все повторить. Помнишь же, как оглядывался, уходя: остаться бы листочком на дворовом тополе — на нем уже появились почки...

Сходил к Серегану. По глотку заначенного болгарского вина. Помолчали. Прошлись по местам боевой славы, никого почти не увидели, да и не особо хотелось. Вот, наверное, зачем Иван поддался себе: в ту единственную ночь мать подвернула ему одеяло под ноги — как в детстве, укутала куколку. И прошептала:

— Спи спокойно, сынок, спи сладко, пусть все будет хорошо, сынок, и ты вернешься.

Одиночество — это вся жизнь, это больше ее, за исключением таких вот вспышек: Иван вновь, как полгода назад и как когда-то за сомкнутой тьмой в глуби детства, ощутил, что все не зря. Ночью подскочил от грохота бронетехники: уже к параду готовятся?

Ярослав не приехал, поговорили ни о чем по телефону. Мать сказала, что Мосгорисполком должен утверждать руководителей центров научно-технического творчества молодежи и у брата неплохие шансы.

Поздним вечером на вокзале увидел отца, обнялись. Дал в дорогу кипу журналов, все рассказывал, что там теперь появляется, — дожили наконец. Поезд тронулся. Пролистал несколько страниц, не в силах читать. Поднял глаза. Лица людей, непривычно разных, казались одинаково сонными и ждущими чего-то, готовыми в любой момент взорваться, точно они не неслись со всем допустимым здесь драматизмом куда-то в непроглядную ночь на восток, а стояли в обыденной длинной очереди за далекими и разными, большими и малыми городами и поселками. Залез на верхнюю полку с журналом, засыпал, со страхом просыпался и снова проваливался. Когда очнулся и спускался, не понимая, утренние то сумерки или уже вечерние, мужик в годах к чему-то сказал:

— При Брежневе друг мой все говорил — уж лучше война, чем такая жизнь. Накаркал... Это за долготерпение нам.

Дядька смотрел в окно. За ним грохотало: поезд проходил мимо состава с зачехленными танками. Далее потянулась снова пустота, зафиксированная, прибитая кривыми столбами. Они же, вмерзшие в топи и лужи, отмеряли ее.

В стекле плацкартного вагона отражались, но точно светились изпод него худые желтые лица, поездные внутренности, старики, сложившие





руки на коленях, застывшие дети с великом, солдатик, кудрявая девочка, закрывшая глаза... Клуб одиноких сердец. Чей-то еще лик, треснутый повдоль и покрытый инеем. Николай-угодник? Сквозь него проступали березы, пустые гнезда на них, налетающий состав.

Поезд до станции Ивана шел тридцать часов и прибывал на рассвете. На черные железные ступени из вагона сразу налип снег — здесь он снова валил так густо и красиво, будто это последний снегопад на земле. Иван вспомнил, как полтора года назад решил, что тот снег на перроне останется с ним навсегда. Так и было.

Иван огляделся. Теперь он был спокоен. И знал, что и сейчас запомнит все. Так и будет. На станции не виделось ни одной прямой линии, ни одной ровной поверхности, включая рельсы, силуэты вокзальных строений и всех пятнадцати вагонов, что прошли мимо него. Лишь провода провисали почти геометрически и физически правильно, но со смещением влево.

На КПП встретил дежурный по части майор Попов, сразу отправил на гауптвахту. Сумку с тартусским сборником, сигаретами, рижским бальзамом, разлитым по одеколонным флаконам из непрозрачного стекла, колбасой и конфетами Иван успел отдать знакомому сержанту. Тот шепнул:

— Держись, тебе крышка.

На губе Иван вывернул карманы, снял поясной и брючный ремни.

— Меузоян, подстричь его — и в общую! Э, ара!

Меузоян проснулся, лениво отлепился от стены, кряхтя, оторвался от табурета, потянулся, вытягивая большую голову вперед — на шее синел фурункул.

Соседом по камере оказался низенький широкоплечий грузин.

— Ротный арестовал. Ничего не понимает. А сюда только зайти. Потом Плотников добавил, дежурным стоял. Каблуки мои не понравились. Потом Катилов...

Часовой в окошечко:

— Начкар сейчас куражиться будет. Не связывайтесь с ним.

Когда губари выровнялись, старлей объявил:

— Итак, чмори, имеем до моего завтрака полчаса. Я проведу с вами занятия по физической подготовке. Элементарное упражнение. Один раз отжимаетесь от табуретки и один раз обегаете ее, потом два раза отжимаетесь и два раза бежите вокруг. Ну и далее. На десяти, уверен, выдохнитесь. А я посмотрю. Что, Шорохов? Ладно. Будет по уставу. Смирно! Не понял. Э, чучело, какая команда была? Не устраивает, значит. Хорошо. Задолблю. Э, дверь откройте во дворик. — Из старлея хмуро выглядывала большая черная птица — всем его обликом, глазками, клювом. — Итак, все знают, что нужно делать при вводной «пожар на гауптвахте»? Напомню. Бежите по камерам, хватаете свое имущество, а это ваш топчан, выносите его во дворик. В какой камере топчанов больше, чем заключенных, сами понимаете. Вопросы, жалобы? Отставить,





Шорохов. В письменном виде на мое имя. И так, пробуем. Норматив — минута. Эй, помощник! Дуй сюда, не пожалеешь. Сейчас стадо козлов будет в дверях топчанами друг друга гробить. Ключи, часовой! Сам — во двор. Равняйся, бараны!

С губы вызволил комбат. Сразу после утреннего развода.

Через неделю Ивану приказали явиться в штаб «к чекисту».

— Как товарищ Гулий вас ни выгораживал, истину, сами понимаете, установить было несложно. В Минске вы не были. Звонили мы, Шорохов, вашей матери, она рассказала, что вы были дома. Вы понимаете, что это статья, что за это предусмотрена уголовная ответственность? По мамкиным пирожкам, значит, соскучились... Но ведь теперь так обернуться может, что они вам долго, очень долго отрыгаться будут. Дисбат это, Шорохов.

В углу отдельно сидел человек в цивильном. С застывшей улыбочкой и такой же челкой, приклеенной и забавной. Говорил, сидя за столом, особист, капитан без фамилии, смазанный какой-то или непроявленный, или проявленный, но незакрепленный: лицо без черт, просто лицо, просто голос. Но, скорей всего, Иван боялся взглянуть, поднять глаза.

— Так что мы знаем все, не сомневайтесь. Я вас ни о чем и не спрашиваю. Почему в письме однокласснику вы называете нашу родину, Союз Советских Социалистических Республик, Австро-Венгрией? Тоже можете не отвечать. Намек понятен. Очень смешно. Что вы мелете про единственный концерт ВИА «Битлз» в СССР в 1968 году?.. К чему это все? Какой пожар вы при этом упоминаете? Какие костры из денег и книг?.. Вот что, младший сержант Шорохов. Твои сверстники в Афганистане...

Иван посмотрел в рыло чекисту — самое простое, с крупными желтыми зубами за тонкими бесцветными губками, с еле заметными веснушками, с суздальско-владимирскими глазами. Начиная говорить, он их презрительно прищуривал, сгущая тоску. И говор у него был такой же — простой, деревенско-древний, не оставлявший надежд. Иван опустил глаза.

Из угла прорезался улыбчивый:

— Ванюша, ведь ты догадываешься, что мы все знаем. Знаем про ваш с Черепановым и Фёдоровым самодеятельный театр. Голимая, дистиллированная антисоветчина. Про ваш литературный альманах и стенгазету. Изучили внимательно: «Та, что стоит не на черепахах, а на черепах, не устоит»... Знаем про подводную лодку.

— Какую лодку? — Иван ощутил рвущееся наружу что-то между лопаток, сердце или душу.

— О друге своем Олеге Черненко, однокласснике, последние новости знаешь? Ну, ты в курсе, что его отправили в Чернобыль шоферить. Он дезертировал через неделю. А поймали его только сейчас, на Волге, с ножиком в кармане. И твоими письмами. Сидит. А нам проверять сейчас, что он натворил. Представляешь, — улыбчивый со своей нелепой челоч-



кой обратился к капитану, — перезимовал вполне себе на Припяти, в брошенных домах там сало, консервы, сети. И вроде ведь не дурак. Комсоргом был в их классе. Говорит, там бы и оставался навсегда, но нашел банку с брагой, выжрал. И себя не помнит, очнулся — вокруг снежная степь, пустошь какая-то. Дескать, вижу, как снег светится, понимаю все, а пить-то хочется с бодуна. И не знает, как он на Волгу попал... Разберемся. — Штатский, интонируя, дал понять, что теперь говорит Ивану. — Нашли, между прочим, на даче его родителей интересную конструкцию и чертежи. Подводную лодку и дельтаплан парень строил. Черненко откровенно рассказал, молодец, о том, как вы рисовали карту похода, выхода по речным системам в Балтику, в Белое море, как хотели обойти Скандинавию. А ты не помнишь, кто еще из вашего круга хотел поучаствовать в этом путешествии? Вот учитель физики Николаенко... Он водил вас в походы еще в седьмом классе. Учил разводить костры. Вязать узлы. Шкотовый, брам-шкотовый, так? Он как относился к вашим намерениям? Помнишь ваш разговор перед последним звонком?.. Думаешь, почему из всего твоего учебного взвода ты один остался здесь, в стране?

Иван вспомнил вдруг: ему лет четырнадцать, поссорившись с матерью, ушел из дома. Стояло лето, суббота, темно. На последнем автобусе, потом пешком к месту на Клязьме, куда часто ездили с друзьями. Никого. Черная вода, пустынный берег. Лесом — к даче, сквозь незнакомые горькие запахи, прель, чье-то теплое дыхание, озираясь по сторонам, но толку — ничего не видно... Когда небо очистилось, обнажилась луна, выяснилось: кто-то крадется за ним. Кто-то постоянно следует за ним по лунным опушкам. И впереди — человек. Стоял и смотрел. Иван замер. Выждал. Это отражал ночной свет густой орешник. Но сзади все же кто-то шел. Уже небо серело, ноги хлюпали от росы, когда вышел на тропку, по ней на тускло белеющий асфальт. Его сразу высветили фарами, быстро подъехала черная «Волга». Назвали по имени, запихнули в салон. Сидящий рядом с водителем поднял трубку телефона — Ивана это поразило больше всего.

— Нашли вашего, Анна Владимировна. Все нормально. Везем домой.

Через несколько километров на развилке к ним присоединилась еще одна черная «Волга». Иван сразу с чего-то понял, когда только попал под свет фар, что будет именно так. Будет так. Он не помнит, откуда это. Наверное, с самого раннего детства. Никогда этого не забывал: рядом есть кто-то, он не один.

Особист открыл папку на столе, оглянулся, как бы прося слова:

— Думаешь, по Усманову дело закрыто? А Гергедава? Ты знаешь, что он прислал фотографию из дома, со всеми своими многочисленными родственниками — очень довольный у него вид, улыбочка до ушей, благодарит тебя в том числе. Пишет, что жениться собирается, на свадьбу зовет... Вот же, в туду эту демографическую яму, понабрали в войска такой мрази, умников-эстетов... Богема, итить твою... Мы берегли тебя,



Ванюша. И пока бережем. Но ты заигрался. А уже ведь не мальчик. Тебе бы продолжать учебу надо.

— Чем больше узнаю о вас, тем лучше отношусь к войскам и милиции... — Вслух это сказал Иван или ему показалось?

— Баран ты, Шорохов. Фамилия твоя — Баранов.

— Короче, боец, — вступил снова человек в гражданке. — Неприятностей не избежать. Но мы могли бы тебе помочь. Все-таки ты впервые совершил деяния, предусмотренные настоящей статьёй. И тебя могут освободить от уголовной ответственности, если удастся доказать, что самовольное оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств... Нам импонирует ваше знание языков.

— Ага. А мне — что я рисовать могу дембельские альбомы. Я лучше с ними, со своими.

— В тюрьме?... Там теперь твои. Какой-то ты не адаптированный к жизни, Шорохов. Недоношенный, уж прости. Ничего не понимаешь? А в дисбат, в вечную глину, в радиацию, под вечный дождь... а к уркам с дымящимися елдами, к абрекам на ножички не хочешь, филолог сраный, студентик, не хочешь?! Откуда ж такая гниль берется...

— Сосите, товарищ капитан. И вы тоже сосите, товарищ-не-знаю-ваше-звание.

От страха Иван моментально повзрослел лет на двадцать, сделался небритым, лицо окаменело, весь стал утесом. Но он все же это произнес отчетливо.

Сняли сержантские лычки, отправили в другую часть. На восток. Глубже. Куда тянутся печные дымы. Куда поездов уходит больше, чем возвращается.

Заступал там в караулы через день и ходил уже не помначкара и не разводящим — стоял на посту. Это было счастье. После автономки в казармах с плотностью камер предварительного заключения, не залечь на дно и не вырुлить, ему послали одиночество четыре раза в сутки по два часа. Два из трех караулов к тому же несли на площадках хранения боеприпасов и военной техники — в лесах.

После раздумий решил, что матери в Москву никто не звонил. А от дисбата спас комбат, ленинградец Балакирев — как понял Иван из последнего разговора с особистом, потомок того самого предводителя «Могучей кучки». Хорошее, кстати, название для композиторов. Для всех них, для всей этой музыки.

Особист сказал:

— Великий русский композитор Милий Балакирев под конец жизни рехнулся. Найдет клопа в постели и с ласковыми словами отнесет к окошку, отпустит того. И твой комбат, тоже уважаемый всеми нами стоящий русский офицер, думаю, прав. Это он попросил за тебя. Это так по-русски. Жалеем мы вас. Жалеем. Но что дальше-то будет? Боком эта жалость выйдет, так я думаю.

#### 4.

И вот осталось сто дней и ночей. Утром Иван отдал свою дедовскую пайку масла щеглу. Его призыв уже отгладил парадку, промазав стрелки клеем ПВА, пришил на дембельские рубашки железные офицерские пуговицы, смастерил из гильз брелоки и заколки для галстука. Иван после отбоя доставал из ниши свою парадку и долго смотрел на нее пустыми глазами.

В казарме вспыхнул свет, Журавлёв с тремя дедами поднимали кулаками Лёню Варшавского, их же призыва, лицом — вылитого Лермонтова, только без усиков. Да еще в отличие от поэта, во всяком случае известных фактов его биографии, Лёня завел у себя вшей.

— Сами вы нифеля! Не трогайте меня! Пошли к черту!

Колено Журавлёва воткнулось в пах Варшавского, тот ткнулся лицом кому-то в грудь, звонкий удар ладонью кинул его на пол.

— Онанист, чмо поганое, вздыхает еще лежит, пидор!

Свет снова погас. Казарменная вонь шевелилась: деды пинали в темноте Лёню. Иван окончательно проснулся, вынырнул откуда-то, где светило потусторонне девичье голое плечо на ровном и холодном фоне оконного стекла. Приподнялся:

— Хватит, забьете.

Перестали. Лёня лежал в проходе между кроватями, белея в темноте, трусы у него были спущены, скомкались влажной чернотой где-то у ступней, и оттого те показались отрезанными.

— Что вылупился? Иди, Шорох, накати ему.

Журавлёв направился к Ивану:

— Иди, сказал, накати.

Иван сел на койке:

— Вздыхает, говорите?

Журавлёв заржал:

— Ага. Всех перебудил.

Иван подошел к Варшавскому, не глядя вниз.

— И ты здесь. Только попробуй, я тебе голову оторву. — Лёня схватил его за ногу, Иван ударил кулаком по этим пакостным пальцам, они разжались, но и в колене хрустнуло.

Варшавский поднимался, скуля:

— Сука, убью...

Иван, сцепив кисти в замок, шарахнул его по хребту. В Лёне что-то щелкнуло, и хрустнуло, и охнуло, тело пластом грохнулось.

Утром Варшавский обнаружил, что сапоги его прибиты гвоздями к полу, а рукава хэбэ намертво завязаны.

Автономку Ивану нарушил через неделю дневальный:

— Земеля из штаба приезжал. Гутарит, по твою душу кагэбэшник к ним приехал штатский. Сюда собирается. Кумекай.



Через два дня в газетах напечатали приказ о демобилизации призыва Ивана. Отдал свой кожаный ремень первому попавшемуся черпаку, забрал его деревянный. Старшина перестал выкрикивать на вечерней поверке звания и фамилии дедов. А если по какой-то причине, например присутствия дежурного офицера или забывчивости, называл, черпаки отвечали за дембелей:

— Чемодан собирает.

Как-то прозвучало: «Шорохов», и кто-то из глубины строя отозвался: «Зачислен навечно в списки части».

Прошло 764 дня. В дивизионе оставалось восемь квартирантов. Комполка сказал, что он в курсе, что Шорохову сдавать зимнюю сессию. Уйдет последним. К квартирантам обращались теперь так: «Товарищ гражданин Союза Советских Социалистических Республик». Ночью черпаки заставили новый призыв, только что с гражданки, продемонстрировать брейк. По очереди духи падали в центр круга и извивались. Шорохов смотрел и не видел, как Тимур отрывал одного из них за уши от земли, объясняя, почему он тоже должен танцевать как все.

Сейчас течет 1987 год, декабрь. Второй караул располагается в глухой чаще, в тридцати четырех километрах от части. Четыре поста между внешней и внутренней колючкой, уютная бетонная караулка, в двадцати шагах отдельная бетонная же избушка под кухню и сушилку. Стены, крашенные в два цвета, тошнотворный голубой и когда-то бывший мертвецки белым, два железных зеленых чайника, оцинкованный бак с водой, такой же бак с помоями. Неистребимый — он здесь сохранится после всего, когда вовсе ничего не останется — запах сушащихся портянок, кисло-сладковатой порошковой картошки из огромных круглых банок и свинины (в тот год рубили замороженные туши 1952 года). И лес вокруг — подробный, тихий, полный невысказанного. Из постоянных обитателей — две мохнатые собаки, Лёлик и Болик. Их не видели с начала зимы: видно, задрали волки или медведь. Каждый день в седьмом часу вечера караул менялся.

Метель началась, когда ехали на смену: обледенелый, крепче немецкого железа брезент, кривший кузов, захлопал, снег наждаком по щекам разбудил, машину закачало, как лодку. Дорогу перемело. Свет фар обрывался в двух метрах. Неба и земли больше не было, просто по чьей-то прихоти колеса и сапоги смотрели в одну сторону, головы в другую, а их перечеркивала несущаяся белая масса. Когда смененные бойцы грузились, начкар тихо сказал:

— Черная пурга, похоже. Могут обратно уже и не пробиться. Да и нас вовремя сменят ли — большой вопрос...

Мело и заметало торжествующе непрерывно; глотайте по пятаку — не сдует, напутствовал заступающих на посты лейтенант. У кого копеечки



нет, крепче за автомат держитесь. Отправляя бодрствующую смену ужинать, приказал выходить из караулки с ведрами, полными воды.

На следующий день, в начале пятого, когда Иван поднялся на караульную вышку, метель окончательно стихла. И неожиданно прояснилось закатное солнце. Осветило верхушки деревьев до каждой хвоинки, детализировав тени, все сплетения ветвей и теней, всю венозно-капиллярную вязь верхнего яруса тайги, потом — огромное поле, забитое ржавеющим оружием возмездия, курганы с подземными хранилищами снарядов и боеголовок. Солнце обнаружилось ярким, красивым, точным, каким можно быть лишь для кого-то. И небо стремительно вскрылось, напомнив, что оно есть не часть тьмы, а просвет, трещина из сущего к чему-то иному. Это продолжалось всего-то несколько минут. Потом солнце стало просто малиновым диском без лучей, освещающим лишь себя. Какое-то время сопротивлялось уходу, расплывалось, растекалось вдоль линии горизонта и вдруг моментально скрылось за ней. Из глубин леса поднялась семнадцатичасовая ночь.

Менять их никто не приехал. Связь пропала еще утром. Лейтенант приказал выложить всем курево, запер в сейф вместе со своей ополовиненной пачкой «Космоса» и походным энзэ — тремя пачками «Астры», сказал, что будет выдавать по графику, усадил Шорохова его составлять. Пошел на кухню изучать остатки продовольствия. Быстро вернулся, поднял спящих, всех отправил пробивать в снежной целине лабиринты дорожек и искать подъездную дорогу.

— Сибирь ошибок не прощает. Особенно Восточная. Ты что, Бондаренко, медведь, чтоб спать?.. Без нытья! Тут три дембеля с нами. Они уже Машку за ляжку тягать должны. Вот когда Ванька домой попадет? К Новому году только? Это если на самолете... и если он полетит. Не факт. Стаугайтису до его хутора еще дальше. Он с их праздниками и во все в пролете, они ж заранее начинают, так, Стау? А Укроженко откуда у нас? Ему на поезде неделю, на собаках?

— Снега быть не должно, зима не оправдание, все ясно, товарищ лейтенант: снег собирается и выносятся на плащ-палатках.

— Отставить, Бондаренко. Хотя бы обозначьте проходы на посты.

Небо абсолютно очистилось, стремительно поднялось и оголилось все, до мельчайшей звездочки, втянув в космос и их караул. Термометр опустился с нуля до своего края — минус сорока. Иван сменился с поста в полночь, начкар сумел оживить приемник, крутил ручку, голоса проникали прямо из звездного неба. Сквозь китайское, корейское, иранское радио пробилась, проступила вдруг тишина. Такая, что предшествует музыке, такая, когда ясно: сейчас будут играть.

И, потрескивая, понеслось: «Будет день горести, может быть, вскорости. Дай мне бог дождаться встречи с ним...»

Иван замер. Если б начкар сейчас не оставил в покое ручку настройки, он бы его убил.





Вот и догнало. И ведь про себя ты не сомневался, что все еще будет. Это ощущение единства с миром, его близости к тебе. Возвращение возможно. Мир возвращал себя тебе.

Будет солнечно. Будет счастья через край. И эти вспышки будут с тобой до глубокой старости. Услышь только родные «Воскресенье», «Машину», «Аквариум», электронику Артемьева из «Сталкера», увидь что-то похожее на фрагмент картины Тарковского... Ну и еще немного. Совсем немного. И Вселенная пошатнется, ей не все равно. Жизнь примет очертания, сообразуясь с этими звуками, красками, линиями, решениями. Иван ими полон по маковку, он то и дело обнаруживал в себе реакции оттуда — и ведь не все слова мог разобрать в записях, а так и пошло, так и будет, как запомнил в первые прослушивания. Вот эти два года и полтора, уже скоро, месяца исчезнут, их не было и не будет. А эти минуты в караулке останутся.

И сейчас, спустя десятилетия, все его песни звучат точно так. Время бессильно перед ними. Все тут, эти голоса рядом, значит, живо и все то, что у тебя с этими песнями связано. А это вся жизнь почти, все главное. Это не умрет, значит, никогда. Но и никогда не повторится, никогда и ни с кем. Ничему этому уж не быть. Зачем тогда оно? Зачем на это все откуда-то проливается тихий свет?..

Жаркий дрожащий воздух между накопившими солнца стволами деревьев. Темный коридор у нее дома и отражение твоих глаз в ее глазах. Сизый и косматый, танцующий под «Дорз» в косых лучах солнца, травяно-медовый дымок «Золотого руна». Похороны Брежнева, самого мертвого мертвеца, по телику с вывернутой громкостью, под звуковое сопровождение «Аквариума»: «Они красят стены в коричневый цвет». Снежное поле, в которое они всей компанией вырываются из зимнего лагеря старшекласников, сумки с голосащей «Ночную птицу» «Электроникой» и тремя бомбами портвейна, которые расколотили, поскользнувшись. Январская молния, бьющая в невероятно голый и корявый дуб. Или нет, это невероятное древо загорелось и извергло молнию. Костер на берегу через год после школы и перед уходом почти всех в армию; как-то тогда получилось собраться всем без исключения; и молчание, и разговоры все не те, и водка не пьяная. И они уже были чужие и друг другу, и этому берегу, любя и друг друга, и этот берег. Потом молча пробивались сквозь ливень, уходили к шоссе, ведущему в их город. Бежал дымными полосами дождь. И деревья не стояли — плыли, поднимались над землей. Накренившаяся над водой ветла повисла в холодном воздухе. Этот берег, мокрый от дождя, навсегда теперь с ним... и больше уже нигде.

И сон, точно он ребенок, ему года два-три, он на даче и слышит рок. И чей-то горький вздох, и позже — всхлип, и ему открывается внезапно какой-то большой смысл. Какой? И было ли это, а если нет, откуда оно сейчас в нем? И так светло — откуда? Да, от снега, от белых подоконни-



ков в караулке. И от убежденности, нет, даже твердого знания, что с миром не случится ничего страшного, пока есть эти песни, пока люди орут, избавляясь от переполняющих их токов, и подзаряжают шарик, не дают ему остановиться, и он летит во мрак и минует мрак.

Полчаса назад он не верил, что прошлое вернется. И вот, с первыми аккордами, оно все тут. Ты снова заступил на пост в четыре. Шагал, единственный из всей смены, бодро, шагал в рай, в дощатый домик с гудящей печью, усыпанный рыжей хвоей. В петлю, капкан, мышеловку. Ты поддался, дал себя заманить. Ты попался.

Снег весь обращался под валенками в визг и хруст, для того точно и был создан, и умирал, дождавшись этого давления на себя, непереносимого.

И вот он идет, тепличное растение, москвич, маменькин сынок, умник, пытаясь удержать в себе, сберечь прилив этих, уже ему знакомых, но чрезвычайно редких ощущений, верящий, что они что-то значат, эти бредни, минутная слабость, с чего-то решивший, что мир — это не тьма и, если он с тобой, он будет тебе помогать. Иван чуть не в экстазе, и на все триста тридцать три стороны все частые звезды сияют, и он уже знает: они все за эту длинную ночь покажутся — желтые, оранжевые, пронзительно белые. Пуговица Юпитера и ярчайший Сириус, переливающийся рядом с пилкой лесов, откуда ему тоже в ответ что-то мерцает: где-то здесь есть, говорят, алмазы.

Вот он идет и смотрит так, точно бессмертный. Так и надо, говорит он себе, именно так — ясно, бесхитростно, ведь все сочтены и спасены, мы все. Небо знает наизусть мой голос, говорит он себе так, словно верит в это и словно это что-то значит. Главное произошло, говорит он, да, ведь можно и так: придумать, что главное дело твоей жизни уже свершилось, тогда у тебя действительно получится, что бы ты ни задумал, и мир поможет тебе.

Иван чувствует, что снова любит себя, его не сломали еще, не похоронили, и он будто бы готов выдержать это расплющивающее и растянутое давление извне... И будет смотреть на посту, как небо поворачивается, как ковш с севера уплывает в зенит — так, будто века проходят. Субмарина, желтая рыбина пробилла лед и пучится нахально в выси. Слушает эхо событий этих веков, далекие сшибки фронтов ударных волн, отголоски... Как скрипят деревья в километре и в тысячах километров отсюда, как в стратосфере что-то летит, как спутники плачут, как кто-то далеко-далеко прошагал от мертвой караулки до жаркой кухни...

Столько всего обещано, такие дороги открывались, такие виды, и нежности столько, и точно не одинокий ангел летел, храня тебя, а целое войско, и архангелы рядом, строим, и все они с тобой, и ясно же: обещано, значит, и исполнится, жди. И каждая гитара будет звенеть, до того как быть разломанной. Каждая песня будет спета, прежде чем ее забудут. И всякий человек свободен от рождения до наступления своей смерти.



И этого не отнять. Иван видит, как просыпается в незнакомой ему квартире в незнакомом городе, и стеклянное окно во всю стену и за ним только утреннее небо с облаками, видит какую-то девушку с короткой стрижкой.

Это спермотоксикоз. Это все музыка. Это все рок...

Очнулся Иван, когда зарылся в сугроб по пояс, мордой в колючку внешнего ограждения, до крови оцарапав переносицу. Не сразу понял, где он.

Месяц висел уже не справа. На востоке морозного неиссякаемого неба появились летние созвездия.

Сколько его уже не меняют? Начкар заснул — и все?

Послышался где-то в отдалении разговор. И вроде даже музыка. Двери нараспашку так долго держать не могут, приемник в такую стужу начкар бы точно не вынес, да он у него и слабосильный, досюда не добьет...

Отгоняя сон, Иван затянул «Корнелия Шнапса». Потом — «Солнечный остров». Все очень просто: сказки — обман. И вдруг явственно услышал гитару и знакомый голос: «Он играет им всем, ты играешь ему, ну а кто здесь сыграет тебе?..»

К нему шел БГ, каким Иван его видел за месяц до призыва, в той же меховой жилетке — шанхайские барсы, с большим перстнем, фенечками, в сапогах с меховыми вставками. Это тень теней и рикошет отблесков? Да нет же, живой. А это кто? С какими-то погремушками, маракасами... Кто этот многорукий Шива? Ринго! Носатый Ринго в накинутах поверх лапсердаке! Или ему кто из наших шинельку дал? А вот и Джордж с Полом в смешных шубах, как цыганские бароны. Прикрывают друг друга гитарами, метаясь на запад и на восток. Oh, I get by with a little help from my friends... Встречайте! Джон в очочках своих и со старообрядческой бородищей, сосульки висят. Какая разница, что он застрелен в самую аорту — он здесь, вместе со всеми. Молодой месяц с золотыми рогами пляшет, увидев его. Мертвый лес, что вокруг на тысячи верст, ведь тоже воскреснет, все эти замороженные железные тяжелые деревья. У пихт на ветвях отрастут мягчайшие кончики нежного цвета. Весной, непременно... А люди — они такие, природным ритмам могут и не подчиняться. Вот еще один очкарик в треухе, стеклышки заиндевели. Иван не знает его. На Маргулиса похож. Значит, не галлюцинации. Тогда бы появлялись только те, кого до этого он видел. Вот и землячки подтянулись: теперь уже сам Маргулис, Макар, Кутиков в каком-то уматном берете. Все с инструментами, играют, стучат каждый во все пять рук, какие-то свистульки-пердульки извлекают, дудят, приплясывают, замерзли, бедные. Что-то русское народное. Спи, девки сын, спи, пропади, изведись в шесть досок, будет матери опроска, будут радости... Иван смеется в голос. Надо же, и Джо Кокер тут: ему уже за сороковник, и он воскрес, уже не так обдолбан и, похоже, совсем не пьян. На погост тебя нести, на погост



под крест, не забыл чтоб Христос... Бай-бай-бай-байки-баю, колотушек надаю, лю, лю, лю, лю... Спи-тко, усни, да упокой тебя возьми... Иван, воткнув автомат штык-ножом в сугроб — вошел весь, — скидывает тулуп, протягивая незнакомому очкарику. Тот отнекивается, улыбаясь, и Иван, оставшись в бушлате и ватных стеганых штанах, зовет Макара, хочет надеть на него. Андрей! Вадимыч! А «Пинки» любимые, где они? Вместе они уже никуда? Да зачем им сюда — не их компания... Нет, почему? Их бы всех на групповой портрет в дембельский альбом, под уголки из фольги. Хоть какой недосуг, на погост понесут, матери опроска, и тебе упокой, ножечкам тепло и головочке добро... А это что за парни? «Система»? Цветы и огни, джинса. Ба, да это же отец в гавайской рубахе с золотыми запонками! И еще какой-то незнакомец, тоже хиппующий. А ведь старикан уже, лет шестьдесят. Но какая статья!

Почему Джо, высохший Джо так смотрит на Ивана? Как это странно, в этой мгле перед рассветом. Свирепой. Так ее называли римляне? В Гиперборее иначе.

Во мгле, пред нестерпимо долгой полумглой, что настанет и будет длиться до почти вечной четвертьмглы, а она — до неколебимой хмари, тянущейся до бесконечной мути предрассветной, Ивану снится мокрая шерсть, ее запах. Мать ему в детстве сделала куколку из красной шерсти. Нет, не ему — отцу. Руку лечить. И не мать, а бабушка. Шерсть мокрая от слез? Да зачем, не надо, эта куколка — оружие сильней автомата, единственное оружие...

В последние мгновения Иван краем глаза увидел огни в лесу. Ненастоящие, как елочные гирлянды и шары, ими подсвеченные. А потом появились волки, такие красивые после босховских сослуживцев. В зверях текла, толкаясь, здоровая красная кровь. Под мелким светом звезд, искрящимся в их чистой густой шерсти, пронеслись вдоль колючей проволоки по насту, как по воздуху, в трех метрах от полумертвой земли сильные звери с желтыми глазами и мощными шеями, ворвались через проволочный разрыв.

Мир снова был с ним, Иван не один, праздник пришел. Мир кинул лапы ему на грудь, и, ничего не взяв с собой, кроме того, что невесомо, Иван куда-то полетел. Или это земля падала, шарик проваливался в космос, воздух дымился, железные сучьи зубы вошли в белые холодные скулы, добрались до горла. Алые жаркие пасти взрезали плоть бритвой.

Позже снег посинел, от караульных вышек, столбов ограждения легли слабые, нечеткие тени. Было тихо и пусто. Небосклон за арсеналами помутнел, стволы деревьев проступали, очерчивались в холодном пространстве. С самого низа оно начало наливаться красным, будто напитываться кровью кого-то за краем, кого не видно. Снег побелел. Солнце вставало.

Первого января полк подняли в честь праздника на час позже и, хоть была пятница, дали вареные яйца. Дембеля разъехались, никто праздничной пайкой с щеглами не поделился.



А четвертого января ранним утром нагрянул комдив. Полк выстроился на плацу. В ожидании солдаты подпаливали спичками бахрому шинелей.

Широкозадый румяный колобок в папахе и погонах генерал-майора прочитал приказ командующего округом и добавил несколько слов от себя:

— В соседней части сержант Багаутдинов, ефрейтор Щербина, рядовые Белов, Быков, Танис опились на праздник антифризом. Вот что это, спрашиваю? А у нас? Рядового Шорохова в карауле волки сожрали. Одни сапоги остались. А ведь он стоял на посту! Заснул, бросил автомат... Мать звонит, спрашивает, где сынок. Что отвечать? Сапоги забирайте?

Еще колобок призвал к бдительности, вспомнив недобрым словом Шереметьево-3 и Матиаса Руста. Тот, держа курс на Кремль со скандинавской стороны, пролетел, кстати, на фоне кучевых облаков ровнехонько над дачей Шороховых. Анна тогда уже открыла загородный сезон и низко летящую эту бело-черную заморскую пташку видела.

Полк расформировали через пять лет. Оставили роту нести караул при арсеналах, но вскоре военную технику начали передавать гражданским, МЧС. Частично разграбили, сдали в лом. Хранилища боеприпасов уже не опаживали, сухостой не выжигали, и однажды низовой пожар переметнулся на снаряды и боеголовки. Так третий караул исчерпал себя и самоликвидировался. Во втором через полгода после того пятидневного светопрестваления боеприпасы начали уничтожать планомерно. Взрывы продолжались почти два года.

Часть, где Иван прослужил первые полтора года, завершила свою историю в 1998-м. Видно ли тебе из твоих черных пустых высей? Все деревянные строения — клуб, чепок, туалеты, свинарник — сгорели. Это своей отличной оптикой фиксируют спутники-шпионы — те самые, от кого вы по графику прятали технику. Вырубали станции и пусковые, загоняли в боксы, выравнивали по натянутой нитке, и можно было залезть в боевое, задраить люки и спать. Построенные японскими военнопленными казармы и бетонные сооружения 70-х — боксы, КПП, столовка, офицерское общежитие, штаб, лазарет — еще стоят, но с каждым летом их разглядеть все проблематичней: рядом и сквозь них прорастает лес.

В нулевые имущество военного городка забрал себе Ярослав Шорохов. Его компания работала и в этом крае. Стояли бы 90-е, приколотил бы на мозаичное панно у ворот КПП мемориальную табличку о братане, открыл бы музей Советской армии, но время ушло, достойного применения этим площадям его менеджеры так и не нашли. Сдавали одно время в аренду автосервисам, каким-то мутным фирмочкам. А там, где ты драил

пусковые водой напополам с солярой — для блеска, где грел паяльной лампой и правил кувалдой их мятое железо, выковыривал стылую землю из балансиров, в этом парке и на дороге к нему за пару недель вывернули все бетонные плиты. Ты думал, что здесь уже и траве не расти — ничего подобного: через год поднялись двухметровые заросли. Всякая крепость падет.

Отсюда еще вот что кажется: да, всякая крепость падет и всякий будет услышан. Но есть какое-то бессознательное неравенство голосов в пользу новой поросли, подрастающей ребятни, всего их нестройного хора, несущегося в прозрачной прохладной невесомости ввысь, во мрак. Эти крики и вопли всегда чуть больше значат, и потому к ним прислушиваются. В них помимо непосредственных жизненных обстоятельств что-то есть еще. Так, вероятно, будет с трубой Гавриила. Это выделенные звуки, голоса, летящие курсивом.

А как на подмосковной даче в раннем детстве Иван больше никогда и не орал. Повода не было.





Светлана КЕКОВА

## ВОДА И ГЛИНА

\* \* \*

Просыпается утром не тот человек, кто спал.  
Тот, другой, летал над вершинами черных скал,  
над волной морской, над улицею Тверской,  
тот, другой, совладал со своей тоской.

У него — молодое имя, иная стать,  
он могуч, как ангел, прекрасен и полон сил.  
Засыпает ночью не тот, кто ложится спать,  
умирает тихо не тот человек, кто жил.

Он теперь лежит, как в замерзшей земле зерно.  
Я найти пытаюсь пропущенное звено  
между этой жизнью и жизнью незримой той,  
где сидят, обнявшись, разбойник, дитя, святой.

Я найти пытаюсь ту точку, где явь и сон,  
словно жизнь и смерть, на минуту одну сошлись.  
А когда найду — Благодать победит Закон  
и пустая бездна, как небо, поманит ввысь.

### Три стихотворения

1.

Объятья были пылки... Но в море — посмотри —  
качаются бутылки с записками внутри.

А те, кто их писали, лежат в дому костей  
и ждут, чтоб их спасали от их былых страстей.

Любовь на брачном ложе палит таким огнем,  
что мы с тобою тоже объяться разомкнем.

Шумят платанов кроны, всю ночь гудит приборъ  
и раздаются стоны из бездны голубой.

2.

Неужели, о Боже, это видела я —  
солнце, брачное ложе, золотая ладья?

И соленые волны за высокой кормой,  
и в хитоне просторном ты, возлюбленный мой.

Тех, кто молод и беден, не пускай на порог:  
плод познания съеден, как творожный сырок.

Ночью темной листвою шелестит кипарис...  
Оглянись!  
Я не стою даже кожаных риз.

3.

Плода запретного вкушение,  
тоска, и мука, и вина...  
Обломки кораблекрушения  
на берег вынесет волна —

ковры, торшеры, кресла дачные,  
цветастые половики,  
размокшие контракты брачные  
и тени рыб со дна реки.

И жены, бытия виновницы,  
чтоб завести в домах уют,  
из листьев мяты и смоковницы  
своим мужьям одежду шьют.

\* \* \*

Ночь шепнула, ворона накаркала,  
напророчил лихой человек,  
что вернется на улицы Харькова  
умирающий мартовский снег.



Мы с тобою пустились на поиски,  
чтоб его непременно спасти,  
и шептали про прииски, происки,  
обходные искали пути,

пустяки, говорили, царапина,  
мы ведь, в сущности, тоже умрем...  
И смотрели, как тень Чичибабина  
освещала нам путь фонарем.

\* \* \*

Все-то мы окна моем,  
чисто полы метем —  
ворон ли проклят Ноем,  
голубь ли им спасен,

в омут ли канул опыт,  
как окунек с крючка, —  
все-то мы слышим стрекот —  
жалкую песнь сверчка.

В жалобах бессловесных  
лучшая из наук —  
слышать в надзвездных безднах  
швейной машинки стук.

\* \* \*

В августе еще светает рано,  
и кулик, летящий над рекой,  
наблюдает таинство тумана —  
движущийся в вечности покой.

Так сквозь дымку неземной вуали  
с удивленьем наблюдаю я  
саморастворение печали  
в двойственном составе бытия.

\* \* \*

Не смотри на спящего ребенка,  
На волчицу в голубом лесу...  
Знаю я, что рвется там, где тонко,  
Но в руках печаль свою несу.

А печаль подобна зернам мака  
Или камню, что идет ко дну...  
Сердце, как бездомная собака,  
Темной ночью воет на луну.

Ничего оно уже не просит,  
Но, когда прохожий говорит:  
«Что ж, собака воет — ветер носит»,  
Сердце переходит на иврит.

Как ему смириться с тайной злобой,  
Как отдать страданье за гроши?  
Ты, прохожий, расшифруй попробуй  
Лунный свет как тайнопись души.

\* \* \*

*В. Мошникову*

По реке печальной луна проплывает рыбой,  
среди лещей и щук выбирает сестру и брата.  
И в который раз совершает художник выбор  
между блеском волн и граненым зерном граната.

Совершает выбор между золотым кувшином,  
виноградной гроздью, персиком и лимоном.  
Между блудной дочерью и непослушным сыном,  
меж предсмертным хрипом и страстным любовным стоном.

Как легко запутаться в символах, знаках, нотах,  
как легко забыть, что и сам ты — вода и глина...

Твой последний холст отразил потолок в тенетах,  
но к нему прилипло сырое перо павлина...



\* \* \*

В диких чащах и в местах безлесных  
темной ночью и при свете дня  
вещи в длинных мантиях словесных  
с удивленьем смотрят на меня.

Я была когда-то их молитвой,  
их покоем, превращенным в страсть,  
но, пройдя меж Сциллою и Харибдой,  
потеряла над вещами власть.

Трудно сердцу, сжатому в полете,  
навсегда попавшему в тиски,  
вынимать из нашей общей плоти  
жало нераскаянной тоски.

\* \* \*

Вот — хлеба ржаная коврига.  
Вот — страж на стене крепостной.  
Жара, как татарское иго,  
Царит над усталой страной.

Но хмеля густой виноградник  
Столицу закрыл, как броня,  
И где-то таинственный всадник  
Нагайкою хлещет коня.

Средь толков и разноголосиц,  
Средь трав, заселивших пустырь,  
Сражаются дуб-крестоносец  
И клен — молодой богатырь.

Рыдает береза-солдатка,  
А ясень печален и нем,  
И клену так больно и сладко  
Сражаться неведомо с кем.



Павел ПОНОМАРЁВ

## БЕГЛЕЦ

П о в е с т ь

### 1.

Посреди снежной пустыни, насквозь продуваемой ветрами, неуклюже, как скворечники, были воткнуты брошенные избы. Внешне они еще сохраняли лицо — бревенчатые стены, крыши, ставни, ограды, — но внутри домов царил холод и пустота. Предприимчивые хозяева переехали в город. Остались лишь те немногие, кому нечего было терять: одичавшие философы поневоле и старухи, доживающие свой век.

Помнится, когда-то мы с отцом искали в этих краях дачное место — какую-нибудь дешевую избу с пятью сотками у забочки. Брошенных домов и тогда было немало. Как тать я проникал в чужую избу и с удивлением обнаруживал оставленные хозяевами вещи. Много было нетронутым: посуда, старая мебель, книги, настенные часы. Прошлая жизнь людей мистически продолжалась в позабытых предметах, к которым и прикасаться-то было страшно, как к церковной утвари. После мы купили один из домов, очень ветхую избу, как и хотели, у самой забочки. Забока представляла собой смешанный лесок, тянувшийся вдоль берега Алея, на краю деревни. Вот сюда-то я и приехал со своим рюкзаком.

Последний узел, связывающий меня с цивилизацией, был развязан, ибо черные тополя у реки видели, как мой телефон, совершив акробатический трюк, улетел в дальний сугроб и умолк навсегда. Я не стал смотреть, кто звонит, то ли от гордости свободного человека, то ли от страха вернуться в прежнюю жизнь. Музыка Баха доигрывала последние такты, когда я подходил к забору и недоверчиво всматривался в неподвижную законную тьму.

### 2.

В новом жилище оказалось достаточно разного рода вещей, чтобы существовать. Дом состоял из двух комнат и холодной сарайки, которую после я завалил кучей хвороста, благо забочка была рядом. В большой комнате, ставшей местом размышлений и спальней, находилась железная





кровать. Справа от кровати, возле окна, висела книжная полка, на которой вместо книг пылилась бумажная иконка и чернел кусок хозяйственного мыла. Там же был стол, украшенный сухими цветами в стеклянной банке, и пара стульев. Другая небольшая комната, где находилась русская печь, служила кухней.

Первое, с чем я начал бороться, это пронизывающий до костей холод. Он был всюду. Казалось, холод зарождался где-то на розовеющем степном горизонте, затем невидимым острием пронзал обмороженные сучья глуши, пробирался к жилищу и сквозь многочисленные щели вползал в не защищенное огнем пространство, где был человек. Этот человечешка смешно приседал, суетился, неумело складывал хворост и ронял спички на промерзшие доски. Наверное, холод сравнивал меня с теми старожилками, которые благоговейно склоняются над печью и через мгновение рожают пламя. Холод смеялся.

Вскоре изба ожила. На печи в ржавом ведре парил кусок январского сугроба. В доме было грязно, и я решил вымыть пол и стереть пыль с немногочисленной мебели. Уже в сумерках, при свете керосиновой лампы, я принялся выкладывать все из рюкзака. Половина накопленных со стипендии денег была потрачена на консервы, спички, сигареты и прочие вещи, необходимые в быту. Другую половину оставил на жизнь. Хоть я точно и не знал, есть ли в этой глуши жизнь, да и не слишком-то задумывался о завтрашнем дне. Ощувив домашнее тепло, я снял с себя куртку и закурил. На столе темнела стопка привезенных книг — на случай, если мозг начнет давать сбой и придется усмирять его с помощью готовой реальности.

Русская печь, вросшая некогда в основание избы, пробудила древние запахи жилища. Я чувствовал то горечь степной полыни, то сладковатую вонь июльского хлеба, то пчелиные ароматы зимовника. Все здесь было просто и страшно. Моя изба была, конечно, язычица. И я отдавал должное ее поверьям, подкладывая в огонь острые сучья, стараясь делать это вдумчиво и неторопливо. Мне подумалось: как же хорошо сидеть здесь одному, молчать и быть самим собой.

Я перерубил провод, связывающий меня с миром, но осталась память. Надев валенки, вышел в беззвучную тьму, лишь через минуту разглядев очертания двора и острые верхушки тополей. Память надеялась уколоть мыслями о той жизни, но древний холод и дивная тишина этих мест делали мысли беспомощными. Они растворялись в хаосе ночного неба — без единой звезды. Во всем этом безмолвии было много жизни. Казалось, древние духи и ныне живут здесь: в деревьях, в старых колодцах, в стенах и половицах моей избы. Духи присматриваются ко мне, принимают, чую смрадную вонь большого города, но пока не трогают, наблюдают, что со мной станет потом.

Спать я лег одетым, не решившись доверить наготу необжитому месту, подумав, что и дом со своими духами считает меня пока что чужаком. От усталости заснул довольно быстро.

### 3.

Наутро я увидел страшный сон. Передо мной стоял человек лет тридцати в грязной фуфайке и угрожающе размахивал руками, не произнося при этом ни слова. Он только мычал и выразительно лупил большими голубыми глазами. Поняв наконец, что это не сон, я попытался сообразить, что ему от меня нужно. Мельком вспомнил, что ночью не запер уличную дверь на засов, и это меня испугало. Тем временем язык жестов пришельца сообщал, что его не нужно бояться, что он свой: лицо с вытаращенными глазами сделалось подчеркнуто незлобивым и улыбалось. Все его поведение выражало детское «давай дружить», но мне, добровольному затворнику, эта идея не очень-то нравилась. Уехав от людей, я и не думал встречаться здесь с кем бы то ни было, особенно с сумасшедшими.

Пока я напяливал куртку, немой суетился у печи и, кажется, собирался ее растопить. Так как я не вставал ночью и не подкладывал дров, изба почти остыла. Молча наблюдая, как неизвестный чиркает спичками и мнет бумагу, не переставая улыбаться, я чувствовал себя беспомощным идиотом. Наконец, достав ручку с блокнотом, я жестом подозвал немого и написал: «Я не вор. Это дом моих родителей. Приехал собирать фольклор». Пришелец с интересом прочел сообщение и добавил от себя корявым почерком: «Я Федя. Увидел следы... (нрзб) что за хрень... (нрзб) решил посмотреть». Продолжение переписки представляло собой примерно следующее.

Я: — Здесь еще живет кто-нибудь?

Он: — Две бабки в низинке, одна мертвая.

Я: — Что ты тут делаешь?

Он: — Бухаю. Жена бросила... (нрзб) хожу на прорубь.

Я: — В деревне есть магазин?

Он: — Раз в неделю... на грузовике...

Я, грешным делом, подумал: это хорошо, что он немой. Деревня словно бы запрещала произносить лишние необдуманные слова, но только самые нужные — из глубины сердца. Гость исчез так же неожиданно, как и появился, оставив после себя тепло и крепкий древесный запах перегара.

\* \* \*

В течение дня я лениво слонялся по дому, подолгу смотрел в окно на черневшие избы, курил, пару раз выходил во двор по нужде. Открыл банку консервов, но ел без аппетита. Лежа на кровати, наугад брал привезенные книги, открывал где придется, читал и сознавал, что читаемое мне неинтересно. Всякий раз мне слышался бубнящий в самое ухо голос автора, объяснявший какие-то важные проблемы о человеке, свободе, войне... Каждое слово — амбиция, каждая фраза — попытка заявить о себе в вечности.



Здесь я отдыхал от городского многословия, очищался от информационной блевотины, где одно высказывание имело в себе тысячу подтекстов и в итоге оборачивалось ничем. В деревне же царила немота. Редко где залает собака или ветер заденет сухую траву. Умом я понимал, что это и есть жизнь, что в тишине — красота, что нужно отбросить все лишнее и просто быть счастливым. Но одиночество напоминало о себе... как старая, лишь на время затаившаяся болезнь.

Когда я слышал беспокойный стук в окно, был уже вечер. Я выглянул, но увидел лишь занесенный по горло забор и деревенскую немоту. Через минуту вошел Фёдор. Он улыбался, мычал и застенчиво суетился на пороге, шурша пакетом. Изба услышала глухой звук. К моему удивлению, на столе появилась зеленая бутылка с самогоном. «Наверное, так надо», — подумал я и страшно обрадовался.

Мне не приходилось выпивать с глухонемым человеком. Я разлил самогон по стаканам и открыл консервы. Мы молчали и, улыбаясь, смотрели друг другу в глаза. Мне казалось, он видит меня насквозь, но ответить взгляда я не мог. Иначе как бы мы понимали друг друга... Глаза Фёдора были ясны и выразительны, как у ребенка. Я пытался представить ту белую тишину в его голове, не знавшей ни шума природы, ни музыки человеческой, способной вывернуть душу наизнанку. Впрочем, бессмысленного шума в мире куда больше, чем музыки. Глухота обостряла зрение и позволяла видеть человека, природу, время как бы изнутри. Словесная паутина не зашоривала реальность. Такой взгляд невозможно обмануть.

Мы выпивали, а Фёдя что-то «рассказывал», и все его подвижное тело было подчинено мысли. Когда он бил кулаком по ладони, словно заколачивал гвозди, я понимал, что речь идет о его суке жене. Когда рука указывала в сторону реки, а голубые глаза становились величиной с небо, я догадывался, что Фёдя говорит о рыбалке и о том, какая неведомая рыба водится в его проруби.

Довольно скоро я захмелел, за окном было темно. Фёдя яростно дирижировал невидимым оркестром, исполнявшим симфонию его жизни. В этой музыке было все: и радость, и одиночество, и отчаянный призыв налить еще. Я слушал и блаженно созерцал пустеющую зеленую бутылку. По избе медленно, как осенняя паутина, плавал табачный дым, превращая реальность в сновидение...

\* \* \*

Не помню точно, как мы оказались на улице. В распахнутой куртке и с сигаретой в зубах я наблюдал впереди силуэт Фёдора, решительно уходящего в темноту. Стоило бы тогда предположить, куда он меня тащит, но я ему доверял и расценивал данное происшествие как новый приключенческий маневр. «Наверное, так надо», — снова подумал я.

Казалось, не прошло и пяти минут, когда мы подошли к бревенчатой хибарке, в окошке которой горел странный мерцающий свет. На самом

деле мы плелись по сугробам не меньше часа. Рук я не чувствовал, и попытка закурить кончилась тем, что выронил все сигареты в снег вместе со спичками.

Войдя в чужую избу, я не ощутил ожидаемого тепла. Мой взгляд скользнул по длинному домотканому половику, ведущему из кухни в зал, и в ужасе застыл на раскрытом гробу с покойницей. В гробу желтела сморщенная старушка, крепко держа своими скрюченными пальцами церковную свечку.

— Замерзли, небось, а я и не топила, чтоб Марфушу не потревожить, — сказала вторая, живая старушка, приветливо качая головой.

Больше в избе никого не было.

— Вот хорошо, Федя, что друга привел, будет с кем могилку для Марфуши выдолбить, — пропела бабушка. — Он пишет, вы ученый, хальклор собираете. Я, грешным делом, подумала — мож, человек по Марфуше хоть Псалтирь почитает. Я-то ослепла совсем, а Марфуша дюже сильно в Господа веровала, царство ей небесное... отмучилась...

Старушка заохала, закачалась, я уж подумал, что сейчас расплчется и запричитает. А она только коснулась ладонью ног умершей подруги и, тихо улыбаясь, смотрела.

— Вы не стойте, — снова заговорила она, — мож, вам с морозу водочки налить? Я ведь припасла на поминки.

Бабушка усадила нас за стол. Мне она налила крепкого чая с травами и пододвинула тарелку с пряниками, к которым я так и не притронулся. Феде поставила рюмку водки, порезав на закуску пирог с капустой.

— Кушайте, не стесняйтесь. Вам силы нужны — мерзую-то землю колупать. Ежели Степан до завтра на машине поспеет, оно и легче втроем-то... Да он, говорят, запил. Люди вторую неделю хлеба не видят. Мне так внучка к поминкам привезла всего, еле добралась... Степан-в-жопе-чурбан — так его в детстве дразнили, прости господи... А у Марфуши, кроме меня, никого. Не дай бог так вот одному век доживать. Да теперь ничего, отмучилась...

Хозяйка налила себе рюмку водки, выпила зараз, чуть занюхав пирогом, и продолжила:

— Мы ведь с ей с юности еще дружили... при колхозе. Я на тракторе, она — дояркой. Мужики-то все на войну ушли. Вот бабы и держали колхоз... Помню, как она с похоронкой-то прибежит да как заголосит: «Ой, Маруся, без мужика я теперича, повешусь я». Бог миловал, языком только болтала. А после того, значит, как муж ее погиб, шибко боговерующая она стала, прям как монашка. Иконы дедовские на чердаке отрыла, платок себе черный на голову повязала — чисто монашка! Вот, Марфуша, — повернулась она в сторону гроба, словно оправдываясь, — людям рассказываю про жизнь нашу горемычную, а ты отдыхай... Ну вот... А время-то сами знаете какое было: нет, говорят, Бога... и все тут. Над ней уж и люди стали посмеиваться, а она своего церковного не оставляет. Когда в город разрешили выезжать, после этого уже, Сталина-то, она и в

церковь стала ездить, на свою-то голову. А там батюшка ее не то остриг, не то подстриг, я уж и не знаю, как это у церковных людей называется. Только после этого она совсем молчуньей стала: из дому не выходит, сидит, бусины перебирает. Она из старых бус четки себе молитвенные сделала. Одним хозяйством только и кормилась...

Пока старушка рассказывала, я окончательно протрезвел, а Федя мирно посапывал, уснув в позе школьника за столом. На кухне, где мы сидели, пахло старушечьими вещами и ладаном. В красном углу горели свечи. Духа, которого я немного побаивался, не было, и хозяйка, словно прочитав мои мысли, ответила:

— Высохла Марфуша, не пахнет совсем. А ты, сынок, возьми Псалтирь-то, почитай на покой души подруги моей. Да и оставайтесь-ка у меня на ночь, я вам на кухне постелю. Куда вам теперь идти... ночью-то. А утречком пойдете уж могилку ковырять.

Как ни странно, такой поворот событий меня не удивил. Я взял старую книгу, опасливо подошел к гробу, стараясь не глядеть на покойницу, сел на поставленный рядом стул и начал читать с первой страницы: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь...»

#### 4.

Утром, омочив страшные лица под рукомойником, мы с Фёдором отправились на кладбище. По дороге зашли в его лачугу, захватив два лома и лопаты. Если бы мне пришлось когда-нибудь снять фильм, то изобразил бы я эту картину примерно так: раннее январское утро, кругом белая тишина. Только хруст наших шагов — на целые километры. Мы с Фёдором, как два партизана, в фуфайках и валенках, медленно бредем по степи в сторону размазанной по горизонту редкой опушки, где темнеет кладбище. Со стороны забоки тревожно каркает воронье, напоминая о крае долготерпенья и о той красоте, что сквозит и тайно светит в бесконечности русского пейзажа. Навязчиво цепляется мысль о ночном сновидении, хотя спал я паршиво, да и сон приснился, должно быть, ближе к утру. Я увидел, как покойница встала из гроба, подошла к столу, опрокинула рюмку водки и, повернувшись в сторону моей лежанки, тихо и с упреком прокричала: «Ты хоть бы о матери подумал, стервец». И легла обратно в гроб. «Под сосенкой просила Марфуша», — вспомнился благостный распев бабы Маши. Хотя какие тут могут быть сосенки, рассуждал я про себя — тополь да ива. Но, когда мы добрались до места, я действительно увидел небольшую чахлую сосну, вероятно, посаженную кем-то для красоты. Тут мы и стали долбить.

Я начал работать ломом резво, отчаянно, как если бы я откапывал сокровища. Федя покуривал в сторонке, созерцая мой труд, и что-то смекал. Я не раз любовался подобной картиной в городе, где какой-нибудь



мужик, стоя по колено в грязи, выковыривает провод, а другой, наблюдая и покуривая, проникает в метафизику происходящего. И никто не возмущается, сознавая значимость физического делания и действенного созерцания.

Через какое-то время Федя приволок хворост из забоки. Я решил, что он хочет развести костер, чтобы мы отдохнули и согрелись. Впрочем, работая ломом, я разогрелся так, что холода не чувствовал. Но, когда он положил ветки на будущую могилу и поднес спичку, я был поражен своей глупостью: разогретая твердь комьями отлетала в стороны, а острое лома с каждым взмахом уходило все глубже и глубже в недра могильной земли.

\* \* \*

Обратно мы шли недалеко от руин полуразрушенного коровника, разобранного на кирпич, задумчивые и голодные. Тускло светило солнце. Я не знал, который теперь час и как долго я вообще нахожусь в этом месте. В голове было как в глухой кадучке — темно и пусто. Испарялись готовые фразы, остроумные мыслишки, как ненужные в этой блокадной тишине. Не знаю, думал Фёдор о смерти или о своей жене с малолетним сыном, скучал он или был счастлив... Позыв к любительской психологии рождается от безделья и сытого желудка, а мне было не до того. Нужно было похоронить старушку, пока не началась выюга и не замело протоптанную тропу.

Вернувшись в свою избу, я первым делом затопил печь и поставил ведро со снегом, решив наконец помыться. На столе лежал пакет с пирогом бабы Маши и парой вареных яиц. Завтра должны будут состояться похороны Марфуши, и почему-то я переживал это событие как что-то мне близкое, не знаю почему. Может, потому что читал Псалтирь над покойницей... или потому что долбил для нее свежую могилу. Как бы то ни было, эти вещи делали меня причастным к происходящему здесь. Когда я, стоя голышом в тазике, намыливал себя куском сомнительного мыла, взятого с книжной полки, то думал о том, приедет или не приедет на своем грузовике Степан, что это за человек и какое он имеет отношение к деревне. Я и не заметил, как стал жить новыми именами, запахами, образами, наполнявшими древнее пространство моей добровольной ссылки...

## 5.

Знакомство со Степаном произошло в избе бабы Маши, куда я отправился ближе к вечеру, чтобы помочь с похоронами. За кухонным столом сидел человек лет пятидесяти с большим животом и лицом водителя городского автобуса. Я вежливо поздоровался и сел на лавку.

— Ты, что ли, приезжий? — выдавил Степан, глядя в сторону.

— Я, — улыбнулся я ему.





— И на кой тебя сюда занесло? Сидел бы лучше дома, мамкины пироги ел. Мало ли по деревням спивается, — с укором покосился он на Фёдора, который был тут же и чистил у печи картошку.

— Да ученый он, хальклор собирает, — вступилась баба Маша. — Ты скажи спасибо, что помощник нашелся. А то надежи на вас... тьфу, — плюнула хозяйка и забрала у Феди кастрюлю.

Степан выдержал паузу, покашлял в кулак и, поглаживая плешь, сказал:

— Ну пойдем, ученый, покурим, что ль.

И мы вышли во двор покурить.

По грустным глазам и ленивой фигуре Степана было видно, что он человек добрый, и меня забавляло то, как он напускает на себя важность, чтобы казаться занятым по горло. Дело его заключалось в том, чтобы по выходным привозить из города в глухие места продукты и то, что попросят люди. Деревенские называли его фургон «лавкой». Иногда он обменивал магазинные продукты на своё мясо, творог, яйца, чтобы продать на городском рынке подороже. Этим и жил. Степан был когда-то жонат, в молодости играл в заводском оркестре на трубе, читал Стругацких, но в девяностых все пошло к черту. На последние деньги он купил себе грузовик и стал шоферить.

— Что, красиво? — спросил Степан, заметив, что я гляжу в сторону забоки.

— Красиво, — нехотя ответил я.

— Красиво... — передразнил Степан и с прищуром затянулся. — Тут не в красоте дело. Тут все детство мое прошло. Вон то дерево видишь? Слышь, че говорю... видишь тополь возле коровника?

— Вижу.

— Так вот, когда я в школу начал ходить в Бобково, деревня тут в пяти километрах, он был ростом с эту лопату, — показал он на воткнутую возле крыльца лопату. — И каждый год я мимо него ходил и наблюдал, как он подрастает. А теперь смотрю я на него... — запнулся Степан. — Понимаешь, о чем толкую?

— Понимаю.

Мы немного помолчали.

— А я вот тебя не пойму. Чего тебе дома не сидится? Тут до вечера-то пробудешь — тоска гложет.

— Чапушки собирать приехал.

— Студент, что ли?

— Ага, студент.

Нашу недолгую беседу нарушила хозяйка, позвав ужинать. Покойница уже не производила на меня того жуткого впечатления, как прежде. Я даже готов был подержаться за ее вязаный тапок, как делал это в детстве, когда умер дед, но понимал, что выглядело бы это довольно странно. Фёдор сутился у стола, думая во всем угодить бабе Маше, расставлял и переставлял чашки, со звоном ронял алюминиевые ложки, нарезал огром-

ными ломтями домашний хлеб. Хозяйка притворно ворчала на помощника, пряча едва заметную улыбку в морщинистом лице:

— Ты меня хошь вслед за Марфушей в гроб отправить? А ну иди отсель, руки вон лучше помой.

А Фёдор понимал только то, что бабушка жалеет его и любит. И он тоже жалел и любил ее за доброту.

\* \* \*

Ночью у меня начался жар. От старушки я пришел уставший и сытый, растревоженный мыслями о том, что напрасно я связался с новыми людьми, которым приходилось лгать и тем самым нарушать странную, приятную тишину здешней моей жизни. Не хотелось растапливать печь, идти за дровами в холодную сарайку, где так явно слышались мышинные шорохи. Я долго не мог уснуть, ворочался. В голые и ничем занавешенные окна проникал мертвенно-бледный свет луны, делавший комнату похожей на освещенный фонарем погреб. Я то укрывался целиком, ежась и кутаясь в мышиную вонь одеяла, то раскрывался полностью, чувствуя, что начинаю задыхаться...

## 6.

Похороны прошли без меня. Утром зашел Степан со словами: «Дрыхнешь, студент?» Но, когда увидел, что я серьезно болен, взялся растапливать печь и напоил меня чаем.

Весь день я пролежал в кровати, думая о своем отшельничестве и о том, как там хоронят теперь старушку. За окном серела пелена, затягивая белесое небо над забойкой. Снаружи вьюжило, и мрачно подвывала печная труба... Я то медленно уходил в сон, то резко просыпался от размашистых ударов ставен, бухающих о стекло. Порой завывание вьюги отзывалось в больной голове далекими звуками трубы, и тогда я с удивлением думал: не Степан ли играет над могилой эти протяжные траурные ноты...

Проснувшись от звука хлопнувшей двери, я услышал голоса и лицом почувствовал морозную свежесть. Мне показалось, что кроме знакомых голосов Степана и бабы Маши появился еще один — женский.

— Как ты, студент? — с порога хрипел Степан. — Хвораешь? Вставай, сейчас мы тебя самогонкой быстро вылечим.

Мне было и стыдно и приятно играть роль больного. Я ответил нарочито слабым голосом, что сейчас встану. Хотя двигаться, о чем-то разговаривать, улыбаться — сил не было.

— Ой, сыночек, да как же так, — запричитала баба Маша, — где ж ты вздумал простудиться? Только Марфушу схоронили, а тут...

— Ничего-о, — вовремя урезонил Степан, — вылечим твоего студента, не бойсь.



Я поднялся с кровати, причесал кое-как ладонями слипшиеся волосы и вышел на кухню. В углу на стуле в черном платке и валенках сидела девушка лет двадцати, склонив голову и тыкая кнопки телефона. Я поздоровался.

— Здравствуйте, — скромно ответила девушка, сунув телефон в карман куртки.

— А это моя внучка, Катенька, — ласково пропела старушка.

Степан, сидя на корточках, курил в устье печи. Рядом с ним лежал коричневый чемоданчик, похожий на чехол от музыкального инструмента.

— А Фёдор где? — поинтересовался я.

— Федька за самогоном ушел, — ответил Степан, подкуривая потухшую папиросу. — Эх и умаялись мы. Погода вишь как разыгралась... Полдороги везли гроб на санях, а там снега непролаз. Пришлось веревками обматывать и так тащить до самой ямы...

Степан мрачно затаился.

— Дак ведь уронили, уронили гроб-то! — возмутилась баба Маша, стряпавшая что-то у стола. — Благо хоть не вывалилась Марфуша, прости господи. Небось, поддали еще, как нести...

— Не шуми, баб Маш, — поморщился Степан, — и так на душе не шибко весело. Как не выпить, когда холод такой, до костей пробирает.

— О-ой, холод их пробирает, гляди-кась!

— Баб, ну чего ты, похороны ведь, — заметила внучка, явно меня стесняясь.

Старушка набожно перекрестилась.

— Зато как я играл, как играл... — тихо молвил Степан, зажмурившись. — Ты хоть знаешь, что я играл, а, баб Маш?

— И дела мне нет, чего ты там дудел на своей свистульке. Только Марфушу зря потревожил.

— Дудел... Шопена я играл, баб Маш, Шопена...

Степан грустно улыбнулся и затушил окурочок. В это же время с облаком морозного пара вошел Фёдор и поприветствовал нас своей широкой улыбкой.

\* \* \*

Когда мы сидели за столом, я поймал себя на мысли, что мне небезразлично наличие в кармане девушки сотового телефона. Нелегко было устоять перед соблазном узнать о той части разломленной пополам жизни — без меня. Что пишут друзья и одноклассники в моем блоге? Не обернулась ли весть об исчезновении страшным предположением о моей возможной гибели или самоубийстве? Не расклеивают ли теперь по городу листовки с моей небритой физиономией? Прежде ясная и твердая идея о необходимости бежать из содома, из железобетонного гетто, где, как мне думалось, все прогнило и продано, вдруг помутилась. Достаточно было увидеть эту маленькую вещицу с кнопочками, чтобы заболеть

миром вновь, чтобы прошлое вернулось в сознание и тупо встало перед глазами. Девушка, как нарочно, снова взяла телефон, но ее попытку найти связь предупредил Степан, сказав:

— И не пытайся, здесь не ловит.

— А где ловит? — спросила Катя.

— На улице надо выйти, к столбу, — ответил Степан и поднял рюмку. — Ну, чтоб земля была пухом...

Все молча выпили.

\* \* \*

Вьюга улеглась. Мерцали первые звезды. Я стоял поодаль от столба и курил, пока девушка с кем-то разговаривала, часто повторяя: «Не приеду... Не приеду... Не звони...» «Наверное, любовная драма», — вглядываясь в деревенские сумерки, думал я. Хотелось попросить у нее телефон, а главное, узнать, есть ли в нем Интернет. Но было как-то неловко, тем более что у нее драма. Когда мы возвращались обратно, я все же осмелился и спросил:

— Кать, мне бы в сеть выйти... У тебя случайно нет в телефоне?

— Есть. Возьми, — протянула она мобильник.

Я остался во дворе и стал жадно читать сообщения. На экранчике разворачивалась странная, если не сказать страшная, трагикомедия. Кроме меня героями этой пьесы были студенты и знакомые. Кто-то оставлял мрачные посты с многоточиями, похожие на эпитафии, другие изошрялись в догадках о моей участи (убит, повесился, утонул, похищен пришельцами), но самым ценным из всего этого шлака были сочиненные в мою память стихи с кратким названием «Другу». «Да, — думал я, листая сообщения, — если ты не гений, не медийная личность или маньяк, лучший способ прославиться — это пропасть без вести или умереть...» Мне стало невыносимо весело в эту минуту. Я смеялся на всю деревню, наполняясь неизвестно откуда бравшейся энергией. Что-то мне, впрочем, подсказывало, что смех этот был недобрый. Но истерику, как известно, трудно остановить.

В избу я вошел нахмуренный, пытаясь скрыть нездоровое веселье, но, видимо, делал это плохо, потому что Степан сказал:

— Вот и хорошо сделал, что мамке позвонил. Ехать тебе отсюда надо.

Это замечание меня немного смутило. Наверное, я плохой сын. Маме я так и не позвонил.

— Ну, помянули — и добре, — сказала бабушка, вставая из-за стола. — А тебе, сынок, я завтра вареньица принесу, чтоб выздоравливал... или вон — Катю пошлю. Айда, архаровцы, уж и ноги, небось, не держат.

Архаровцы лениво засобирались, изобразив на лицах «ни в одном глазу».



Проводив гостей, я остался один на один с голыми стенами и живой остывающей печью. Начисто вытертый стол и пустота комнаты создавали иллюзию, будто здесь и не было никого, а я только что встал с постели. Но крепкий помоечный запах яиц, курица и перегара рушил иллюзию. Пахло человеком, поминками, неизвестностью темной деревенской жизни.

## 7.

Следующий день я провел в ожидании Катерины. Выходил во двор, чистил снег, смотрел в сторону забоки на галдевшее воронье, но время шло медленно, словно бы издевалось надо мной. К вечеру я уже потерял всякую надежду и решил пойти спать, когда она меня окликнула, так тихо, что мне показалось, будто это скрипнула от ветра калитка. Я проводил девушку в дом, приняв из ее рук пакет с вареньем и домашним хлебом. Хлеб оказался кстати, так как продукты мои закончились и я уже подумывал о том, чтобы пойти рыбачить вместе с Фёдором на прорубь. Попрошайничать не хотелось, но бабушка, видимо, чуяла мою нужду и умело подкармливала.

Привлекательная городская девушка в моей избе, в безлюдной глуши, воспринималась как чудо. Я чувствовал себя рыбаком, поймавшим золотую рыбку на крючок, боясь, кабы не сорвалась. Катя сидела на старом диване и сметала колючий снег с валенок. На мое предложение раздеться и выпить чаю она сухо ответила: «Я ненадолго». В такой ситуации главное — не перестараться, не показать заинтересованности, какой-то надежды. А еще лучше уяснить для себя, что через минуту она уйдет и ничего не случится. Тебе не должно быть ни тепло ни холодно от этого, нет, будет даже лучше в гордой тиши одиночества... Убедив себя в этом, я сел возле стола и закурил, решив молчать и наблюдать за ее поведением. Стало как-то легко, забавно, безразлично.

Она сдалась первой и спросила меня:

— Ты действительно фольклор собираешь или так... отдохнуть приехал?

Я не стал отвечать сразу, медленно затянулся и выдохнул вместе с дымом:

— Да, надо по учебе.

— Ясно. Только у кого собирать — у Федьки, что ли? — улыбнулась она. — Бабушка вряд ли что помнит, память уже не та.

Я почувствовал опасность разоблачения и сменил тему.

— Это неважно. Мне и так хорошо. Тихо тут. Может, выпьешь чаю? — осторожно спросил я.

— Давай.

Когда я возился с кипятком, подкладывал сучья в дымившую печь, то вдруг четко осознал, что скоро она уедет, а следом за ней, возможно, уедет Фёдор к жене и сыну, а там, не дай бог, помрет старушка, и я останусь совсем один в этом чужом для меня месте. Думать об этом было и



больно, и сладко. В этих мыслях было что-то тревожное, страшное, но вместе с тем тяга к свободе, к преступному выходу из омута повседневности, к первобытной встрече со своим «я» искушала до нервного сердцебиения. Именно теперь хотелось ухватиться за человека, за его голос, случайные взгляды, в которых жила тайна неведомых мне мыслей.

— Уговариваю бабушку уехать, — сказала Катя. — В городе мама, врачи... Только она ни в какую. Говорит, что здесь хочет умереть, «побожески»...

— Тебе здесь страшно? — зачем-то спросил я.

— Почему ты думаешь, что страшно?

— Не знаю. Просто спросил...

Я разлил чай по граненым стаканам, через потемневшие стекла которых можно было увидеть действительность как она есть.

— Может, ты кого-нибудь убил? — спросила она вдруг без улыбки.

— Может, и убил, — спокойно ответил я.

— Нет, серьезно. Я где-то в кино видела, как один человек зарезал свою жену и сбежал в глухую деревню.

— Ты любишь кино?

— Так, иногда смотрю от скуки, — ответила она, пригубив горячий чай.

— А я не люблю, когда играют. Знаешь, эти фальшивые улыбки, поцелуечики, монологи...

Катя снисходительно улыбнулась на мою реплику и возразила:

— Но ведь у человека должны быть какие-то интересы, хобби...

— Я люблю изучать людей.

Она внимательно на меня посмотрела:

— Любопытно. Значит... ты можешь составить психологический портрет человека... меня, например?

Тут я впервые услышал ее смех — тихий, шелестящий, как ночная трава.

— Легко. Я думаю, у тебя нелады с парнем и ты пришла просто поговорить с малознакомым человеком.

— Я бы могла и с подругой поговорить, — продолжила Катя опасную игру в слова.

— Значит, все серьезней, если ты пришла к мужчине, а не к подруге. Может, он тебе изменил...

На минуту стало слышно, как в подполе скребут мыши.

— Дурак, — сказала она спокойно, но жестко; улыбка пропала. — Особо-то не обольщайся, ты мне не нравишься. Бабушка сказала продукты принести — я и принесла.

Она не делала никаких движений, чтобы уйти, а я был спокоен и доволен дерзким разговором с малознакомой девушкой, которая непонятно почему сидит со мной рядом, пьет чай и не уходит.

— Да, он мне изменил. Дай сигарету.





Я протянул ей пачку и смотрел, как она сердится, неловко закуривает, роняя спички и смешно щуря глаза.

«Теперь она расскажет мне свою историю», — подумал я, поражаясь своему буддистскому спокойствию.

— Не подумай, что я пришла в жилетку плакаться. Считай это случайным разговором на полустанке. Знаешь, как это бывает... Встречаются два незнакомых человека, рассказывают друг другу всякую мерзость, а потом расходятся навсегда...

Я молчал как стена, делая вид, что мне все равно. В печи нервно потрескивали дрова, в комнате, освещенной керосиновой лампой, было дымно и душно.

— Если б я знала, что он такой... Я понимаю, что глупости говорю... Хотя я не глупая.

— Ты можешь ничего не говорить.

— Вот скажи, чего еще мужику надо, если его любят по-настоящему? — выпалила Катя.

— Не знаю. Я девушкам никогда не нравился, — забросил я новый крючок.

Катя окинула меня изучающим взглядом:

— Это потому что ты странный...

— Чем же я странный? — усмехнулся я.

— Не знаю... Сидишь, чай пьешь, не пристаешь.

— А если попробую?

— Что попробуешь?

— Ну... приставать. Здесь ведь на целые километры — никого. Федя не услышит.

— Попробуй, — спокойно сказала Катя, пододвинув к себе столовый нож, вымазанный в масле.

Я нервно засмеялся и прикурил свежую сигарету.

— Так что там с твоим парнем?

— Ничего, забудь, — бросила она, встала и ушла в другую комнату.

Я слышал, как она берет книги, листает страницы. Потом спросила:

— Посоветуй что-нибудь почитать, филолог.

— Не могу... — не сразу ответил я. — Не могу брать на себя такую ответственность. Представь, если бы ты спросила меня, каким оружием лучше застрелиться.

— Не вижу ничего общего, — сказала она из спальни.

— Напрасно...

— Знаешь, — снова заговорила она, расхаживая по комнате и скрипя половицами, — если бы я и хотела ему отомстить... ну, ты меня понимаешь... то точно не с тобой.

Я внимательно слушал и улыбался, почесывая бороду.

— Ты считаешь себя каким-то особенным, думаешь, ты не такой, как все. Уехал в эту гребаную деревню, ешь, пьешь, хоронишь старух. Не удивлюсь, если ты пишешь какой-нибудь длинный роман о том, как

все плохо и безнадежно в этом мире. Ты слабый... и не хочешь себе в этом признаться. Сильный человек борется с обстоятельствами, а не бежит от них. Сильный человек зарабатывает деньги, воспитывает детей, ходит по бабам... Ты уехал, потому что боишься... Да, я угадала! Именно боишься. А строишь из себя какого-то сраного героя!

Она вернулась в комнату и села на диван, закинув ногу на ногу.

— Тебе даже сказать мне нечего, потому что я бью точно в цель, — добавила она.

— Слушай, это не мне, тебе романы надо писать, — посмеивался я. — Какой слог!

— Тебе девушки не говорили, что ты скучный человек, тряпка?

— А если я и сам так считаю?

— Дебил...

Она выпустила в меня все пули, и я видел, как по комнате струился легкий дымок остывающего револьвера. Я подошел к окошку и, глядя в деревянную хмарь, театрально произнес:

— «Скучно, господа...» — сказал бы чеховский герой, глядя в окно.

— Сигареты еще остались? — буркнула Катя.

— Последняя...

Катя легла на диван, укрывшись курткой, и отвернулась к стене. Я слушал глухие рыдания и машинально подносил к губам граненый стакан, в котором чая уже не было.

— Послушай, Кать... если хочешь, то давай... Правда, я не уверен, что получится.

— Давать тебе жена будет! Понял?! Философ! — истерично закричала она, вскочила с дивана и, захватив вещи, выбежала из дома.

— Значит, так надо, — произнес я вслух, и звук голоса как-то глупо повис в прокуренном воздухе.

Я наблюдал в окно, как она возится с проволокой у калитки, как на ходу застегивает куртку и поправляет сбившийся платок, как удаляется по рыхлой снежной тропе, оставляя за спиной черную звенящую тишину.

## 8.

Катя уехала в город и забрала с собой бабушку. Первое время я даже скучал, правда, не по ней, а по доброй старушке, к которой привязался, и с неприятным чувством представлял ее пустую остывающую избу. Фёдор стал бывать реже. Когда заходил, то обычно садился на диван и распутывал длинную змеевидную леску. Иногда казалось, что он специально ее запутывает и, распутывая, внутренне с чем-то борется и раздумывает, хлопая голубыми глазами. Словно, распутав леску, он сделает что-то важное в своей жизни, словно сам узел находился не снаружи, а внутри него самого. Мне стало жаль Фёдора, и я незаметно сунул ему в карман последние деньги.



Пару раз мы с Фёдором ходили на прорубь. Он сосредоточенно склонялся над лункой и озарялся неведомой мне страстью. Когда я наблюдал за ним, он выглядел пещерным человеком — огромным, цельным, бессловесным. Впрочем, рыбалкой я занимался недолго. Однажды, в очередной свой приезд, Степан грубо отчитал меня за безделье и глупую философию, предложив, раз уж я решил тут остаться, помочь ему с продажей продуктов в местном райцентре, чтобы я смог заработать себе на хлеб. Схема вырисовывалась простая: каждые выходные я продаю творог, мед, сало на рынке, а часть денег с продажи беру себе, тем и живу. Он обещал после работы высаживать меня на трассе, рядом с деревней, так как делать ему в этой дыре больше нечего. В город ехать не хотелось, а попробовать что-то новое в своей жизни — почему бы и нет...

## 9.

Проснулся я рано, в пятом часу утра. С омерзением коснулся пятками ледяных половиц, почесал покрывшееся прыпырышками тело и стал собираться. Степан опаздывал. Закуривая, я думал о том, что так и не научился, находясь в деревне, не отзываться на приобретенный инстинкт времени. Мое естество живо откликалось на слово «опоздать» — куда-то, насовсем, или «остаться» — где-то, ни с чем, одному. И когда я по привычке напевал: «И времени больше не будет», разгуливая по комнате, то лишь жалко улыбался, понимая, что время живет во мне самом.

Я посмотрел в окно. Деревня стояла передо мной безмолвным ответом. Она отвечала на все вопросы, открывала все тайны на дремучем, косном, черноземном языке. Ответ был прост и безутешен: жить.

\* \* \*

Над степью висело бесцветное холодное небо. Ветер вьюжил и сметал с дороги снежную крупу на обочины. Я изредка открывал глаза, видя желтые фары редких встречных машин. Степан хмурился, облокотившись на перемотанный изолентой руль, и слушал шансон.

Вскоре за холмом показались крыши районного центра. Над селением ватными комьями клубился печной дым. Мы подъехали к рынку, находившемуся у главной и единственной площади, над которой возвышался похожий на снеговика памятник Ленину. Село еще дремало, но рынок проснулся: щелкал замками, шурился пакетами, лениво переругивался и дымил дешевыми сигаретами.

Степан показал место за железным прилавком и провел инструктаж.

— Во-первых, — наставительно начал он, — отсюда никуда не отлучаться. Захочешь по нужде — скажешь Любке, что конфетами торгует, чтоб посторожила. Во-вторых, надо будет с людьми разговаривать, а не просто стоять. А то не купят ни хрена. Ну и в-третьих, будешь замерзать,

я тут тебе чекушку оставлю. Только смотри, чтоб никто не увидел, а то налетят стервятники: дай выпить, дай выпить... Хорошо меня понял?

— Ага, — послушно ответил я.

— Ты не агакай, ты запоминай. Если будут спрашивать, кто, мол, и откуда, скажешь — от Степана. А лучше помалкивай.

— Хорошо.

— Ну, давай, студент. Вечером заберу.

Я вытащил из большой сумки продукты и аккуратно разложил их на прилавке. Местные жители не спеша проходили мимо. Некоторые останавливались и, не глядя в глаза, спрашивали цену. Устав повторять «недорого», «разменяю», «не горчит», я стал просто наблюдать за людьми. Люди были разные: одетые в тряпье старухи, розовощекие бабенки с младенцами на руках, бледные с похмелья мужики. Но была в этих лицах какая-то общая черта — отсутствие радости в глазах от совершения ритуала покупки. Не так было в городе, где люди шли в гипермаркет как в театр, как на парад — в лучшей своей одежде, парами, с сияющими лицами. И, покупая что-то новое, люди и сами обновлялись, становясь причастными к какому-то большому и могучему братству. Похоже, здешних жителей магия потребления обошла стороной: покупая вещь, человек словно бы возвращал себе что-то давно ему принадлежащее, без чуда, без новизны.

— Слышь, красавчик, — игриво обратилась соседка по прилавку, — ты еще долго греть ее будешь?

— Что? — не расслышал я.

— Я ж видела, тебе Степан четок дал.

— А, это...

— Это, это! — грубо засмеялась Любка. — Не дай замерзнуть человеку, будь другом.

Я достал гревшийся в рюкзаке четок и протянул Любке.

— Ты чего, ептить? — усмехнулась неопределенного возраста женщина. — Ты за кого меня принимаешь! Сначала сам накати. Погоди, я тебе конфетку дам на закусь.

Я выпил из горлышка едкой теплоты и закусил памятной еще с детства «Ласточкой». Любка тоже выпила и осипшим от водки голосом спросила, кивая на мой прилавок:

— Че, не берут?

— Так, мало...

— А ты забей, тогда и брать начнут. Пробовала — помогает.

— Да мне и так все равно, — искренне ответил я.

Потом Любка от нечего делать стала рассказывать, что живет одна с маленьким сыном, что муж ее «был да сплыл», уехал куда-то на Север за счастьем. Что подруга заняла в прошлом месяце пятихатку и не отдает, что поскорей бы уже наступила весна и растаял постылый снег. Что не хватает денег на компьютер для сына, поэтому она стоит здесь как чучело, украдкой ест конфеты, толстеет и ждет вечера, чтобы «свернуться», ку-



пить бутылку пива и уставшей, разбитой, одинокой пойти к бабке за сыном. Что если не пить на такой работе, то можно умереть раньше, чем от водки, и что она рассчитывает дотянуть до пятидесяти, чтобы дожидаться внуков. Что в юности у нее был нормальный парень, а не как эти все, что она любила его и они смотрели с крыши на звезды, а потом его забрали в армию и убили на войне...

Любка рассказывала свою историю на одной ноте, не останавливаясь, не смущаясь, с интонацией застарелого упрека. В том, что она была несчастна, виновато было все, что двигалось или лежало присыпанное снегом: собственно нетаявший снег, рваные деньги, сунутые покупателями, неверная подруга, серое, дымившее к вечеру гребаное село, где она когда-то родилась и, вероятно, умрет здесь же, под бабкиным ковром, а не на побережье Красного моря.

Когда мы свернулись, Любка предложила пойти к ней, чтобы выпить чаю и в тепле дожидаться Степана. Но я отказался, побоявшись чем-либо огорчить своего «начальника» в первый же день работы. Подъехав на ворчливом грузовике к назначенному месту, Степан с усмешкой принял от меня скудную прибыль и рассеянно, как сумасшедший осеннюю листву, сунул себе в карман.

## 10.

Наконец произошло то, чего я внутренне побаивался и чего ждал, чтобы совершить окончательный эксперимент над собой. Я остался один в деревне. Фёдор уехал в город мириться с женой и баловать по-детски говорливого сына, которого любил больше жизни. Сын, в отличие от родителей, был здоров. Он мог слышать многоголосую симфонию жизни, звучащую в его чутком сознании — майским дождем за окном, шелестом листьев, волшебными колокольчиками над кроватью, мог беззаботно картавить этой музыке в такт, разбрасывать вещи и не думать о необходимости порядка, слабо мерцавшего в строгом и недобром «нельзя».

Одному в избе было жутковато, подбиралась тоска, и я отправился в хижину Фёдора. Хотелось увидеть, почувствовать его жилище изнутри, догадаться по оставленным вещам, чем жил этот человек, о чем думал.

Дверь в избу Фёдора была не заперта, замка не было. Вместо него в замочные кольца была вставлена палка, выскользнувшая от первого же рывка. В жилище царила мерзость запустения. Комната напоминала берлогу. На окнах вызревал иней, на столе громоздились банки, бутылки, грязные тарелки с яичной скорлупой. Вверху из матицы торчали два зловещих крюка, на которые в старину вешали детские люльки и уставшие от жизни тела. Я прошелся по комнате и зачем-то заглянул в печь, обнаружив там вместе с золой и смердящими окурками горелые тетрадные листы.

— Вот так-так, — подумал я вслух, заметив характерные столбцы, — да это стихи!

Мне и в голову не могло прийти, что Федя — глухонемой алкоголик и, в сущности, большой ребенок — мог что-то писать, создавать из вещества жизни самое совершенное, на что способно человеческое слово, — поэзию. Я пошуршал останками и прочел первое, что можно было более-менее разобрать:

в беспамятстве кашу едят в дремучем селе,  
 компот, кутья, бидончик с известкой под стулом забыт,  
 гроб сыреет во тьме, не то что забит,  
 народ уж навеселе...

Читая, я вспомнил поминки, заботливую старушку, угрюмого Степана, жестоко обманутую Катю... Дальше было сложно что-либо прочесть из-за корявого почерка и прожженных мест, но уцелело окончание:

...я усну под столом, только в погреб пролезу едва ль,  
 там светлее и суше, чем здесь между шкафом и печью,  
 закипит самовар, чьи-то руки сорвут вуаль  
 и беззубый старик поперхнется своею речью

Я стоял как вкопанный и не верил своим глазам: неужели это и впрямь сочинил Фёдор? Но корявый почерк был его. Образ простака Фёдора и эти строки про вуаль, от которых веяло сумерками Серебряного века, загадочный беззубый старик, погреб, в который зачем-то нужно было лезть, — все это никак не укладывалось в моей голове. Язык нащупывал, вспоминая, определение (которым не так давно я щеголял в университете), чтобы выразить теперешнее состояние: ког... когни-тив-ный дис-со-нанс — тяжело всплывало где-то в потемках памяти. Я увидел на столе зеленую бутылку со знакомой жидкостью и машинально сунул ее в карман. Уходя, наткнулся подошвой на что-то мягкое и с изумлением обнаружил на полу змеевидную леску, запутанную безнадежно. Я поднял леску, повертел ее в руках, пытаюсь распутать хоть один узел, плюнул, бросил леску под стол и вышел на воздух.

Всю дорогу до избы и после, придя домой, до самой ночи я повторял изречение Сократа. Один раз по-русски: «Я знаю, что ничего не знаю». А другой — зачем-то по-латински: «Scio me nihil scire». И как гармонично ложились эти древние слова на деревенскую тишину! Я забеспокоился о своем душевном здоровье, потому что, кроме всего прочего, мне хотелось, подобно Диогену, с фонарем или в крайнем случае с зажигалкой отправиться по деревне на поиски Человека. Выпито и выкурено к этому времени было немало...

И действительно, пьяно размышляя я, лежа на кровати, что я знаю об этих людях? Я сужу о человеке близоруко и небрежно, полагаясь на первые впечатления... Я встречаю по одежке и провожаю по одежке, с той лишь разницей, что во втором случае я сам надеваю на человека то, что есть в моем скудном гардеробе для ближнего. И после этого я хочу, чтобы меня любили и понимали... Добрая баба Маша, скрытный романтик Сте-

пан, гордая Катя, одинокая и стареющая Любка... что значат эти слова применительно к сокровенным безднам их жизнью? Ничего, заключил я, туша очередной окуроч. Слова фальшивят, двоятся грязными созвучьями в моем сознании — и больше ничего.

Не глядя, я сунул руку под кровать, где хранились теперь мои книги, взял первую попавшуюся, открыл на случайной странице и прочел: «Люди, оказавшиеся выброшенными из мира гармонии, где уравновешены страсть и справедливость, все еще предпочитают одиночеству скорбное царство, где слова уже не имеют смысла, где господствует сила и инстинкты слепых тварей». Взглянул на обложку: Альбер Камю, «Бунтующий человек». Ага, стало быть, я выбрал одиночество, а не бунт. Не пошел резать правых и виноватых, переворачивать культурные слои и припаркованные машины, сдабривая все это зажигательной смесью... Но разве одиночество не есть бунт? Разве это одно лишь бессилье, на что презрительно намекает автор? Не подрагивает ли в ознобе сама земля, оттого что я лежу здесь совершенно один, никого не любя, ничего не желая, кроме того, чтобы в пачке оставалась хоть одна сигарета? Ибо, если пачка окажется пуста, бунтовать будет незачем, думать будет незачем... и жизнь потеряет свой смысл... «Нет, не подрагивает», — ответил я сам себе, забываясь во сне.

Когда я уснул, духи выползли из печи, из грязных щелей, из сырого погреба, из темных углов — и стали танцевать. Когда знаешь все или не знаешь ничего, остается одно — танцевать. Духи знали все. Духи вальсировали по избе, склонялись надо мной и шептали в самое ухо: ты приехал сюда жить, а не умирать, жить, а не умирать, жить...

## 11.

От ледяной воды ломило зубы, стучало в висках, но пил я жадно, большими глотками, орошая высохшее нутро. Ну что ж, утеревшись грязным рукавом кофты, рассуждал я, слепые видят, мертвые воскресают, а Федя пишет стихи. Что же в этом странного?

С похмелья изба казалась чужой. Печь со вчерашнего утра была не топлена и сиротливо молчала. Несмотря на головную боль и отвратительный вкус во рту, душевно было легче. Может, потому что в окна просачивался утренний свет, прогнавший ночных духов. Или потому что тело просило тепла и привычных действий, необходимых для растопки печи. Хочешь не хочешь, а нужно что-то делать, как-то заполнять время, выпавшее на твою долю до следующих выходных.

Растопив печь и пожевав хлеба с чаем, я от нечего делать стал бродить по дому. Вспоминались заученные прежде стихи, отрывки песен:

Через час уже просто земля,  
Через два на ней цветы и трава,  
Через три она снова жива...



О смысле произносимого вслух я не думал. Вспоминалось другое: ноябрь, ночной вокзал, слепивший прожекторами. Нас трое. Мы стоим на мосту, курим «Космос» (потому что, по преданию, его курил Цой), посмеиваемся, сбрасываем пепел на мазутную спину бесконечно длинного поезда. Мы провожаем друга. Провожаем далеко, дальше самой Москвы, хотя любой из нас не был и в столице края. И никто не понимал тогда, почему нужно разлучаться с другом, если он сам этого не хочет. Может, потому что его родители этого хотят (да, хотели)... или потому что его фамилия Шакинис? Глупо как-то — родители, фамилия... И каждый сознавал в тот момент, что дорожке настоящей дружбы ничего нет. И как бы трудно ни жилось тогда в стране, мы знали, что счастье не измеряется пространством или сытым желудком...

Только самых близких —  
 Друзей и кошек,  
 Собак и черных —  
 С белыми полосками.  
 Смеяться в поле,  
 Шататься на воле,  
 Играть в весну —  
 Дурачками подростками...

И где теперь мои друзья? Где их длинные волосы и ясные голоса, наивные стихи, которые мы читали друг другу на лестничной площадке? Печальнее всего то, что я знаю и где они, и почему они забыли свои стихи. Каждый из них по-своему упаковался, встроился в систему современной жизни: остриг волосы, нашел работу, родил ребенка, развелся с женой... Быть может, я просто завидую и боюсь жить так, как они. Не знаю...

\* \* \*

Я шел по деревне бесцельно, не выбирая пути. Было приятно слышать хруст своих шагов, не видеть ни чужих следов, ни прокатанной машинами колеи. Привычно тускло светило солнце, и меня радовало, что я разучился членить сутки на промежутки времени. Мог встать еще до рассвета, а мог проваляться до самого вечера, некуда было спешить.

В деревне так просто кричать в пустоту, не оглядываясь, не боясь, что чьи-то праздные уши сочтут тебя сумасшедшим.

— А-а-а! — срывалось воронье с веток.

— А-а-а! — вторила эхом степь.

## 12.

Неделя промелькнула как смутный сон. Продуктов, купленных Степаном, хватало ровно до субботы. Вместо сигарет уже пару дней я курил цейлонский чай, завернутый в страницы «Бунтующего человека».



Подружился с мышью. Заприметив ее под столом, стал подкармливать. Мышь осмелела и несколько раз выбегала на середину кухни с вопрошающим видом. Потом она мне надоела, и я выбросил ее в сугроб. Начал писать воспоминания. Исписал толстый блокнот, а потом сжег в печке: не понравилось. Я подумал, что не прочь бы теперь встретиться с Любкой и послушать ее путаную речь.

Запихав нужные вещи в рюкзак, я побрел к трассе. Валенки вязли в снегу, во рту было как в заварнике, который забыли очистить и вымыть. Простояв два часа на трассе, я пришел к выводу, что Степан не придет. Было все равно, но в деревню возвращаться не хотелось. Я стал ловить встречные машины. Сквозь мой внешний деревенский облик, видимо, просвечивал чужак, поэтому местные не останавливались. Я стал здорово замерзать и делать странные телодвижения, похожие на танец. Вскоре, проехав сначала далеко вперед и остановившись, на задней скорости подползла вишневая «нива».

— До Горюнова подбросите? — осипшим голосом спросил я.

— Подброшу, садись.

Водителем оказался молодой батюшка с модной рыжей бородкой и в рясе. В салоне было тепло. Я мгновенно разомлел и зажмурился от удовольствия.

— Здесь в такую пору и замерзнуть можно, — сказал батюшка. — Когда метель, машин почти не бывает. Да и местные редко чужих берут, боятся.

— Это я понял, — грустно улыбнулся я на слово «чужих».

Пока мы ехали, я разглядывал маленький «иконостас» на панели, который вместе с подушкой безопасности на иных машинах, вероятно, должен был оберегать людей от смертельных аварий. Было забавно думать, что когда-то икона с трепетом наносилась на стены катакомб, затем перекочевала в великолепие византийских храмов, а теперь вот приклеивается на автомобильные панели.

— От благочинного еду, — говорил улыбчивый батюшка, видимо не прочь побеседовать за рулем. — Говорит, денег мало привожу. А у меня приход — полторы старушки, какие там деньги. Сам-то концы с концами свожу... да и матушка на сносях. Вот-вот пятого родит.

Батюшка рассказывал с таким веселым видом, будто ему благочинный вручил митру, а не отчитывал за небрежное ведение приходского хозяйства.

— Перестали люди в храм ходить, — сожалел священник. — На праздники только, да и то — пьянь одна. Вот протестанты — те молодцы. К ним и молодежь тянется. В клубе соберутся — гитары, танцы, веселье. Есть на что посмотреть. А в храме — какое веселье?

— Так они ж еретики, — решил я поддеть батюшку.

— Да хоть бы и еретики, зато не пьют и работают. Я втайне от благочинного молодежное собрание устроил. Ребят из школы привел. О нравственности говорили, пели. В общем, с пользой провели время.



Батюшка рассуждал современно и здраво, деловито вел автомобиль. А за окном в снежной степи мне чудилось бряцанье кадил, мерещились луковки церквей, погосты, странники в лаптях... И то, как странники заунывно тянули духовный стих, как сыпали в мои ладони спелую землянику, кланялись в пояс, видел я уже во сне...

— Ну все, приехали, — нарочито громко пробасил священник. И я очнулся.

Мы стояли на той самой площади с памятником Ленину, в центре села. Священник, несколько раздумывая, благословлять ли меня по чину, нерешительно протянул руку. Я поблагодарил его, нацепил рюкзак и отправился на рынок.

Чем-то встревоженная Любка встретила меня словами:

— Степан звонил. Сказал, что перезвонит.

— И все?

— Все. Сказал, что перезвонит.

Я не сразу догадался, откуда ему знать, что я вообще сюда приеду. А потом сообразил: ну да, куда же я денусь без продуктов, приеду как миленький.

Любка заметно прихорошилась. Вместо платка на ней была меховая шапка, открывавшая золотые серьги на бледных ушах. Глаза были тщательно подведены, губы накрашены. Говорила она не так бойко, как прежде, а словно бы нехотя и часто отводила глаза.

— Выпить хочешь? — застенчиво сказала она.

— Хочу.

Я не спеша отпивал из горлышка, закусывая горячим пирожком, и с легким сердцем посматривал на голый прилавок. Было приятно ничего не делать, ни за что не отвечать, никому не быть должным. Беспokoило только отсутствие Степана и его обещанный звонок.

— Ну что, согрелся? — улыбнулась Любка, и тут же у нее запищал мобильник. — Да. Приехал. Здесь он. Даю.

Она протянула телефон. Звонил Степан, но говорил словно бы кто-то другой, сдавленным голосом:

— Значит, так, студент... эта... В общем, Федька повесился. В туалете его нашли, значит... на батарее он... Поэтому я не смог. Ты там... эта... У Любки, что ли, денег займи. Мне пока некогда... Давай.

### 13.

В зале у Любки без звука мерцал старенький телевизор. Она включала его машинально, когда приходила домой. Узнав, что произошло, поохав и повздыхав немного, Любка, как умная баба, ни о чем меня больше не спрашивала. Пока я тупо смотрел в экран, она возилась на кухне: хлопала дверцей холодильника, собирала на стол. Сына в этот вечер она оставила у бабки. Я слышал, как в ванной зажурчала вода, потом раздался ее голос:



— Пойди поешь, готово уже.

Я не отозвался.

По телику показывали голливудский фильм. В детстве, когда у телевизора пропадал звук, я сам придумывал диалоги героям. Теперь мне захотелось поиграть в ту же игру. На выстриженном газоне в обнимку сидела молодая парочка.

— Ты меня любишь, Стив?

— Конечно, дорогая.

— А ты чистил зубы «Кометом» сегодня утром?

— Но, милая, «Комет» — средство для раковин. Я чищу зубы «Колгейтом».

— Ну да, как я глупа. А еще читаю Бердяева перед сном...

Занятие быстро наскучило. Я поднялся с дивана и стал осматривать комнату. На стенах висели ковры. Чуть ли не полкомнаты занимал старинный пыльный сервант, за стеклянными створками которого виднелись тарелки, рюмки и нелепо поставленные на них фотографии родни. «Неужели это тот самый муж, уехавший за счастьем?» — рассматривал я угрюмое низколобое лицо с хитрыми щелками вместо глаз. А это, наверное, ее сын. На меня смотрел белобрысый мальчуган в смешном новогоднем колпаке. Вот вырастет в этом селе, тоже станет угрюмым и вместо глаз появятся щелки...

Любка вошла тихо, незаметно. На ней был розовый китайский халат, выделявший соблазнительно тяжелые бедра. Она делала вид, что смахивает с волос остатки влаги. Она хотела нравиться.

— Я уж думала, ты поел, — лукавила Любка, вороша голову полотенцем.

— Что-то не хочется, — ответил я вяло.

— Ну пойдем хоть чаю тогда выпьем.

Закурив на кухне, я заметил, как аккуратно, по-женски был сервирован стол. Появились чашечки, блюда, салфетки, мельхиоровые ложечки. Все это она приготовила для меня. Ей, как когда-то в юности, хотелось понравиться, угодить мужчине, чтобы на нее смотрели как на женщину, а не как на Любку-торговку. Я не фальшивил, когда мельком взглядывал на ее оголившееся колено или приоткрывшуюся полную грудь, которую она тут же закрывала. И, как всякая одинокая баба, она ловила, угадывала мои взгляды, даже если стояла ко мне спиной, и бережно клала в заветную женскую шкатулку.

— Ты, чем курить, варенье лучше попробуй. Сама варила.

И я пробовал варенье, закусывая пирогом и запивая чаем. А Любка, глядя на меня, сияла.

— Федя-то этот другом тебе, что ли, приходился? — осторожно спросила хозяйка, сделав грустное лицо.

— Ага, другом, — нехотя ответил я, отхлебывая из кружки.

— Беда-то какая...

А я отчетливо сознавал, что ничего не чувствую, никакой беды. Что если я и задумывался, почему это могло произойти, то на ум лезло лишь «наверное, так надо» — мантра, рожденная в деревенском подполье; что меня теперь больше волнует волшебный мир, кроющийся за дешевым халатом, нежели диалектика Федькиной жизни. Беззубый старик, вуаль, прорубь, детское улыбающееся лицо — вот и все воспоминания...

— Ты допивай. Я тебе на полу постелю, — почти шепотом сказала Любка и ушла в зал.

Мне не пришлось спать на полу. Не помню, как случилось, но я увидел «волшебный мир» во всей его трепетной наготе: как скользнул розовый халатик на шершавый пол, как я почувствовал губами тепло ее живота и мелкую дрожь голодного женского тела...

После она гладила меня по голове, лежавшей на ее теплой груди, утирала мне слезы и по-матерински шептала: «Ну чего ты... Ведь так было хорошо. Друг твой теперь на небесах, с ангелами. А тебе жить надо, жить...»

## 14.

Нет ничего тоскливее бледного холодного утра в чужой квартире.

Я неслышно выполз из-под одеяла, подобрал с пола вещи, оделся, не умываясь, с оглядкой на смятый бугорок. Лицо женщины было расслабленным, некрасивым. Рот был чуть приоткрыт, и в несвежем углублении виднелась, поблескивая, дешевая металлическая коронка.

«Люба, Люба...» — шевелились искусанные ею губы.

\* \* \*

Скорым шагом я направился в сторону трассы. Меня слегка подергивало и пошатывало. Не было желания думать о том, что это, температура или больные нервы. Возможно, то и другое. Ленин указывал в правильном направлении — в сторону обетованной трассы, от которой я чего-то ждал, за которую цеплялся, как за последнюю возможность выбраться из подполья.

Машин не было. Дорога была пуста и уходила широким заснеженным ковром в город моего детства. Теперь я сознательно хотел ударить от всей этой тишины — припасть к телевизору и бессмысленно тыкать кнопки до изнеможения. Или уткнуться в дешевую книжку с желтой обложкой и зачитать до дыр (и перечитать). А потом сесть переписываться со всеми, знакомцами и незнакомцами. И больше-больше этих идиотских смайликов, прикрывающих слабоумные фразы, больше позитива и громкой музыки... Отрекаюсь! Отрекаюсь от тебя, тишина!

До въезда в город меня подбросил прибалтненый парень на «шестерке». Всю дорогу в салоне шумело радио. Водитель, надвинув кепку на

глаза, курил одну за другой и лишь в конце пути зачем-то спросил меня, не прячусь ли я от ментов.

С южной стороны город смотрел суровым урбанистическим пейзажем. Над одинаково серыми пятиэтажками и тополями возвышались некогда горячие и пульсирующие, а ныне пристыженно молчащие заводские трубы. Город держался заводами, гордился заводами — когда-то. Когда заводы были градообразующим очагом, системой, богом. Вместе с трубами остыли и людские надежды. За мной наблюдали хитрые глазки пацанов, кучкующихся у подъезда:

— Смари, Колян, нарик, что ли? Давай окучим...

В городе не было страшно. Даже местные гопники, которые в прошлом оттаскали меня за волосы и отбили бока так, что я заплывал тротуар кровью, казались хорошими, но несчастными людьми. В этих ребятах, по колено стоящих в семечной шелухе, нервно трепещет сердце и жаждет осуществления немедленной правды: «Правда в том, братишка, что ты не прав, а таких не должно быть в нашем районе. Получай...»

Словно подросток, я задыхался влюбленностью в свой город. Хотел обняться и поговорить с каждым встречным, спросить — как дела, что нового... На меня смотрели как на помешанного. Девушки морщились, старики брюзжали, пацаны напрягали шейные жилы. Я остановился у теплотрассы, где блестела небольшая лужица и сидели нахохлившиеся голуби. Склонившись над водой, я болезненно всматривался в мутное отражение, где не то улыбался, не то собирался заплакать маленький мальчик, чем-то похожий на меня. Когда рябь прошла, я отчетливо увидел шапку-ушанку со звездочкой, детское пальтишко, большие удивленные глаза... А потом пришла темнота.

\* \* \*

Стоит ли рассказывать, как я отлеживался в родительском доме, как мама таскала меня к психологу и я, чувствуя вину перед ней, обещал ходить на каждый сеанс. Как взял академический отпуск и удалился из социальных сетей, чтобы никто не приставал с вопросами. Как устроился консультантом в магазин бытовой техники, но вскоре уволился, не поладив с начальником. Как работал дворником и сметал осеннюю листву на обочины, любуясь на то, как раннее солнце освещает пустоту еще не проснувшегося города... Ну вот, сам того не желая, рассказал все. Что еще добавить... Не так давно я стал снова думать о деревне. Но — не как раньше. Теперь я общаюсь с ней на расстоянии.

Деревня есть тайное прибежище моих мыслей, сумрачное и дикое, куда я часто сбегую, закрыв глаза, и тогда в заснеженных окнах моей избы загорается свет.

Владимир КОСОГОВ

## ЧЕЛОВЕК НАСУЩНЫЙ

\* \* \*

Секунды хватит вспомнить о душе,  
О том, что мой отец уже на пенсии.  
Построил дом с заначкой в гараже  
И думает, что я на зимней сессии.

Январь на два щелчка закроет дверь.  
Отец проснется, чтоб спросить у Бога:  
«В такую непролазную метель  
Ждать некого?» Лишь белая дорога,  
Где призрак мой скитается теперь,  
Стучится в окна, плачет у порога.

\* \* \*

Облака упали.  
Выбились из сил.  
Каменными стали,  
Солнце заградив.  
Знак дурной? Не верю.  
Кто заштриховал  
Черной акварелью  
Золотой овал?

Но под этой тучей  
Кажется живым  
Человек насущный,  
Муж дурной, но сын  
Божий, завязавший,  
Загнанный судьбой.  
Не поймешь, кто старше  
Между ним и тьмой...





\* \* \*

В окно заляпанное, грязное  
Смотри, как первобытный сыч.  
И только темень непролазная,  
В заборе треснувший кирпич —  
Вся жизнь твоя. Смотри внимательней,  
Сощури глаза, наморщи лоб  
И черных пригласи копателей,  
До истины добраться чтоб.

Пускай пищат металлодетекторы,  
Зеленым лампочки горят,  
У супермаркета прожекторы  
За херувимами следят.  
Копатели крадутся шайкою  
По непроглядной темноте  
В «газели» с красною мигалкою  
На безымянной высоте.

\* \* \*

В дверь ломились, в окно стучали,  
Предлагали прочесть журнал,  
Словно мученики печали,  
Выходили в «святой» астрал.

Мне не нравятся их проекты:  
Веры мало там и огня.  
Я приверженец старой секты —  
Акмеисты седьмого дня.

\* \* \*

*Крестному сыну Мише, на вырост*

Станешь старше — тогда и поймешь,  
За какие держаться каноны.  
«На неделю просрочен платеж», —  
Информируют автодозвоны.  
Что ответить? Да в рифму еще б!  
От Стрелецких — направо — трущоб  
Тещин дом окружают хоромы.



Вавилон для нездешних особ  
Охраняют жуки-костоломы.  
Зарифмуем долги, дорогой:  
Цифра пять — постучались ногой,  
Цифра десять — из дома сбегаем.  
Слава богу, есть путь обходной:  
Тридцать лет его рыл за сараем.  
С фонарем опускаешься в лаз  
И ползешь до озноба и транса.  
Хорошо, что я спички припас,  
Как-нибудь отсижусь до аванса...

\* \* \*

Из дома выйдешь, не погасишь свет,  
Дверь не запрешь, забудешь сигареты,  
С утра бубнишь, рифмуешь на обед:  
«Привет, мое безумие. Привет,  
Мои, как сейф, заветные секреты!»

Смотри на свет, как призрачны лучи,  
Звезда трепещет, как в руках осетр.  
На кухне в шесть утра похлопчи:  
Два бутерброда сделай, сдай ключи  
Вахтеру, бородатому, как Пётр.

Хоть век страдай — останешься один.  
Домой вернешься — двери нараспашку.  
Воняет керосин? Валокордин,  
Разлитый на помятую рубашку.

И ночь темна, и нет твоей руки  
В руке моей, и все непоправимо.  
И память заплетает узелки,  
Мы друг от друга слишком далеки,  
И ты другим до судорог любима.

Да будет так: и властью, данной мне  
Стаканом, проспиртованным, как скальпель,  
Тебя найду, как отблеск на стене,  
Когда луна холодный точит кафель.



## Гадание

Дни не то чтоб сочтены —  
Припекло чуток  
Сердце с левой стороны  
Справа, где восток.

Фото выбрось, паче тем  
Снимка вовсе нет.  
Вспоминать тебе зачем  
Этот блеклый свет?

Лучше в зеркальце смотри  
Жизни на краю  
И улыбочку сотри,  
Стерла как мою.

Погадай на лепестках:  
Любит или нет.  
От дивана в двух шагах  
Подпалив рассвет.

Если сбудется, тогда  
Нечего терять.  
Лепесток упал, звезда  
Падает опять.

Больше слов не набралось,  
Слов не набралось,  
Погадай и на пол брось,  
Погадай и брось.

\* \* \*

То ли Бах, то ли Бог из колонок по клавишам бьет?  
Мне не нравится звук: будто вспарывают живот.  
Зашивают, и вот — переводят в другую палату,  
Предлагают найти телевизор за скромную плату.

И опять эта музыка — скальпель безжалостных нот.  
Умоляю вас: тише. Выходит — наоборот.  
На соседней кровати рычит, как дурной тромбон,  
Молодой человек, зачарованный вечным сном.

Так с тринадцати лет окружают меня мертвецы.  
Мне нацелены в шею гнилые, как смерть, резцы.  
Каждый раз, если музыку слышу, глаза закрыв,  
Представляю такой мотив.

### 8 марта

Торгуют цветами у ЗАГСа.  
И я, как последний дурак,  
Жене, получившей полцарства,  
Тюльпанов купил отходняк.

...Пускай она свяжет веночек,  
Чтоб скоро родился сыночек,  
Крестился, окончил филфак  
И начал строчить, как доносчик,  
Стихи про вселенский бардак...



Анатолий БИМАЕВ

## УБИЙЦЫ

Р а с с к а з

Это был обычный день в жизни Сергея, каких случилось много в прошлом и коих еще много ожидало в его будущем. Словом, тот самый день, из которых и слагается бесхитростно путь человека. Разве лишь утро этого обыкновенного дня выдалось на удивление прохладным и солнечным, отчего на душе становилось светлее и чище, спасая день от невзрачной обыденности, делая его исключительным.

Сергей считал каждый рассвет удивительным чудом, наблюдая за ним с неиссякаемым чувством восторга, сродным восторгу ребенка, хотя за спиной у него было почти сорок лет жизни, наполненных, как и у всех, непрестанной борьбой и бедами, о которых теперь способны были поведать его голубые глаза, ставшие с возрастом будто пронзительней и спокойней, да приобретенная твердость голоса, пришедшего в полное соответствие с непреклонностью мужской воли, закаленной в горнилах пережитого времени. И созерцание этого ежедневного чуда вдохновляло его на весь день, заряжая энергией, желанием жить и честно работать, чтобы потом, довольным еще одним прожитым днем и пусть небольшим, но зато на совесть выполненным шоферским делом, возвратиться домой, к супруге и дочери.

Словно благоволя желанию Сергея, удача была на его стороне. Он брал заявки одну за другой, спеша развезти людей по сотне разных мест, куда их влекла жизненная необходимость, жажда любви и общения или же самая обыкновенная человеческая любознательность, такая же ненасытная, как и у средневековых первопроходцев, открывавших девственный, еще никем не изведанный мир.

Это были разные люди разных профессий и социальных кругов, начиная с воров и проституток и кончая юристами. И, как правило, среди них было много хороших, настоящих людей, заставлявших поверить в человечество в целом с его неизбывным первородным грехом; поверить, что непременно однажды прервется дурная преемственность всех поколе-



ний и порок измельчает и обессилит. Особенно памятливы были встречи с людьми в своем роде блаженными, каких и в наше время еще немало есть на земле, неисправимыми чудаками и жизнелюбцами, странствующими идеалистами и неудачниками, которые, верно, проживи хоть тысячу лет, будут все так же удивлять своим оптимизмом и сумасбродством, ничем не оправданной беззаботностью вечно юной души.

Как правило, каждый из них за краткое время знакомства успевал рассказать обо всей своей жизни, раскрывая подробно самые важные вехи биографии, посвящая во все перипетии судьбы, такой же туманной и изворотливой, как и само повествование. Чего только стоила повесть о затяжной череде невезений, что услышал Сергей этим днем во время поездки с одним таким сумасбродом — беззаботным мужчиной лет сорока необыкновенно высокого роста и с нескладной фигурой, будто передававшей своей нелепостью и комизмом всю несуразность пути человека.

Он трижды был разведен, поменял десяток профессий, едва не был убит во время вахты на Севере, связавшись с компанией ээков, пытался даже открыть продуктовую лавку вместе с приятелем, который, однако, вскоре подло предал, присвоив общие деньги. В завершение всех бед ему просто фантастически не везло на дороге: он несколько раз врезался в бетонные стены и опоры электроконструкций, у него загорался мотор, взрывалась на трассе покрывка и однажды, когда он стоял на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, на него прямо с неба рухнула чья-то «тойота», которую протаранил промчавшийся мимо «скайлайн». И хотя после этого случая он твердо решил стать пешеходом, отказавшись даже от мысли когда-нибудь сесть вновь за руль, уже через месяц опять побывал в дорожной аварии, на этот раз пассажиром.

А еще сегодня Сергей возил изрядно подвыпившего шофера главного врача районной больницы, искавшего по всему городу унитаза, за полчаса их пути самым основательным образом посвятившего таксиста во все обстоятельства поломки сантехники и случившейся в связи с этим ссоры с женой. И, конечно же, в этот день к Сергею в машину садилось множество пьяных разношерстных компаний, оравших во все горло веселые песни и заводивших с ним жаркие споры, причем непременно на темы самого высшего плана, неизменно прощавшихся с таксистом, будучи чуть ли не закадычными друзьями-товарищами, обнимаясь с ним и душевно протягивая ему руки для крепкого мужского пожатия.

Так незаметно шло время... Уже над городом тихо тлела заря. Пепелище большого пожара на западе, мгновение назад полыхавшего на горизонте, становилось холодным, теряя прежние алые краски и очертания, будто расплываясь по бирюзовой воде небосвода. Начинались долгие летние сумерки, и фонари вдоль широких проспектов и улиц зажигались один за другим искусственным светом, ополчаясь против враждебной им темноты, медленно нисходящей на землю.

Был поздний час, но Сергей не спешил возвращаться домой. Ему хотелось успеть заработать сегодня как можно больше, чтобы порадовать

близких каким-нибудь приятным сюрпризом, как он давно уже мечтал, но все никак не мог этого сделать: лишние деньги, которые время от времени у него заводились, тратились то на починку машины, то на мелкий домашний ремонт, то еще на что-либо. Любая проблема и неприятность требовала непредвиденных трат, отнимавших частичку счастья у близких Сергея, которую он мог бы купить им за эти деньги.

«Если задержусь еще ненадолго, — думал Сергей, спеша по новому адресу, на котором его дожидались клиенты, — смогу подарить дочке то синее, с пышным подолом и кружевным поясом платье, которое обещал к началу учебного года. А если и завтрашний день будет столь же удачен, куплю жене золотые сережки с сапфиром на юбилей свадьбы».

— Здравствуй, папаша, — упав на переднее кресло, поздоровался совсем молодой еще парень, когда он приехал на нужное место.

— Здравствуй, коли не шутишь... — ответил Сергей, окинув его быстрым взглядом, отметив худобу до пояса голого тела, тонкую шею и по-птичьи острые плечи, переходившие в слабую грудь.

— А я шутить не привык, — сказал парень, закинув ногу на ногу, и сплюнул в открытую форточку. — Шутят лишь барышни и фраера, а я с тобой разговариваю. — И он разразился глухим, лающим смехом, перешедшим в такой же глухой, будто шедший не из груди, а из пустой металлической бочки, продолжительный кашель.

— Поехали, шеф, покатаемся, — отозвался второй пассажир за спиной Сергея.

В зеркале заднего вида таксист разглядел, что этот второй был гораздо крупнее и старше товарища. Его лицо хранило на себе отпечаток уродства, своим перекошенным видом напоминая физиономии монстров из старинных американских ужастиков, экранизаций первых романов Стивена Кинга.

— А поконкретней? — поинтересовался Сергей, включив зажигание. — Город большой, а кататься нынче недешево.

— Поехали, там покажу, — сказал второй.

— Мы покажем, — сказал первый парень и вновь рассмеялся с какой-то издевкой.

— Больно много болтаешь, Аркашка, — сказал третий клиент, устроившийся на заднем сиденье справа. На вид ему было лет тридцать, и небольшие очки в золотистой оправе вкупе с аккуратной стрижкой придавали мужчине, можно даже сказать, интеллигентную внешность, очарование которой блекло, стоило услышать его разговор, характерной блатной интонацией выдававший в нем зэка.

— Рули к южной дамбе, братишка, — сказал он Сергею. — Получишь от нас фиолетовый на мороженое для детишек.

— Нынче детишек мороженым не удивишь, — ответил Сергей, пытаясь выехать со двора сквозь тесные ряды припаркованных на ночь машин. — К дамбе — это понятно. А дальше куда? У вас там что, шабаш, что ли?



— А дальше на берег, братишка, на берег... У нас небольшой пикник намечается в честь освобождения: шашлыки, фартовые биксы... сам понимаешь. Все давно собрались, нас только ждут.

— Всё как в сопливом кино про любовь, — добавил Аркаша. — Так ведь, Харя? — спросил он приятеля сзади, того, что был с помятым лицом.

— Ага, как в мелодраме, — ответил приятель.

— Вот-вот, со всяким там морем, пляжем и загорелыми лимфами.

Его товарищи так и прыснули смехом. Харя даже затопал ногами по полу, словно в приступе нервной болезни, вызывающей непроизвольные судороги.

— Нет, ты когда-нибудь видел такого оленя? — спросил он Сергея.

— А что не так-то? — удивился Аркаша.

— Уж лучше замолкни!

— Я спрашиваю, что за ботва?

— Замолкни, тебе говорят! — повторил Харя. — Не то устроим кругосветку, тогда и узнаешь, что за ботва!

— Да мне-то зачем? Скажи ему, Адвокат! — И он оглянулся назад, с надеждой взглянув на приятеля в золотистых очках. Но тот лишь молчал, многозначительно улыбаясь. Эту улыбку было нельзя назвать голливудской только лишь потому, что в ней не хватало пары зубов справа и виднелся едва приметный шрам над верхней губой.

— Да ну вас! — произнес с обидой Аркаша и отвернулся к окну.

Сзади снова послышался громкий смех, как будто машину с разряженным аккумулятором пытаются завести зимой на морозе и она при этом заходится прерывистой очередью на одной ноте.

— Ну что, Аркашка, напустил в штаны какашку? — спросил Харя, хлопнув его по плечу. — Да успокойся уже ты. Случаются в жизни огорчения и пострашнее.

— Сам знаешь, один раз не считается! — подтвердил Адвокат.

Аркаша сидел, уставившись в окно. По его напряженной фигуре с нервно дрожащими плечами было сразу понятно, что он не в себе.

— Эх, Аркашка, тяжелый ты человек... — продолжал Харя. — К тебе с чистым сердцем, а ты...

— А ну-ка... замолкли! — вдруг взорвался Аркаша. — Я вам не какой-нибудь черт или баклан, чтобы терпеть этот базар!.. А ты чего сушишь зубы? — повернулся он резко к Сергею. — Думаешь, это смешно?

— Было бы не смешно, не смеялся бы, — ответил Сергей.

— Наш разговор не твоего ума дело. Ты что, решил мне дерзить?

— Просто я с детства такой, — ответил Сергей. — Не привык говорить «хочу срать», когда хочется писать.

— Посмотрим, кто из нас еще будет смеяться последним! — пригрозил зло Аркаша.

— Ну и понесло же тебя, фазан! Мы же только юлоним, — прервал его Харя и обратился к Сергею. — Не обращай на него внимания, шеф, он у нас немного помешанный.

— Сявка, — причмокнув, сказал Адвокат.

— Ясно, — ответил Сергей. — Хотя мне не платят за то, чтобы я слушал всяких мальчишек. Еще раз что-нибудь вякнет, я его выкину на дорогу. Пусть себе лает на придорожных шалав и дальнобойщиков.

— Осади, шеф, — сказал Харя. — Все будет в ажуре. Таких клиентов, как мы, у тебя еще в жизни никогда не было. Заплатим тебе косарь к косарю... и за беспокойство, и за обратный бензин.

— Все равно я его выкину. Пусть так и знает, — пообещал ему мрачно Сергей. — У меня здесь такси, а не какой-нибудь интернат для особо одаренных подростков.

— Говори-говори... — огрызнулся Аркаша, но добавить больше ничего не решился, хотя было видно, что ему еще есть что сказать.

Тем временем они выезжали из города. Свернув на магистраль, шедшую стороной от спальных районов, от их залитых ярко-желтым светом бетонных массивов, мерцавших сквозь ветви пролеска, росшего вдоль автотрассы, они быстро помчались вперед в темнеющую даль. С другой стороны от дороги была уже вечность природы с отлогими горами и облаками, серыми на фоне все еще тлевшего зарева. От самой машины к ним бежали сплошные поля с жарками и клевером, наполнявшие воздух ароматами нагретой солнцем за день земли.

В такие моменты, когда мир вокруг был прекрасен особенно, даруя человеку высшее откровение, Сергей отчетливо понимал, как беспредельно он любит жизнь. До такой степени, что временами его переполняло чувством неизъяснимого трепета, близкого к состраданию, и жалостью к каждому мигу существования, который уже никогда не повторится опять вместе с этим закатом и им самим, не способным ни на долю секунды удержать ускользающее мгновение.

Ему хотелось впитать этот мир всеми порами тела, объять одной своей мыслью, словно руками, сохранив в себе все впечатления жизни такими же яркими, как в самом начале, когда заключенная в них красота еще была живым родником. Но этого сделать было никак невозможно, и потому, созерцая природу в моменты своего наивысшего единения с жизнью, он всегда чувствовал легкую грусть, мысленно уже расставаясь с будто похищенной, тайно подсмотренной им красотой, которая непременно, будучи огороженной от внешнего мира тесными прутьями человеческой памяти, скоро погибнет в неволе.

И сейчас, разрезая вечерние сумерки фарами мчавшегося автомобиля, Сергей пытался вобрать в себя без остатка эти темные линии гор вдалеке, напоминавшие чем-то очертания прекрасного женского тела, бледное зарево и поля с мелькавшими в них небольшими озерами, но, как и прежде, не мог удержать в себе красоты, оттого любил жизнь лишь сильнее.

— Приличная у тебя лайба, братишка, — сказал ему Адвокат, закурив.

— Да, фартовая тачка, — согласился с ним Харя. — Наверное, хороший баблос поднимаешь?

— На жизнь хватает, — ответил Сергей. — Грех жаловаться.

— Жена, должно быть, в восторге? — продолжал Харя. — Так и сдувает пылинки целыми днями?

— А что тебе, брат? Завидно, что ли, как я посмотрю? Устроил тут настоящий допрос, как в кабинете у следователя.

— Нет, ошибаешься, шеф, — усмехнувшись, сказал ему Харя. — Как говорится, волка кормят ноги, потому каждая сучка, усевшаяся на загривок, для нас верная смерть.

— Выходит, у каждого своя правда, — ответил Сергей.

— И то верно, — согласился с ним Харя.

Он попросил Адвоката дать сигарету и, закурив, принял вальяжную позу абсолютно всем в этой жизни довольного человека, который в точности знает, что его счастье будет еще очень долгим и никуда от него не сбежит.

— Ну и как же? Ты ее любишь? — спросил он Сергея.

— Не любил бы, зачем же тогда в жены брал? Сам-то подумай!

— Понятно, — проговорил Харя с каким-то едким сарказмом. — А она тебя любит?

— Что ж ты заладил свое: любит, не любит!.. Погадай на ромашке, раз так интересно.

— Язык у меня просто чешется. Страсть как охота поговорить, — прищурился от попавшего в него дыма, пробурчал Харя, поглядывая на Сергея в зеркало заднего вида.

— Уж больно разговор у тебя нехороший, — ответил Сергей.

— А я по-другому калякать и не умею. Чай, всю жизнь по тюрьмам болтаюсь, а не по всяким там институтам.

— Да ты, братишка, расслабься, — произнес Адвокат с зажатой в губах сигаретой. — Никто тебя не напрягает. Угостись-ка табачком лучше. Он и нервишки поправит, и мысли прояснит в два счета.

— Спасибо, я к табаку непривычен.

— И зря, — сказал он. — Разве добрые люди худое предложат...

— Да, видимо, брат, — обиженно сказал Харя, — он за людей-то нас не принимает!

— Так, что ли, братишка? — спросил Адвокат.

— Ясно как день! Ты еще спрашиваешь... — сказал Харя вместо Сергея.

— Нехорошо, братишка, нехорошо! Земля-то, она в форме чемодана, сам понимаешь. Сегодня ты нас обидишь, а завтра, глядишь, судьба возвратит все обратно.

— Да что вы с ним тут бакланите? — вмешался Аркаша, все это время молча копивший в себе неудовлетворенную злость. — Я сейчас

объясню ему... как нужно правильно разговаривать. — И он повернулся к Сергею: — А ну-ка быстро прижался к обочине!

— Я сейчас прижмусь тебе по шее несколько раз! — крикнул Сергей. — Побежишь у меня за машиной пешком.

— Прижался, я говорю! Хочешь, чтобы я сам это сделал?

— Не гавкай там, сявка! Голова от тебя разболелась, — произнес с усталостью Харя, выстрелив бычком сигареты в окно.

Но Аркаша, конечно, его не услышал.

— Оглох, что ли? — напрыгивал он. — Я к тебе обращаюсь! — И, не дожидаясь ответа, внезапно схватился за руль, изо всей силы потянув его в свою сторону.

Машина резко вильнула к обочине, обрывавшейся крутым спуском. Только с большим трудом Сергею удалось вернуть ее на дорогу, усмирив Аркашу сильным ударом в живот.

— Совсем жить надоело?! — проорал он.

— Эй, полегче на поворотах, — послышалось сзади.

Аркаша держался за бок и со злостью смотрел на Сергея.

— Тормози, сволочь! — задыхаясь от боли, говорил он. — Теперь ты покойник. Это так просто тебе не пройдет, — пообещал он Сергею, но в его голосе не было прежней уверенности.

— Вот ведь падла... Чуть не закопал нас в могилу, — произнес Харя с каким-то восторгом, как бывает после только что миновавшей опасности.

— Ничего, мы потолкуем с ним позже, — пообещал Адвокат. — Ты слышал, фазан? — наклонившись к передним сиденьям, произнес он. — Будешь сегодня всю ночь у нас на флейте наигрывать.

Аркаша вновь замолчал, отвернувшись к окну, вероятно, почувствовав, что на этот раз перегнул палку.

— А шеф-то какой молодец! — все чему-то радуясь, похвалил Харя. — Сразу видно — человека дома жена дожидается. А может быть, не только жена, а? — смеясь, заговорщицки спросил он. — Так держаться за жизнь можно, только если каждый вечер тебе прикуривает грудастая шлюха.

— Как бы там ни было, — ответил Сергей, — но сегодня вы мне заплатите по двойному тарифу... или я вас сейчас же высаживаю. Я не подписывался на такие проблемы.

— Не беспокойся, — сказал ему Харя. — Я же сказал, заплатим тебе сколько скажешь. Косарь к косарю, все честь по чести. Сегодня наш брат гуляет по полной.

— Или вообще, братишка, присоединяйся к нашей компании, — предложил Адвокат. — Все равно всех денег не заработаешь.

— Нет, спасибо, — ответил Сергей. — Я как-то не при параде.

— Да ты хорошенько подумай сначала! — сказал ему Харя. — Может, и девку какую-нибудь себе същешь. Скучно, поди, с женой мыкаться. Мне, например, всегда непонятно было, как это можно спать с одной бабой больше двух раз. Ты ведь не можешь всю жизнь питаться одними

пельменями? Когда-нибудь, но все равно захочется мяса... или, положим, картошки.

— Или вареников с маслом, — согласился с ним Адвокат.

— Вот-вот! Или вареников с маслом, — повторил Харя, усмехнувшись удачной метафоре. — Так же и с бабами. Ну так как, шеф? По рукам? Или ты все-таки домой, к своей титьке?

— Или... — ответил Сергей.

— Как я погляжу, братишка, порядочно тебе запудрили голову, — произнес Адвокат.

— Да, стоит только однажды послушаться женщины, и она превратит мужчину в осла, — сказал Харя, — который будет всю жизнь ее обещивать, а каждый вечер скорей бежать в свое стойло.

— Ты всех-то под одну гребенку не меряй! — ответил Сергей.

— А что, разве неправильно?

— Уж больно поганно это звучит у тебя.

— А это, как говорится, такая жизнь у нас, шеф, поганая и некрасивая, точно шлюха, — произнес Харя.

— Просто не нужно братья за нее грязными лапами, и тогда все с ней будет в порядке.

— Обижает, братишка! — сказал Адвокат.

— Видишь ли, я и сам не научен хорошим манерам, — ответил Сергей.

— Может быть, были плохие учителя? — спросил Харя.

— Как знать? Может, и так.

— А то мы ведь, знаешь, и научить тебя можем.

— Что ж, попробуй, — ответил Сергей.

Услышав это, Харя придвинулся к креслу водителя, явно желая в ответ сказать что-нибудь веское.

— Ладно, кончайте кусаться уже, — сказал Адвокат. — Мы приехали.

И действительно, машина свернула к реке. Вдоль гравийной дороги потянулись сплошные кусты рябины, бузины и ранетки. И только местами, в редких просветах между кустарниками возвышались лохматые заросли конопли, росшие вперемешку с полынью, откуда с необыкновенной отчетливостью слышался несмолкаемый стрекот и мерный гул ночных насекомых. Чуть дальше виднелась речная вода, гладкая, словно зеркало, и черная, как смола. Над ней нависали тяжелыми ветками росшие у берега деревья.

— Давай ближе к берегу, — скомандовал Адвокат.

— Что-то не видно здесь ваших товарищей, — ответил Сергей.

— Они там, чуть подальше. Верно, уже напились и спят как убитые.

Над рекой царила сама безмятежность. Только кваканье лягушек и песня сверчков нарушали ее тишину, и чернота встававших стеною деревьев казалась непроницаемой.

— Выходите. Дальше я не поеду, — сказал пассажирам Сергей.

— Да тут всего-то несколько метров осталось проехать. Они, должно быть, сидят возле самой косы. Это сразу за чащей.

— Нет, выходите, — повторил он, остановившись.

— Не глупи, шеф, — сказал ему Харя, озираясь по сторонам. — Где мы их будем искать без машины?

— Выходите, кому говорят!

— Так не пойдет, шеф. Это не дело!

— Ясен перец, не дело, — вмешался Аркаша. — Ты куда нас привез, овцевод? Куда мы, по-твоему, должны сейчас выходить?

— Дальше я все равно не поеду, — не сдавался Сергей.

Его пассажиры молчали. Они будто не могли на что-то решиться, это явственно чувствовалось по атмосфере гнетущей нервозности, что исходила от них. Так иной раз ощущаешь слишком пристальный взгляд, направленный в спину.

— Да что мы с ним телимся? — сказал с нетерпением Аркаша, достав из кармана джинсов раскладной нож. — Сунуть перо ему в бок — и готово.

— Окороти, фазан, — произнес Адвокат. — Это успеется.

Очень медленно и осторожно, так, чтобы почти невозможно было заметить, словно в этом движении заключалась вся его жизнь, вот-вот готовая оборваться, Сергей нащупал правой рукой лежавшую под ковриком фомку и на мгновение замер, дожидаясь удобного случая. Его сердце неистово билось в грудину, разгоняя по венам горячую кровь, ему жадно вторило несколько мелких сердец, стучавших в висках и почему-то где-то в боку, под поясницей.

— Вали отсюда, пока еще цел, — сказал Адвокат. — Твою машину мы забираем с собой. Она нам нужней, чем тебе. А ты еще на одну зарабатываешь. С тебя не убудет.

Сергея не пришлось просить дважды, обстоятельства складывались явно не в его пользу. Он отстегнул ремень безопасности и, приоткрыв дверь, приготовился было бежать.

— Только смотри мне — без глупостей, — произнес Адвокат.

— Да, смотри мне! Но для начала я верну свой должок, — остановил Аркаша Сергея.

В следующую секунду Сергей скорее почувствовал, чем увидел, как Аркаша выбросил вперед правую руку с ножом, пытаясь нанести ему удар в низ живота. Непроизвольно, даже не успев осознать своих действий, Сергей подставил под нож руку, и тот скользнул мимо цели, оставив после себя на ладони кровавую рану. Другой же рукой, с ломиком в ладони, Сергей наотмашь ударил противника, но попал только вскользь, находясь в неудобной позиции.

— Ах ты, паскуда! — схватившись за правую скулу, взревел от боли Аркаша. — Теперь тебе крышка, козел! — заорал он и замахал ножом во все стороны.





Не теряя времени даром, Сергей толкнул открытую дверь, чтобы она не преграждала ему путь на волю, и попытался вырваться из машины, но в этот момент кто-то схватил его сзади за плечи и, прижав снова к креслу, запястьем сдавил его горло. Тогда Сергей стал отчаянно вырываться, круша все вокруг себя ломом, в надежде попасть по схватившему его сзади убийце. Вероятно, усилия его не прошли даром, потому что уже быстро он оказался снаружи, хотя сказать, как это вышло, таксист ни за что бы не смог. Все то, что происходило с ним сейчас, воспринималось словно в замедленной съемке, одними урывками.

Потом он бежал, задыхаясь, в сторону чащи, отчетливо слыша шаги приближавшихся сзади преследователей. Его правый бок был весь охвачен огнем и с каждой секундой все больше наливался свинцовой тяжестью, такой неподъемной, что хотелось лечь спать, прижавшись прямо к земле. Но необоримая сила, с которой цепляется за жизнь каждый познавший однажды счастье рождения, влекла его прочь от неизвестности смерти, помогая осилить ее цепенящую волю.

И все же погоня настигла его. Словно гончие псы, загнавшие жертву в ловушку, убийцы набросились на Сергея, возбужденные видом крови и жаждой мести. Собрав последние силы, удачным ударом в лицо Сергей повалил Адвоката на землю, но на помощь ему тот же час подоспели Аркаша и Харя, с которым совладать уже было невозможно. Сергей лишь прикрыл руками глаза, заслоняясь от острого лезвия, мелькавшего возле самой его головы. А потом его грудь что-то пронзило два раза, еще и еще, обжигая изнутри мертвым холодом, и одолевавшая слабость стала невыносимой. Все закружилось перед глазами, стало далеким и безразличным, и он заскользил в темную пропасть, словно под ним исчезла земля.

— Эй, что происходит? — внезапно послышался чей-то голос с реки.

— Черт, нас спалили. Валим отсюда... — прошептал Харя.

— Нет, он еще жив, — тяжело дыша, ответил Аркаша, склонившись над телом Сергея.

— Да оставь ты его, — сказал Адвокат. — Он уже не жилец.

Аркаша застыл на мгновение, не зная, как поступить. В ярком свете упершихся в землю фар автомобиля темная кровь на футболке Сергея выделялась особенно четко. Словно живая, она стремительно расплзлась по белой ткани и уже виднелась на животе и руках.

— Я вызвал полицию, — послышалось с берега, заросшего плотным кустарником. — Что здесь случилось?

— Рвем когти, фазан! — крикнул Харя уже возле самой машины.

— Ладно, — сплюнув, произнес Аркаша, — пускай подыхает, — и легкой трусцой побежал за друзьями.

Через мгновение, взметнув из-под колес облако пыли, с диким ревом машина помчалась вверх по грунтовой дороге, скоро скрывшись из виду; в воцарившейся тишине застрекотали вновь насекомые, будто бы обсуждая случившийся переполюх, приведший их в замешательство.



— Сынок, ты меня слышишь? — спросил подбежавший к Сергею мужчина. — Скажи что-нибудь... Я сейчас вызову помощь.

С великим трудом, словно на веках его висели пудовые гири, Сергей посмотрел на спасителя. Это был невысокий, все еще коренастый, несмотря на года, мужчина, одетый в камуфляжную форму и резиновые сапоги с высокою голенью, доходившей ему почти до самого паха. Чуть поодаль виднелся парнишка лет девяти, вероятно внук или поздний ребенок.

— Слышишь, Васька, дуй скорее к дороге. Позови нам подмогу, — обратился к парнишке мужчина.

— Хорошо, деда, — раздалось в ответ.

В тот же момент Васька юркнул мимо Сергея.

— Ты только не умирай, сынок. Пожалуйста, не умирай! — Упрашивавший, наклонившись, нащупал биение пульса. Сергей смотрел на него большими, широко распахнутыми глазами, заходясь мелкой дрожью. — Потерпи, сынок, слышишь... — сказал мужчина и, сев на траву, разрыдался, обхватив руками склоненную голову. — Господи, если бы только пораньше, если бы только немного пораньше! — причитал он, комкая волосы на голове. — Но я ведь был не один, с Васькой... Что бы я сказал его матери?!

Сергей смотрел на него не отрываясь, словно хотел этим взглядом высказать что-то неизъяснимое, гораздо более сокровенное, что нельзя было выразить словом. Странно, но почему-то он совсем не чувствовал боли, и лишь всепоглощающий холод напоминал ему о близости смерти. Холод и уже какая-то замогильная слабость, которой хотелось отдаться, утонуть в ней, словно в тяжелой воде.

— И как земля только носит этих подонков... — сокрушался мужчина, дожидаясь подмоги. — Как земля только их носит! — вновь повторил он, взглянув на Сергея. Тот лежал неподвижно, с остановившимся взглядом.

— Да уж, сынок, — произнес печально мужчина, — недорого стоит жизнь в наше время.



## ОСЕННЕЕ КОЧЕВЬЕ

*Стихи монгольских поэтов  
в переводе Намжила Нимбуева\**

*Переводы Намжила Нимбуева (1948—1971) с бурятского и монгольского уникальны прежде всего тем, что они созданы рукой восхитительно одаренного поэта, в совершенстве знавшего эти языки (то есть переводы его сделаны не по подстрочникам) и виртуозно владевшего языком русским. В год своей гибели — в до обидного молодом возрасте, всего в 23 года! — Намжил Нимбуев успел перевести стихи семнадцати наиболее ярких и известных монгольских поэтов, его современников. Увы, эти переводы, вошедшие лишь однажды в переизданную в 2002 году книгу «Стреноженные молнии», достать интересующемуся читателю практически невозможно. Более того, о самом существовании этих переводов мало кто знает до сих пор.*

*Я осмелился попросить сестру Намжила Нимбуева, Любовь Ширавовну Нимбуеву, прислать мне копию рукописей этих переводов для публикации. И она любезно откликнулась.*

*Подборка этих текстов уникальна еще и тем, что здесь Намжил Нимбуев выступает как новатор художественного перевода, он следует правилу эквилинеарности и нескольких авторов переводит с использованием чистой начальной рифмы-аллитерации — «толгой холбох», традиционной для бурятской и монгольской техники стихосложения. И, поскольку справедлива теза, что переводчик поэзии всегда вносит частичку себя в переводимые стихи, постольку — кто бы сейчас из бурятских поэтов ни пытался присвоить себе первенство в написании бурятско-русских «анафор» (хотя, строго говоря, «анафорой» такого рода рифмовку — механический перенос «толгой холбох» на русскую почву — все-таки нельзя называть) — все равно первым будет непревзойденный Намжил Нимбуев.*

*Амарсана Улзытуев,  
поэт, Улан-Удэ*

---

\* Публикация Амарсаны Улзытуева.

## Б. ЦЭДЭНДАМБА

## Прорубь

Речка в чаще цепенеет  
Под метельный белый вой.  
Полынья на льду чернеет,  
Словно птичий глаз живой.

Молоком перекипевшим  
В ней вода узоры вьет.  
Кружевом заиндепевшим  
По краям свисает лед.

И над круглой полыньей —  
Схожа с чашкою она —  
Виснет крышкой золотою  
Полнолицая луна.

Темным-темная водица.  
Круг с ладонь величиной  
Не желает покориться  
Зимней стуже ледяной!

Хоть прорубка та во власти  
Завывающей пурги,  
Хоть прорубка в самой пасти  
Обступающей тайги,

Хоть от ветра стыннут кедры,  
Развеселая вода  
Всю долину поит щедро,  
Не мелея никогда.

Не смежает век морозных,  
Жизнью в зимний день дыша.  
Ты — моих ущелий грозных  
Беспокойная душа!

## С. ДОРЖПАЛАМ

### Осень

Желтеет отшумевшая листва  
И осени полет свой посвящает.  
Обнажены, как девы, деревья.  
Свет палевый их ветви освещает.

День ото дня в природе холодней,  
Все дальше осень птицей улетает.  
И первый снег гонцом морозных дней,  
С листвою в обнимку падая, не тает.

Опережая шествие снегов,  
Свои одежды сбросили деревья  
И землю-мать от лютых холодов  
Закутали с заботливостью древней.

Пожертвовав стыдливостью своей,  
Остался лес незащищенный, голый,  
Размахивает крючьями ветвей  
На стынущем ветру — прямой и гордый.

Лес пояс свой подтягивает туже  
И жестами воинственными рук  
Батора, выходящего на круг,  
Бросает вызов предстоящей стуже.

Осенний лес последнею листвою  
Покров земли с любовью украшает  
И словно человека вопрошает:  
А помнишь ты про долг сыновний свой?

## Н. НЯМДОРЖ

### Осина

Сто лет осина красная  
Стояла над рекою.  
Сто теплых весен встретила,  
Сто раз роняла листья,  
Сто лет в зеркальной глади  
Стан девичий смотрела...

Победно дни летели,  
 Поросший мохом берег  
 Подмыло половодье.  
 Ослабла и упала  
 Осина в гладь речную.  
 Хрустальное то зеркало,  
 Хрустя, под ней померкло...

## Д. ШАГДАРСУРЭН

### Осеннее кочевье

Вбирается исподволь в душу  
 Дурман ая-ганги сиреневой.  
 От дымки осенних курений  
 Безгласная степь светла.

Полирует палевый ветер  
 Узоры уздечки серебряной,  
 Ощупывает орнамент  
 Сандалового седла.

Пригнули песчаные шеи  
 Холмы под поземками ранними.  
 Просвечивают саксаулы  
 Сквозь зыбкие миражи,

В ногах караванные тропы  
 Светлеют зажившими ранами,  
 Змеятся по седловинам,  
 Выписывая виражи.

А стойбища обезлюдели,  
 Подобно осенним озерам.  
 И горизонт ускользает  
 В пустынную даль холмов.

Караваны кочующих айлов  
 Прощально пестрят перед взором.

Доносятся крики баранов  
И хриплый верблюжий рев.

Подросшие дикие утки  
Кружат над родными озерами  
И отстают незаметно  
От мчащих на юг косяков.

Цепочки кочующих айлов  
Осенними вьются узорами.  
Доносятся крики баранов  
И хриплый верблюжий рев.

## Ж. ДАШДОНДОГ

### Запах лета

Из моей голубой тетради  
Вдруг пахнуло зеленым летом:  
Промелькнувшего чувства ради  
Стоит заново вспомнить об этом.  
Я лежал на лесистом склоне,  
Видел дом ваш с распахнутой дверцей  
И записывал в птичьем звоне  
Потаенные мысли сердца.  
Не в прекрасное время ли это  
Поселились в ней запахи лета?

Из моей дорожной тетради  
Вдруг повеяло летним ливнем.  
Неостывшего чувства ради  
Стоит вспомнить о миге счастливом.  
Летней ночью, громами изрытой,  
Я в окошко сквозь молний просветы  
Видел домик ваш с дверцей закрытой,  
Бурю чувств изливал в сонеты.  
В голубую тетрадь не тогда ли  
Капли летнего ливня упали?

## С. БУЯННЭМЭХ

## Осенняя листва

Осень снова приходит, листва,  
 В путь пускаясь за чем-то заветным,  
 Оставляет беспечно меня,  
 Улетая вдогонку за ветром.  
 Статный парень, о ствол опершись,  
 Слышит крики влюбленных оленей,  
 С тайной грустью он вспомнил опять  
 Дни веселых своих походов.  
 Ниже солнце. Созрели в полях  
 Семена многолетних растений.  
 Неприметные мыши и те  
 Урожай собирают осенний.  
 Откормились за лето стада,  
 Нагуляли лоснистое тело.  
 Отчего бы арату теперь  
 Не слоняться порою без дела?  
 Не покрыла виски седина,  
 Тело жаркое просит работы.  
 Но зимовка еще впереди,  
 Далеки посевные заботы.  
 И за шахматной мирной доской  
 Под осенней звездой мироздания  
 Изгоняется грустная мысль  
 О крадущихся днях увядания.

## Д. НЯМ АА

## Подъемный кран

Под куполом неба  
 Подъемный кран  
 Поднял длинную шею.

Утром улыбчивым  
 Удит у кромки рассвета  
 Уснувшее солнце.



## С. ДАШДООРОВ

### Звезды

Над миром в вышине зажженные светила,  
Блестящие в ночи, как игл остря, —  
Не брызги ль молока, которым освятила  
Сыновний трудный путь седая мать моя?  
Мой окропило лоб святое молоко,  
Чтоб сына стороной не обходило счастье,  
Чтоб разум не мутнел, чтобы жилось легко,  
Чтоб достигалась цель сквозь беды и ненастье.  
И, вкрапленные в ночь, в космическую высь,  
Те ль брызги молока, как яхонты, зажглись?

Рои бессонных звезд мигают монотонно,  
Мерцают над людьми в немыслимой дали —  
Не искры ль это вдруг из дымного тоно  
Отцовской ветхой юрты взлетели от земли?  
С огнивом мой отец, трудами утомленный,  
Бил, высекал огонь, у очага склонясь,  
Чтоб сына дома ждал горячий чай зеленый,  
Чтоб насладился сын, из странствий возвратясь.  
Не искры ль это те уж столько долгих лет  
В небесной высоте разбрызгивают свет?



Сергей ПИВЕНЬ

## МОГИЛА ЮРОДИВОГО

Р а с с к а з

От края до края, от океана Тихого до Балтики, от моря студеного до степей калмыцких — на всем протяжении земли Русской безраздельно правила зима-хозяйка. Задувала выюгами, бросала хлопья снежные на стылую землю, наметала сугробы высокие, пробирала до костей морозами трескучими.

Декабрь подползал к своему концу, однако сдаваться не хотел, каждую ночь выл по улицам и переулкам злыми метелями, мечтая подольше поцарствовать над столицей Руси Московской.

Было раннее утро, когда на старой ордынской дороге показался длинный обоз, медленно вползающий на крепкий лед Москвы-реки. Спала еще столица, не дымились трубы домов купеческих да боярских, спешить было некуда. Морозы стояли лютые, из дома носа не высунешь. Тихо было вокруг. Лишь падал мелкий снежок да змеилась по земле пороша белая.

Возле храма Василия Блаженного с высоты Боровицкого холма за обозом наблюдали двое — малец отрок и мужичок-юродивый, в народе прозванный Ивашка-копач. Копал Ивашка могилы, отсюда и прозвище свое получил. Каждый день копал. Бывало, целый день трудился, по три-четыре могилы дотемна получалось, без усталости копал, один-одинешенек. Выкопав, неистово крестился, пока гроб с покойником на дно могилы не положат и сверху землей засыпать не станут. После этого шел Ивашка к другой яме, к следующему покойнику, потом к еще одному... И так — до последнего. И у каждого гроба, упав на колени, в крещении своем неистовом доходил до умопомрачения, разбивая чело в кровь о замерзшую землю, как умел, просил у Бога не отвергнуть умершего, принять его к себе, даже если грехи покойника тяжкими были. И так много их, что не поднять и не вынести.

Сколько лет ему от роду было, не помнил Ивашка, позабыл в круговерти времени. Не ведал он и родителей своих, сгинувших, как говорили ему монастырские монахи, в набеге разбойном где-то на Волге-реке возле Астрахани, куда плыл люд торговый, чтобы товары свои продать, а



взамен заморских диких для продажи в Московии купить, персидских да индийских.

Прознали про это монахи много лет спустя, когда в Москве, на месте Лобном, свидетелями были, как одному лиходею голову секли за разбойство: перед казнью успел поведать тот о делах своих преступных, в числе которых и нападение было на караван торговый, что в Астрахань плыл. Всех тогда лиходеи перебили, никого не пожалели, лишь Ивашку, мальчика несмышленного, на вид три года лишь от роду, в живых оставили и с собой в город Хлынов повезли, что на Каме-реке стоит, где логово свое разбойничье устроили.

Дорогой повезло Ивашке — убег, когда народ разбойный на ночь лег к берегу на лодках причалил, костры развели, а затем вино пить стали. За весельем пьяным никто не заметил, как юркнул малец в чащу, а утром, не найдя пленника в лагере, покричали-покричали лиходеи, для вида больше, да и отчалили — куда там трехлетку через леса дремучие пробраться, когда вокруг на сотни верст человека никто не видывал, где зверь непуганый царствовал. Медведь в округе хозяином был, а он гостей непрошенных не любит, всех выпроваживает, а кто добром идти не хочет — почитай, с жизнью распрощался. Подумали-прикинули лиходеи и к мысли общей пришли: сгинул малец — вот и весь сказ, а как сгинул, с голоду ли помер или от зверя лютого смерть принял, это уж как на роду ему написано было.

Но ошиблись разбойники — выжил Ивашка, повезло ему, а может, Бог специально жить его на земле грешной оставил для цели своей неведомой.

Нашел мальчика отшельник Григорий, когда к реке за водой отправился: спал Ивашка под елкой, обессиленный и беспомощный.

Жил Григорий в хижине, которую три года назад руками своими построил, когда из лавры Сергиевой в леса заволжские отправился — хотел смирением своим прощение у Бога выпросить за грехи, что свершил в жизни своей прошлой, домонашеской. Отнес отшельник мальчика в хижину, отваром травяным отпаивал, все расспросить пытался, как тот в чаще глухой очутился, но молчал малец, в страхе своем затаился. Лишь месяц спустя, попривыкнув, кое-как вспомнил, что Ивашкой его звали, а кто он, откуда и что случилось с ним — не мог припомнить, испуг от атаки разбойной память ему стер, до основания потряс ум детский.

До осени жил малец у отшельника. Когда же покрылись алым багрянцем и золотом леса, предвещая скорое наступление холодов, отвез Григорий с караваном речным мальчика Ивашку в лавру Сергиеву, под прищотр братии монастырской. С того времени и стал Ивашка среди монахов жить, долгое время не ведая жизни мирской, что за монастырскими стенами кипела. Любую службу нес, куда назначат, не противился ничему, веру постепенно обретая да к людям приглядываясь: понял со временем, что, как деревья в лесу, так и человеки — разные все, нет ни одного друг на дружку похожего. Так вот и жил — в смирении тихом, больше слушающая, чем говоря. От молчания этого утвердилась братия монастырская,



что умом он убогий, а посему, раз обделил Господь разумом, старались не обидеть его, ненароком даже, по случайности, будь то слово какое худое или, не дай бог, действие по умыслу злему.

В любви всеобщей да в приглядной опеке быстро пробежали годы, а когда подрос Ивашка — ушел в Москву, по воле своей, не спрашивая никого. Препятствий никто ему не чинил — какой спрос с юродивого-то... Они люди божьи — ушел, значит Господу так нужно было.

В Москве прибился Ивашка к монастырю Донскому, помощником звонаря поначалу служил, потом могилы усопшим копать стал. Долго годов уже копал, точно не помнил — сколько...

Вот уже много лет каждое утро шел Ивашка на площадь Красную, что возле Кремля разлеглась-разбоченилась, садился у собора Блаженного, тихо сидел, смиренно и долго, словно в другой, неизвестный мир душой уносился. Посидит-посидит, встанет потом да на кладбище зашагает, к делам своим бранным, землю копать.

Привыкли все к Ивашке на площади. Вот и сейчас, когда обоз Москву-реку по льду проехал да на холм подниматься стал, к башне Спасской, через которую в Кремль, в палаты царские, дорога лежала, не прогнал его стрелец-стражник, когда подошел Ивашка к саням головным, в которых купец, по виду — хозяин обоза, разлегся, в шубу до пят укутанный.

К саням подошел и отрок, что с Ивашкой вместе за обозом с холма наблюдал. Приблизившись, встал с юродивым рядом, прислушался, что тот говорить станет. Удивленно посмотрел на отрока стражник, но не сказал ничего. Лишь постучал ружьем по воротам, крикнув, чтобы изнутри отворяли.

— Откуда путь держите, миряне? — хитро прищурившись, спросил Ивашка.

— С Волги-матушки едем, — ответил ему человек, поправлявший конскую упряжь, — по всей видимости, служивший при обозе конюхом.

— Ох издалека, издалека!.. Пол-Руси, почитай, проехали, многого, по всему, насмотрелись? Что видели-то? Как Русь живет-тужит?

— Иди с богом, мил человек! Без хозяина едем, нам бы разгрузиться быстрее да на отдых. — С саней соскочил человек, которого Ивашка поначалу за купца принял. — Рыбу в хоромы царские везем. Стерлядей да осетров волжских...

— А ты кто ж будешь, не главный ли?

— Куда уж мне... — улыбнулся человек. — Я только артели рыболовной голова. А хозяин наш дома, в Астрахани остался.

— Что ж сам не поехал?

— Жена упросила. Сиди, говорит, на месте, при мне да при детях, а с обозом народ и без тебя управится.

— Так что — управились?

— Где там!.. Половину обоза по дороге потеряли. От разбоя пострадали, хозяин мало стражников для охраны выделил. Посчитал, видимо, что и того хватит. Но нет, лиходеи охрану в первом же нападении почти

всю перебили, так что до самой Москвы в страхе ехали — не дай господь, заново нападут, тогда все, конец... Но с божьей помощью добрались... — Начальник артели несколько раз перекрестился. — Одна те- перь у нас думка: как обратно ехать, без охраны-то?

Головой стал качать юродивый, недовольный тем, что услышал.

— Подвел вас купец, ребяташки, ох и подвел!.. Хозяин-то неради- вый, раз о людях своих не позаботился, жену свою послушал, разброд у него в голове. Товар-то новый появится, а вот как веру в людей возвр- нуть, коих на произвол судьбы послал, вот незадача. Под силу ли хозяину вашему будет?

— То нам неведомо...

— Ох верно, верно!.. Без порядку все устроено!.. Спаси вас господь на обратном пути вашем трудном!.. — Ивашка, крестясь, начал бить по- клоны. Остановился лишь, когда обоз в открывшиеся ворота Спасские въехал, а потом затворили их заново стражники.

Поежился от холода Ивашка. Закружила вокруг метель, завертела, все сильнее пробираясь под одежды его скудные.

— Пойдем, Петруша, к собору... — посмотрел он на отрока. — Али как, может, дела какие есть у тебя?

Пожал плечами отрок и ответил с сомнением легким и удивлением:

— Не спешу я никуда. А к собору идти зачем? Были ведь поутру...

— Лопата там у меня припрятана, взять ее надобно. Могилу копать пойду. Необычную могилу — для Руси-матушки...

— Как это? — вновь удивился отрок.

— Расскажу, если со мной пойдешь. Тут скрывать нечего. Все объ- ясню, тебе пригодится.

Не дожидаясь ответа, побрел Ивашка к собору Блаженного, где в пристройке лопату свою могильную держал. Следом за ним немного по- голя зашагал и отрок, словами юродивого удивленный.

Несмотря на холод лютый, мало-помалу оживать все же стала Мо- сква-столица: то тут, то там слышался хрип конский — то купцы товар свой в сани загружали, чтобы в ряды торговые везти, на продажу. «Кто рано встает, тому Бог подает» — пословицы мудрой в деятельности своей придерживались, на барыши большие надеясь.

Когда до собора дошли, взял Ивашка лопату и в путь отправились. Для начала Москву-реку по льду перешли. Долго потом шагали, целый час почитай, все молча, каждый в думе своей. Вдоль реки вел юродивый отрока, по берегу стылому. По пояс в снег иногда проваливались, а когда выбирались — дальше брели, к лишь одному Ивашке известному месту.

Когда наконец пришли, осмотрелся отрок. Привел его юродивый на склон гор Воробьиных, где бояре охоту устраивали, развлекаясь под рев труб охотничьих, во хмелю пьяном и веселье безоглядном, границ не зна- ющем.

— Вот туточки и копать стану, как виделось мне намеренно... — вздох- нул Ивашка, подул на озябшие руки и принялся снег лопатой разгрести, пытаясь добраться до земли замерзшей.



— Что видел-то? — спросил отрок. Прислонившись спиной к дереву, он внимательно наблюдал за тем, как ловко юродивый место могильное расчищает.

— Видение мне было, Петруша, видение!.. Не лукавого то проделки, нет!.. Зрил я все воочию и голоса слышал ясно. Но!.. Много говорено чего было, да не все понятно, много видел чего, да узрел не все!.. Сделаю... как понял, а там сам решаю: уйду я скоро, а ты останешься...

— Уйдешь? Куда?

— Господь зовет. Закончилось мое время, другие за мной идут, скоро-скоро появятся!..

Замолчал Ивашка, лишь на отрока посмотрел, глубоко и с надеждой, а затем работу свою начал — по привычке с усердием большим и старанием.

Трудно ему было: сопротивлялась земля мерзлая, не поддавалась. Останавливался тогда Ивашка, но ненадолго, отдыхал немного и снова за труд принимался. Долбил и долбил землю стылую, звенела лопата, звенела и гнулась, но не ломалась. На два локтя земля промерзла, комьями крупными из-под лопаты отлетала.

— Остановился бы ты, устал небось... — предложил отрок Ивашке. — Костер давай разведем, зябко что-то...

Оперся о лопату юродивый. Задумался. Смахнул затем с волос снежинки белые, что сыпали сверху, и ответил:

— Нельзя останавливаться, Петруша... Никак нельзя. Если начал дело — вперед иди, обратно не возвращайся. Видишь оно как, поначалу всегда трудно. Как вот с могилой этой: сперва земля стылая, трудно ее копать, тяжело очень, однако надо, но потом обязательно легче станет. А остановишься если, мороз вновь землю скует... и опять трудно будет, а винить-то в этом только себя тогда и надобно — себя и никого более. Остановиться — время зря потратить, признать, что напрасно все было, что раньше сделано. Нет, Петруша, вперед надобно всегда идти и с дороги своей не сворачивать. Медленно можно идти, быстро можно идти, но главное — идти и не останавливаться.

— Давай тогда помогу тебе?

— Помоги, помоги, это можно. Покопай землицу-то, она хоть и стылая, но своя, родная, отеческая...

Вылез Ивашка из ямы, а вместо него отрок в нее спрыгнул. Взял лопату в руки и так же, как и юродивый, долбить землю начал. Быстро от работы согрелся, кровь разогналась молодая, тепло приятное по телу разлилось.

Откуда-то сверху, с покрытых инеем деревьев звонко и прерывисто затрепали сороки, встревоженные появлением гостей непрошенных. Со стороны реки послышался шум голосов детских, то детвора окрестная на лед высыпала, снежками перекидываться стала, в игры свои играя.

— Ох, земля-то неподатливая какая!.. — тяжело вздохнул отрок, выбрасывая вверх очередной ком земли, а потом, не останавливаясь в работе своей, спросил Ивашку: — Как же можно целому царству могилу копать? Не человек ведь...

— Не скажи, Петруша, не скажи... Страны, как и люди, рождаются, растут, живут, дряхлеют, а потом — умирают.

— Так разве умерла Русь?

Стал Ивашка молитву губами нашептывать, глаза закрыв и головой из стороны в сторону покачивая. Когда молитву окончил, ответил:

— Отжила свое Русь Московская, которая взамен другой Руси, Киевской, появилась. Отжила, отжила!.. Умирает страна наша, но на ее месте новое царство должно родиться. Обязательно должно, иначе погибель ждет землю Русскую.

— Погибель?! Почему?

— Уснула сейчас страна наша, успокоилась, на печи лежит и вставать не хочет. Но нельзя нам, Петруша, в спокойствии долгом жить. Успокоение в мире земном, зримом, нас окружающем, — это смерть для людей русских.

Остановился копать отрок, ответом юродивого пораженный. Затих и ветер, доселе в кронах деревьев гулявший, и лишь мороз, казалось, все крепчал и крепчал. Улыбнулся юродивый и нежно, с лаской какой-то спросил тихо:

— Что ж остановился, Петруша?

— Словам твоим удивился. Необычные слова говоришь, не слышал я таких ранее.

— Потому и говорю, чтобы именно ты услышал. — Укутался сильнее Ивашка в армяк свой рваный, а потом продолжил: — Гостями люди русские в мире земном себя чувствуют. Для них главное — не благами земными обладать, а истину найти. Вот и ищут ее всю жизнь. Вся земля Русская как в монастыре живет, душу человеческую познать пытается. Не хотят люди русские жизнь свою земную облагораживать. Но пока в мире духовном находятся, поиск смысла всего сущего ищут, страны иноземные вперед уходят, богатства и силы накапливают. Вот и мысль их правителям в голову приходит, что раз сильнее они в мире земном, недуховном, то и Русь они победить смогут. Но не ведают, что не сломить тех, кто в силу правды верует. Поднимутся люди русские, когда несправедливость почувствуют, ибо для них справедливость — самое важное. Ибо тем и отличается земля Русская от врагов своих, что она за справедливость в мире борется. И главное здесь для Руси — в спокойствии своем не уснуть. Когда все хорошо, то успокоение нисходит на людей русских, забывают они, что лишения впереди могут появиться, забывают, что ничто не вечно в мире. Когда спокойствие на нас нисходит, слабее мы, отстаем от стран иноземных, для которых жизнь земная всегда важнее жизни духовной — той, кою мы для себя на первое место возвели. Уходят вперед иноземцы, а для нас главное — не отпустить их от себя далеко. Где надо — подтянуться, а где и вперед вырваться, чтобы даже мысли у них не возникло на мир наш посягнуть. Оно ведь как случается: когда, истину выстраданную отыскав, из монастыря Русь выходит и сердце свое открытое распаивает, странам иноземным открываясь и на взаимную широту надеясь, мало что обратно получает, в ответ на руку протянутую спиной



они к Руси поворачиваются. Вот потому-то нельзя нам слабыми быть, Петруша, никак нельзя, иначе не быть нам.

— Что же делать-то? Знаешь ли?..

Юродивый перекрестился и, не сводя внимательного взгляда с отрока, заговорил медленно и рассудительно:

— Чтобы из слабости людей русских вывести, встряхнуть их нужно, а не поможет ежели встряска, то и через колено переломить придется. А кто это сделать может? Только тот, кого весь народ послушает. Царь это, Петруша, царь. Надобно, чтобы примером он для всех был. На него люди взирают и с него пример брать будут. Будет царь тихий да смиренный, во всем и со всеми соглашающийся — к гибели приведет он народ русский, а будет действием своим пример подавать — поднимется народ и вместе с царем в путь отправится. Да и страны иноземные уважать землю Русскую станут. Только в пути этом цель знать надобно, куда идти-то. Царь должен это народу русскому объяснить. Когда без цели живем, тоска на нас невыносимая наваливается, в сон мы впадаем, безразлично нам все становится и равнодушно, а отсюда — хиреем мы, ослабеваем. Помнишь тот обоз рыболовный, что в Кремль заезжал сегодня?

— Помню, конечно... — махнул головой отрок.

— Тот хозяин... как царь словно, только не для Руси целой, а для людей своих, над коими власть имеет. Вот и получилось так, что в нем отец царя победил. Он в первую очередь не о людях своих беспокоился, а о семье своей, жене да детях малых. Неправильно это. Когда у царя своя семья на первом месте, а не Русь, обязательно беды жди. Ему обо всех людях русских думать нужно, а не о своей семье печься. Не должен царь русский ни себе, ни семье своей принадлежать — народу русскому служить ему только надобно. Ему — и никому более.

— Так для всех мил не будешь!.. — сказал отрок. — Обиды многие затаят...

— Верно, верно, Петруша, говоришь. Многим больно сделать придется, но для пользы общей надобно это... И никто в этом деле царю не подмога. Противиться будут, ты правильно это подметил, а отчего? Оттого, что боятся люди неизвестности той, что впереди их ждет. Не знают они место, которое в этом новом будущем займут, неизвестно оно пока для них. Привыкают люди к жизни своей несуетной. Им хорошо там, уютно... и главное, понятно им все. А когда время свершений новых приходит, страшатся что-то менять, думая, что оставить все как есть — это и есть благо. Трудно им с привычным расстаться. Всегда проще идти по дороге, по которой ты уже ходил, нежели по той, где пойдешь в первый раз. Вот потому-то главная задача для царя — страх перед грядущими переменами из людей выбить. — Вдохнул глубоко Ивашка и продолжил с сожалением: — Через колено многих поломать придется, ох многих!..

— Как же царю страну поменять, коли противиться люди станут?

— Не все супротив пойдут, Петруша, не все... Лишь те, кому есть что терять, у кого и богатства, и власть земная есть. Как вот бояре наши! Зачем им менять что-то? Им и так хорошо живется. Вот такие люди и бу-

дут противиться, ибо в переменах новых всегда что-то потеряют, а может так статься, что потеряют и все, что нажили.

— А кто ж супротив не пойдет?

— Те, у кого нет ничего, али если и есть, то слишком мало. Терять им нечего, а приобрести что-то возможно лишь в случае перемен новых. Вот на таких людей и должен опираться царь в свершениях своих неизбежных, жизнь меняющих. Да и чужестранцам доверять надобно не сильно. Учиться у них можно, но и приглядываться важно: тех, кто верой и правдой народу русскому служить будет — привечать, а тех, кто лишь из Руси богатств побольше выгацить целью для себя поставил — прогонять. Люди пришлые с земель иноземных не хозяевами должны быть на земле Русской, а гостями. Оно ведь как, Петруша: гость знает всегда, что на время он пришел... и если вести себя неподобающе станет, то уйти его попросят из дома, где находится. А ежели надолго его пустить, то из гостя он в хозяина возжелает превратиться. Указывать ему захочется, где, кому и как жить надобно. Чтобы не было этого, своих людей деятельных привечать необходимо. Помочь им, где нужно, где словом, а где и делом. Надобно, чтобы поняли они, что нужны они Руси-матушке. А для человека русского, Петруша, главное не количество монет, что дают ему за работу его, главное — высказывают ли уважение ему за работу эту. Чувствовать он должен, что работа его маленькая важной и нужной является для общего дела русского.

— Что ж это за дело такое? И как распознать его?

Знаменем крестным осенил себя юродивый. Ему было важно, что заинтересовался отрок, ведь для этого он и привел его сюда.

— Видение ночное поведало мне: замысел Божий о мире справедливом понять нужно — вот задача народа русского. Понять и народам другим предложить в жизни своей повседневной руководствоваться. Трудный это путь, но он Господом для народа русского предназначен. На пути этом страдания неизбежны будут, потому как все новое в муках всегда рождается. И главное здесь для царя — не дать человеку русскому на волю вырваться, когда, проснувшись от спячки, спокойствие его закончится. Когда воля человеком русским овладевает, то к смуте великой это ведет, а то и к погибели, ибо остановиться в этой воле он не может, надышаться хочет ею вдоволь, круша все без оглядки и забывая, что во всяком свершении меру знать надобно. Середины он ни в чем не знает, из крайности в крайность бросается. Остановить его вовремя на пути этом разрушительном важно. Остановить, а потом порядок навести. Потому что без порядку погибнут все. И только царь меру нужную между порядком и волей для людей русских определить и установить сможет. Потому что любовь к порядку и любовь к воле в людях русских вместе уживаются. Не противится одно другому. И еще скажу тебе: «русский» и «справедливый» — слова одинаковые, потому русскими и те считаться будут, кто справедливость на первое место возводит, будь это иноземцы даже.

Удивительно было слушать это отроку. Впервые говорили с ним так — правду лишь, открыто, без лести и угодничества. А еще удивитель-



ней было то, кто говорил ему слова эти — юродивый Ивашка, тот, кого умом убогим считали. На деле же оказалось, что знанием глубоким обладал он, в самый корень зрил, проблемы жизни русской разгадав.

Понял внезапно отрок, что сегодня, после слов юродивого, узнал он о стране своей куда больше, чем за всю жизнь прежнюю. Стал он теперь знаниями богаче, и все на места свои встало, сложилось в мысль единую и цель определенную. Оставалось только наяву воплотить открытия познанные.

Тем временем услышал он голос юродивого, смиренным был голос:

— Вылазь, Петруша, я копать продолжу. Вижу, понял ты все, что сказал я тебе.

Недолго еще копал Ивашка могилу, а когда закончил — наверх выбрался и армяк свой, в который одет был, в заплатах весь, с себя снял и в могилу бросил. Следом туда же меховой колпак с головы полетел, драный и молью побитый. Лишь в зипуне тонком и изношенном остался юродивый на морозе лютном.

— Как армяк мой поизносился, так и Русь Московская время свое отжила. Латай не латай дыры, а на время только обмануться можно. Жизнь, вперед ушедшая, меняться все равно заставит. Как взамен одежды моей старой, износившейся новую на себя надеть нужно, так и страну нашу поменять надобно. Измениться должна Русь, времени настоящему соответствовать. Пострадать, конечно, людям русским придется, как вот мне сейчас — без одежды зимней, на морозе лютном, но необходимы нам страдания эти, очиститься они нам от ошибок наших позволят, из успокоения выведут и дальше двигаться заставят. Похороним Русь старую, а новую создать еще придется.

Протянул юродивый лопату отроку:

— И тебе это делать придется, Петруша!.. Тебе...

Все теперь стало ясно отроку, словно пелена с глаз упала. Намеренно, с умыслом далеким, привел его сюда юродивый. Привел, чтобы именно он похоронил страну старую, свое отжившую, а после новый путь для себя наметил, к переменам ведущий.

— Значит... именно мне придется взвалить на себя это бремя тяжкое? — посмотрел он на Ивашку.

Было видно, что юродивый улыбнулся. Неуверенность отрока была ему понятна.

— Не мы выбираем время, в котором нам жить придется. Просто судьба и Господь тебя выбрали, Петруша, — ответил он. — Потому будь достоин доли своей — крест тяжкий нести...

Это был голос пророка, уверенный и определенный, заранее все знающий и не допускающий толкования двоякого. А еще — выбора иного не предоставляющий.

Вздыхнул тяжело отрок, лопату от юродивого принял, а потом могилу закапывать стал. Без сомнений уже трудился, покинули они его после слов пророческих. Понимал — сейчас, на этом склоне гор Воробьиных, возле могилы символической, судьба его определилась. И дальше следовать он ей будет, твердо и решительно.

Быстро яма землей заполнялась, безропотно работал отрок и скоро закончил работу свою. Холмик небольшой на склоне вырос, место могильное обозначив.

— Вот теперь и возвращаться можно... — сказал юродивый, посмотрев на отрока. — За мной не ходи, Петруша. Подумай тут еще в одиночестве. И вот еще что скажу тебе: того, что умерло — не воскресить. Раз похоронил Русь Московскую — возврата к старому не ищи, за прошлое не цепляйся. Вперед иди и не оглядывайся. А еще: сердце свое открой — и пойдут за тобой люди...

После слов этих осенил он отрока знамением крестным, выдохнул глубоко, лопату на плечо забросил и к Москве-реке зашагал, по льду которой к Красной площади выйти намеривался, к собору Блаженного.

И долго еще смотрел отрок на фигуру его сгорбленную, черной точкой исчезающую среди снега белого, что лед реки покрывал, словно уходила в безвозвратное прошлое вся жизнь прежняя, а вместе с ней исчезали все сомнения и тревоги, терзания и муки, и дорога новая открывалась, пока еще неведомая. И по ней только пойти предстоит...

Больше не видел юродивого отрок. Исчез Ивашка, и не знал никто, что стало с ним. Искал его отрок Петруша, но тщетны были поиски. С момента, как расстались они возле могилы, не появлялся юродивый ни на площади Красной, ни в монастыре Донском, ни в лавре Сергиевой. Не было его нигде.

В поисках своих долгих вспомнилось однажды отроку: «Вся Русь — монастырь словно, в котором истину все ищут» — примерно так говорил ему юродивый, когда могилу они копали. А Русь-то огромная, ни пройти ни проехать даже за жизнь целую. Ушел Ивашка, посчитав, видимо, что выполнил он миссию свою — семена знаний новых в душе Петруши-отрока посеяв. На том и объяснил все для себя...

А дальше — каждый день думал отрок над словами, что сказал ему юродивый. И глядя на жизнь русскую, его окружавшую, все больше убеждался в правильности их: застывшая и смиренная, она требовала изменений. В раздумьях своих часами ходил он по площади Красной, а когда возвращался — открывали ему стражники ворота Спасские, внутрь Кремля пропуская. А потом долго вслед смотрели, между собой переглядываясь и все понять пытаясь, какие думы одолевают его.

И никто еще не догадывался, что пройдет время и тот, кому стражники вслед смотрели, своей железной и нестигаемой волей Русь на дыбы поднимет, из Руси в Россию ее превратит. Не догадывался тогда никто, что скоро, очень скоро пока еще неуверенные шаги отрока Петруши превратятся в твердую и всепокрушающую поступь грозного России императора, которого народ русский емко и уважительно величать стал — Пётр Великий.

Алексей УСТИМЕНКО

## КАТАНИЕ ПО КАМЕННОЙ ШИНЕЛИ

*Детей Арбата растащили  
по семьям, кельям и сердцам.  
Детей отвыли и отмыли,  
утерли слезы огольцам.*

Николай Самохин

*На часах замирает маятник.  
Стрелки рвутся бежать обратно.  
Одинокий шагает памятник,  
Повторенный тысячекратно.  
То он в бронзе, а то он в мраморе,  
То он с трубкой, а то без трубки,  
И за ним, как барашки на море,  
Чешут гипсовые обрубки.*

Александр Галич

### Комнатный Иосиф

Наверное, я не единственный, и это «поколенческое»: во многих семьях было свое, глубоко личное отношение к Сталину.

Однажды произнесенная фраза бабушки: «Этого я ему никогда не прощу...» — запомнилась по-детски остро, и с нею я и врос в свою взрослую жизнь.

Сталин был в моей ребячьей жизни в разное время разный.

Я знал этого Сталина наизусть, ведь уже когда меня вводили в вестибюль детского сада и я начинал подниматься по лестнице — надо мной и ближе всего ко мне были сначала его коричневатые сапоги, потом — в пролете — на уровне моих глаз оказывался его костюм, затем, когда я поднимался по последнему маршу, в спину мне вглядывались прищуренные глаза по-домашнему близкого человека.

Сталин потом меня знакомо встретит на страницах «Букваря». Но теперь уже рядом с Лениным.

Владимир Ильич слева на первой странице. Иосиф Виссарионович — справа. Владимир Ильич в синем галстуке в белый горошек. Иосиф Виссарионович в строгом военном костюме, но с гербовыми золотыми пуговками.

Потом был еще и другой Сталин. Который стоял у начала главной аллеи в сквере у кинотеатра «Металлист» в родном Новосибирске.



Ему не было скучно. Метрах в ста пятидесяти, в центре другой аллеи, идущей поперек первой, на скамеечке сидел Ленин. С кем он сидел — не помню. Не исключено, что с тем же соратником — Сталиным. Или же, возможно, со счастливыми детьми.

Перед обоими сооружениями летом высаживались желто-красные цветочки — львиный зев, а зимою — во все снегопады — тщательно выметался весь снег. Плюнуть или высморкаться в ту сторону или же бросить бумажку из-под мороженого не осмеливался и самый невоспитанный барачный хулиган.

Но только до поры...

Однажды, проснувшись поутру и рванувшись в сквер, опасных, молчаливых, но с детства привычных знакомцев мы не обнаружили.

Вместо торчащего над всеми низкорослыми деревьями сибирского сквера гранитного Командора, придавив неубранный снег, лежала одна безголовая каменная шинель. Она еще полнилась монолитным неотмершим телом, потому что вполне вычислялось и место рук в рукавах, и место ног в сапогах под шинелью, а только кому она принадлежала — уже было не определить. Голова той странной булгаковской ночью напрочь исчезла.

Золотопокрашенный сидящий Ленин исчез тоже, из чего можно сделать логический вывод, что сидел он все-таки не с детьми. А самого по себе его сносить было еще политически рано.

Мальчишки не занимаются политикой, они живут естественной, а не в угоду идее или правителю придуманной жизнью. Естественным же был гранитный наклон холодного камня. И все мы — один за другим — пытались съезжать с тяжелой шинели от угадываемых под нею сапог к отсутствующей голове. И съезжали. Но только по разу, для пробы. Складки каменной шинели портили всю игру: попадая в них, ты начинал скользить не туда, куда тебе хотелось, и останавливался не у тобой намеченной цели.

И безголово лежащий Сталин все-таки направлял.

Впрочем, в квартире моей бабушки оставался еще один — маленький, гипсовый, с головой. Еще очень долгое время, уже после свержения всех остальных — гранитных, бронзовых и всяких иных Командоров — он прятался в каморке для всякого хлама.

Этот черный — от внешней покраски — гипсовый бюст Сталина вручили Лиде, сестре моей будущей мамы, хорошо учившейся в музыкальной школе.

Белым сталинский китель был лишь изнутри, в пустой своей полости. И черным снаружи, словно вся мрачность его души вывернулась наизнанку.

Сначала Сталин торжественно стоял на комод (этажерка его не выдерживала), отражаясь в зеркале и с политической проницательностью наблюдая за всеми, кто перед этим зеркалом имел неосторожность краситься, выдавливать прыщики на лице или переодеваться. А потом, как несущий мертвую ответственность за все прежние дела живого оригинала, был разжалован и сослан в каморку за платяным шкафом.

Выбросить его бабушка побоялась: кто его знает, что там будет?

И по-негритянски черный Сталин стал жить за платяным шкафом, теперь уже совершенно не надеясь увидеть не только мировую социалистическую революцию, но и чужие прыщики на лице, и подвязки, поддерживающие дамские чулки.

Лицо его отныне оборотилось в бесперспективную глубину пыльной каморки, а гипсоволосый затылок стал немым укором, обращенным ко всем нам.





Но тут как раз заболела моя прабабушка, гордая пани Филиппович, Эмилия Фабиановна. Да так заболела, что уже не решалась самостоятельно пройти даже до туалета. Для нее приобрели детский горшок, уместив его как раз между платяным шкафом и Иосифом Виссарионовичем. Одним словом, присев в первый раз на горшок, она оказалась нос к носу с гением всех времен и народов, не оставляющим, как известно, своим гениальным попечением никого, нигде и никогда.

От такого соседства дела у нее сразу же не заладились. И пугающего черного Сталина отвернули от нее. И он вновь стал поглядывать в сторону жилой комнаты. Теперь прабабушка делала все свои дела спокойно и неторопливо, но находящиеся в комнате вновь стали поеживаться, дожидаясь, пока она не разрешит свои туалетные трудности и не взойдет на свою кровать. После чего — выносили горшок и поворачивали Сталина лицом в темноту.

Комнатный Иосиф Виссарионович был хоть и не бронзовый, и не гранитный, и не мраморный, однако все-таки тяжел. Ворочать его туда-сюда в зависимости от активности прабабушкиного кишечника надоедало. Тогда его попробовали просто-напросто накрывать простыней...

Садящаяся испугалась еще больше: ей стало казаться, что с нею рядом покойник, спрятанный от погребения. Метафорически говоря, так оно и было. Но когда сядишь на горшке — не до философских метафор.

Одним словом, однажды — я даже не заметил когда — Сталин навсегда исчез.

Возможно, это был самый политический поступок, который совершила в своей жизни моя бабушка: выбросить на помойку бюст вождя даже и для нее, жены репрессированного («Этого я *ему* никогда не прощу...»), было равносильно государственному перевороту.

Даже если уже прошел осуждающий, разоблачающий и развенчивающий XX съезд.

Даже если ничего никогда не решавшие, ничего не умевшие и мало что знавшие начальники среднего чиновничьего звена — представители власти на местах — уже перестали носить полувоенные френчи и кители, какие носил он.

...Тот гипсовый бюст подарили Лиде за отличные музыкальные успехи, чего от нее никто вовсе не ожидал. Даже ее отец, мой дед Юлиан, заметил, узнав, что ее тоже отводят в музыкальную школу:

— Ну, Галю — я понимаю... А эту-то зачем?

Галя играла на балалайке, а Лида тогда еще ни на чем.

Тем более что этот мой дед, бывший кавалерист, окончивший всего два класса сельской школы, уже полюбил демонстрировать своим товарищам, какие талантливые и по-городскому культурные у него дети.

Особенно — старшая, моя будущая мама.

Как только к нему приходили гости — пусть в вечер-за полночь, — он тут же поднимал с постели Галю, чтобы она выходила к ним и играла на подаренной ей балалайке. И она выходила и играла.

В ту ночь, когда пришли его арестовывать люди из НКВД, она, услышав голоса, вылезла из постели и в длинной ночной рубашке пошла к ним сама, вместе со своей балалайкой, не дожидаясь, пока ее позовут...

Здесь начинается совсем не книжная, не литературная история. И дальше в этом тексте не будет ни наркомов, ни командармов, без расстрела которых, говоря жестко, тридцать седьмой год не стал бы «тридцать седьмым». Словом, не «Дети Арбата».





Дальше пойдет рассказ об абсолютной статистической единице, жившей, однако, в моей семье. О таких я сейчас и не вспомню ни одного громкого, талантливо написанного романа. Возможно, что им и вообще никогда не быть, этим романам. По крайней мере, до какого-нибудь нового общественного пробуждения.

И понимал это, и видел сложившуюся житейскую да и литературную несправедливость талантливейший, но слишком мало в литературе поживший новосибирский прозаик Николай Самохин. У него именно об этом есть неуклюжие, но честные стихи.

Растиражированный щедро,  
Чтоб всем хватило — порыдать,  
И в хмарь осеннюю, и в ведро,  
Как Арарат, Арбат видать.  
С его на Набережной домом  
И москворецкою водой,  
С его Гоморрой и Содомом —  
Крутой наркомовской бедой.  
А между тем на Божьем свете, —  
Теперь уж ходоки в собес, —  
Сиротствуют другие дети —  
Арбатских сверстники повес.  
Когда-то супчик с лебедою  
(Арбатским детям не в упрек,  
С иною знавшимся бедою)  
Был их «наркомовский паек».  
И тараканные бараки,  
Давно ушедшие на слом,  
По горкам тем, где свищут раки,  
Был их «на Набережной дом».  
Кому ж они не угодили,  
Что из халуп, как из дворцов,  
Сибирской ночью уводили  
«Врагов народа» — их отцов?  
О них романов не нагонят,  
Написанные не прочтут.  
Ну, а прочтут — не растрезвонят,  
Судьба судьбой... чего уж тут?  
Да, впрочем, были те романы  
И вовсе не легли на дно.  
Про них не били в барабаны —  
И, может, к лучшему оно.  
Герои их живут. Удаче  
Чужой не смотрят жадно в рот...  
Они из тех, о ком не плачут.  
Они не дети... а народ.

В подобную статистику тихо и незаметно вошел тогда и мой дед. И я не хочу, чтоб сегодня он умирал снова и в моем, и в общем беспомытстве. И здесь я напишу о нем, начиная издалека...

## «Пожар в сапоге»

Между тем в доме на улице Революции в городе Новосибирске жила счастливая семья моей бабушки — Марии Дмитриевны Боровик. Счастливая оттого, что тогда еще была полна: был муж — Юлиан, были две дочери — Галя и Лида. Галя, как я уже писал, играла на балалайке, а отставной кавалерист Юлиан Боровик — на гитаре. И всем было хорошо, предпразднично. И даже еще была вместе с ними моя прабабушка, бабушкина мама — та самая пани Филиппович. Она любила порядок, строгость и чистоту. Медные желтые ручки в доме на улице Революции ее стараниями всегда парадно блестели. Блестели они и послепраздничной ноябрьской ночью того несчастного дня, когда за эти дверные ручки взялись чужие руки, чтобы без приглашения распахнуть двери и войти в квартиру, поскольку уже шел тот самый 1937 год.

Для Гали и Лиды он и начинался, и продолжался прекрасно. Каждый день их брали за руки и вели встречать торопящегося домой Юлиана Григорьевича.

А на Седьмое ноября он сам водил их на какой-то торжественный концерт, возможно — в актовый зал своей областной конторы РОКК (Российского общества Красного Креста), где со своим нищим образованием — двумя классами сельской школы — пытался достойно работать на любимую им советскую власть в строгой роли инспектора.

Перед торжественным собранием и потом, после концерта, к нему подходили и уважительно кланялись учрежденческие его товарищи, пожимали руку и давали девочкам по конфете. Праздник Великой Октябрьской социалистической революции, отмечаемый тогда в двадцатый, выходит, раз, был абсолютно его праздником, поскольку у власти, если верить газетам, были исключительно рабоче-крестьянские представители. А он всегда был из них, из крестьянских...

Родился в 1889 году в Белоруссии, в Виленской губернии Залесской волости Дисненского уезда деревне со странным названием — Грибло. Крестьяне-бедняки, его родители, жили, покряхтывая, мало чем умея помочь подрастающему парню и с образованием, и просто с едой... Сами ели ржаной хлеб с мякиной. Кстати сказать, «мякина» — это не фигура речи. Это то, что почти нельзя есть...

Кой-как перебивался и он с ними.

Когда же, по его уже вполне взрослому разумению, пришла та самая его власть, — подался наконец из дому.

В 1923 году служил в городе Минске на каких-то «21-х кавалерийских курсах».

В 1924—1925 там же, в Минске, дорос до казначея штаба 40-го кавалерийского полка 7-й Самарской дивизии.

В 1926-м был демобилизован с хорошей характеристикой от командования и, уже с семьей, переехал в Новосибирск и принялся трудиться в Сибирском отделении акционерного общества «Совкино» делопроизводителем, а чуть позже — завскладом.

Естественно, в армейских структурах было тогда как-то проще. И он опять, после пяти лет среднеответственной своей деятельности в плохо организованном «Совкино», потянулся к службе организованной.

В 1932 году поступил в Осоавиахим, где по разным отделам отслужил еще несколько лет. И отслужил так хорошо, что даже был премирован



виктролой\*, чем, возможно впервые, заслужил уважение своей тещи — строгой моей прабабушки Эмилии Фабиановны. Ведь, как ни крути, хотя уже и родились дети — Галя и Лида, а брак с солдатом, крестьянским сыном все-таки оставался мезальянсом.

Любовь любовью, а по-дореволюционному Мария считалась выше Юлиана. Была она дочерью податного инспектора Дмитрия Николаевича Филипповича, имевшего в отмененной революцией табели о рангах четырнадцатый класс — коллежского регистратора.

Кстати сказать, всего-то их и было — четырнадцать. И даже чтобы стать героем грустной песни, повествующей о неравноправной чиновничьей любви, — «Он был титулярный советник, она — генеральская дочь...» — следовало подрасти еще на несколько ступеней. Ведь титулярный советник — это уже девятый класс.

Впрочем, даже Пушкин по окончании лицея получил всего лишь десятый — коллежского секретаря...

Но что там ни говори, а все-таки Мария Филиппович из каких ни на есть, но — дворян. Он же — кавалерийским потом пропахший крестьянский сын. К тому же — насильственно к ним определенный на постой советской новой властью.

По такому несчастному случаю Эмилия Фабиановна передоверила соседям закрытый сундук с некоторыми не совсем приличными с точки зрения советской власти книгами и гимназическими Марусиными дневниками. А то вдруг попадутся на глаза рубаке-кавалеристу, не отвертисься.

За ним ведь, а не за ними стоит советская власть.

Попутно сказать, Марусю вообще побережь стоило. Ведь она сумела — не подозрительно ли? — с золотой медалью окончить в Новониколаевске, как раз когда там, в Сибири, гулял белый адмирал Колчак, вторую женскую гимназию «с распространением на нее (окончившую) прав и преимуществ, предоставленных ст. 396 прим. 12 п. 4 (по Прод. 1912 года), ст. 1463 прим. 5, прил. 3 (по Прод. 1912 г.) и ст. 2679, прим. 6, прил. 11 (по Прод. 1914 г.) т. XI ч. I. Св. Зак.».

Что это значило — сейчас не вспомнить.

Однако казначей из штаба мог заинтересоваться какими-то там *правами*, ведь явно не нашими они были, явно *колчаковскими* или же — что следует из синей казенной бумаги — *царскими*. И тогда — шашка из ножен!



**Мария Филиппович.**  
**В 1919 г. окончила с золотой медалью**  
**вторую Новониколаевскую женскую**  
**гимназию**

\* Что-то вроде стационарного проигрывателя.



Главным беспокойством, причиняемым постояльцем, были не его тяжелые сапоги, начерненные пахучею ваксой, но — его толстые папиросы и самокрутки из газет с портретами великих пролетарских вождей. В то время еще можно было, слегка поплевав, сворачивать из газетной бумаги потрескивающие при посасывании «козьи ножки». Позже сторевшая в обсосанной самокрутке голова запечатленного на газетной бумаге — как всегда, временного — гения могла стоять головы твоей собственной, настоящей.

Самокрутки Юлиан крутил и денно и нощно. Папиросами же пользовался в дни праздничные или же денежные; как знать, возможно, что они тогда входили в его довольствие. Все это добро синюшно дымило и заволакивало комнаты кислым дымом из-под дверей. Иногда засыпающий кавалерист тушил их о тумбочку, приставленную к кровати, а иногда не успевал, засыпая раньше, чем рука дотягивалась до тумбочки. Так и опустилась однажды недокуренная самокрутка на отдыхающие кавалерийские портянки, наполовину втиснутые в дремлющие возле кровати сапоги.

Загорелось не сразу, но основательно.

Юлиан тоже проснулся не тотчас, но только после того, как Эмилия Фабиановна, успев уже одеться и едва ли не причесаться, бегала с ведром и кружкой по комнате постояльца, уничтожая очаги возгорания — тлеющие останки кавалерийских портянок.

Только увидев веселящуюся Марусю, выглядывающую из-за занавески, он зашевелился по-настоящему...



Счастливая середина тридцатых: еще никто не арестован... В верхнем ряду слева: Мария Дмитриевна и ее муж Юлиан Григорьевич Боровик

Но страшнее пожара и собственных строевых кальсон ему показалась поэма «Пожар в сапоге», почти незамедлительно написанная бывшей гимназисткой Марусей Филиппович о том ночном случае.

Герой поэмы счел сатиру на себя не очень ехидной и поэтому очень талантливой; сам бы он так никогда и ни за что не написал, хотя и служил на 21-х кавалерийских курсах и дорос до казначея штаба 40-го кавалерийского полка 7-й Самарской дивизии.

Ну а поскольку выглядывавшая из-за занавески Маруся — в отличие от Эмилии Фабиановны — ни одеться как следует, ни причесаться не успела, ее косы до самого пояса и тонкие босые ноги поразили в ту ночь Юлиана сразу...

Кавалерист был повержен наземь, хотя Эмилия Фабиановна долгое время считала, что, наоборот, незаслуженно вознесен.

Но даже после того, как они поженились, Эмилия Фабиановна не сразу решила перетащить закрытый сундук с книгами и гимназическими Марусиными дневниками от соседей обратно. Впрочем, лучше бы она этого не делала: пришедшие однажды ночью за Юлианом конфисковали их безвозвратно. А странички эти были талантливы...

### «За мной ничего нет...»

Я долгое время не мог понять, почему же мой дед был тогда арестован. Ведь не политиком же он был, претендующим на властное наследство, не какой-нибудь Троцкий, Бухарин, Радек или же Пятаков. И не полководец вроде Тухачевского, Якира или Егорова, которые сами себя арестовывали и приговаривали по строгому порядку — один другого — к расстрелу... И не интеллигентом, смущающим умы. Он был всего лишь белорусским крестьянином с двумя классами сельской школы и какими-то своими кавалерийскими курсами, где наверняка не давали обширных знаний: крестьянин научался отличать саблю от шашки... Едва ли больше.

Ну и кому он угроза?

А оказалось — угроза...

Отчасти логика ареста открылась мне после прочтения, быть может, первых неказенных мемуаров в советской литературе — книги Ильи Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь». Эренбург говорит: «Взяли всех, у кого родственники были в Польше». А у кого из белорусов не нашлось бы тогда родственников в Польше? Да и сама Белоруссия своей западной окраиной была польской, значит, тем более нельзя было допустить никакого неподконтрольного обмена информацией. В конце тридцать седьмого как раз за такие связи и брали, хотя больше всего в уходящих и приходящих письмах наверняка было об урожае или неурожае картошки...

Юлиан всю переписывался со своим родным братом, живущим в этой самой Польше. И ночью, почти сразу же за ноябрьскими праздниками, забарабанили в двери на улице Революции, нетерпеливо дергая за матово-желтые, только что начищенные Эмилией Фабиановной дверные ручки.

Далее — как во всех мемуарных книгах.

Понятые. Выдернутые из комода на «осмотрение» ящики с бельем, книги и бумаги на полу — перешагнуть трудно, легче наступить.





**ПРОТОКОЛ ОБЫСКА** Форма № 4

1937 г. ноября 23 дня. Я Тарыгин Алексей Александрович  
 г. Новосибирск - 766 Сергей Гаврилович  
 на основании ордера Управления  
 НКВД за № 1577 произвел обыск у гр. Боровик  
Юлиана Григорьевича проживающего в Новосибирске  
 по ул. Революции дом № 3 кв. № 5  
 При производстве обыска присутствовали гр. гр. Яснопольская  
Екатерина Алексеевна

Согласно полученным указаниям задержаны гр. гр. Боровик  
Юлиан Григорьевич

Изыято для представления в Управление НКВД  
 следующее:

№ п. п.	Наименование изъятых	Количество	Вместительное состояние
1	Паспорт за № 107768	1	
2	Военный билет	1	
3	Других разных справок и документов	24	
4	Сберкнижка	1	
5	Черновик описи имущества	1	
6	Блокнот	1	
7	Копия автобиографии	1	
8	Фотокарточек	4	
9	Блокнот с записями	2	
10	Портсигар деревянный (слово «деревянный» зачеркнуто и сверху надписано новое — «серебряный»)	1	
11	Черновик биографии	1	
12	Тетрадь с записями	1	
13	Записка с адресом	1	
14	Разной переписки	36 шт.	
15	Малокалиберная винтовка за № 46558	1	
16	Противогаз за № 3163	1	
17	Малокалиберных патронов	150 шт.	

Сы на продажу вещей ценности и документов нет

В протоколе все занесено правильно, таковой нам прочитан, в чем подписываемся.

Представитель домоуправления  
 (в сельских местностях предств. сельск. совета) Яснопольская (подпись)  
 Производивший обыск Тарыгин (подпись)  
 Копию протокола получил Боровик (подпись)

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Все претензии и заявления должны быть внесены в протокол до его подписания. После подписи никакие жалобы и заявления не принимаются.  
 2. С запросами обращаться в 5 отд. УГБ НКВД по адресу Коммунистическая ул. № 69 ЗСК

а. № 942

### Протокол обыска в квартире № 5 дома № 3 по улице Революции

И «Протокол обыска — Форма № 4»:

1937 г. ноября 23 дня.

Я сержант Госбезопасности Тарыгин на основании ордера Управления НКВД за № 1577 произвел обыск у гр. Боровик Юлиана Григорьевича проживающего в Новосибирске по ул. Революции дом № 3 кв. № 5.

При производстве обыска присутствовали гр. гр. Яснопольская Екатерина Алексеевна.

Согласно полученных указаний задержаны гр. гр. Боровик Юлиан Григорьевич.

Изыято для представления в Управление НКВД следующее:

Опись вещей, ценностей, документов.

Наименование изъятых:

1. Паспорт за № 107768; 2. Военный билет — 1; 3. Других разных справок и документов — 24; 4. Сберкнижка — 1; 5. Черновик описи имущества; 6. Блокнот — 1; 7. Копия автобиографии — 1; 8. Фотокарточек — 4; 9. Блокнот с записями — 2; 10. Портсигар деревянный (слово «деревянный» зачеркнуто и сверху надписано новое — «серебряный». — А. У.) — 1; 11. Черновик биографии — 1; 12. Тетрадь с записями — 1; 13. Записка с адресом — 1; 14. Разной переписки — 36 шт.; 15. Малокалиберная винтовка за № 46558 — 1; 16. Противогаз за № 3163 — 1; 17. Малокалиберных патронов — 150 шт.

Жалобы на неправильности, допущенные при производстве обыска на пропажу вещей ценностей и документов — Нет.

В протоколе все занесено правильно, таковой нам прочитан, в чем подписываемся.

Представитель домоуправления

(в сельских местностях предств. сельск. совета) Яснопольская (подпись)

Производивший обыск

Тарыгин (подпись)

Копию протокола получил

Боровик (подпись)

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Все претензии и заявления должны быть внесены в протокол до его подписания. После подписи никакие жалобы и заявления не принимаются.

2. С запросами обращаться в 5 отд. УГБ НКВД по адресу Коммунистическая ул. № 69 ЗСК.

Вот такая совершенно излохматившаяся пожелтевшая бумажка хранится до сих пор в семейном архиве. Был человек — и нет. Остался плохо сохранившийся текст с невнятными буквами, вышедший из-под копирки. Да еще медные матово-желтые дверные ручки.

— Не волнуйся, за мной абсолютно ничего нет, — единственная фраза арестованного Юлиана, сказанная его жене, осталась для нашей памяти от навсегда уходящего человека.

## Улица Революции

В те годы, когда дорогу в школу каждое утро мне перегораживала автомобильная колонна с заключенными, я еще никак не связывал их, невидимых, с самим собою, с нашей семьей, а в конечном счете — и с большой историей страны, про которую нам отвлеченно твердили учебники.

Казалось, история — это то, что описано в книгах. В тех, в которых герои машут кривыми саблями, стреляют из неповоротливых пушек чугунными ядрами, скачут на лошадях и поднимают плотные паруса на фок-, грот- и бизань-мачтах...

Такая история интересна. А та, где описывают общину и барщину, движение каких-нибудь чартистов, «Бостонское чаепитие», желто-коричневый дым из труб, пущенный зарождающимся пролетариатом, бегущие друг за другом славословные партийные съезды, — скучна, отвлеченна и ничуть не увлекает. В любом случае она, эта история, понятие внешнее, абстрактное, книжное. Она — это не наша настоящая жизнь.

Настоящая — вот она, за окнами... Она чиста и понятна. В ней может быть мороз под сорок градусов и отморозенный нос или уши, вовремя не спрятанные под шапку-ушанку.

Она — ледяной, желеобразно струящийся через солнечное стекло морозный воздух, втягивающийся в твою комнату через распахнутую форточку.

Она — это предощущение весны.

Она — это и летний дождь, опрокидывающийся на тебя такой неожиданно плотной водяной массой, что кажется — кто-то сидящий на облаках перевернул не лейку, но целое громадное небесное ведро.

И это для тебя настоящее.

А еще — мама, отец. Да мало ли...

Всё это *настоящее*. И в этом — ты сам, настоящий.

А история...

Между тем я всякий день, оказывается, вплотную соприкасался с нею, держался за нее, дергал за ее медную холодность, вешал на нее пиджаки и рубахи...

Жил и не замечал, что первой моей реальной *историей*, неприметно втиснувшейся в жизнь, стали кочующие вместе с семьей из квартиры в квартиру тяжелые желтые дверные ручки из меди.

*Историей* они сделались, во-первых, потому, что сначала были привинчены на дверях почерневшего от времени деревянного новониколаевского купеческого дома. Потом рядом с этим домом протопала революция. И неопределенные люди дергали за них, выискивая саботажников. Потом под окнами дома проехали друг за другом сначала наступающие, потом отступающие колчаковские части. Потом затарахтели чихающие бензином грузовики новой, советской власти. И кто-то с бумагой от НКВД, пришедший от имени Ста-



лина, взялся за медную ручку своею рукою, чтобы открыть дверь и навсегда увести за собой моего деда...

Те памятные ручки перебрались сначала в барак «зоны», где стала жить повзрослевшая без отца Галя, будущая моя мама, потом в новую квартиру, которую в хрущевском кирпичном доме получил мой отец в 1957-м и куда моей бабушке принесли бумажки о посмертной реабилитации ее мужа Юлиана...

Слез не было. История забывала сама себя.

Дом № 3 с квартирой № 5, упомянутой в «Протоколе обыска», стоял на своем месте еще очень долго. Улица тоже не стала другою, по-прежнему называться улицей Революции. А я будто бы до сих пор живу там. Исторический, вечно продолжающийся сквозняк втягивает меня в пустоту этих черно-бревенчатых стен с такой непонятною силой, что с нею никак нельзя справиться.

Кажется, американский писатель Генри Джеймс написал, что необходимо много истории, чтобы получилось немного литературы.

Пусть так. Тем более что нашей советской, русской истории уж куда как много...

Но почему-то очень не хочется, чтобы *такая* история вдруг превращалась в «литературу», вежливо завершающую тему.



---

## МАСТЕРОВОЕ СЛОВО

*Беседа с писателем Михаилом Тарковским\**

— *Правильно ли разговор о русском языке сегодня сводить к проблеме иностранных заимствований?*

— И правильно и нет, потому что заимствования были и во времена подъема русской государственности. Сейчас ситуация особая, и эти заимствования беспокоят уже не сами по себе, а как одна из форм натиска на русский мир, попытка замены духовного базиса нашего народа.

Приведу дословно учебный план, висящий на стене одного из элитных детских садов города Липецка:

1. Внедрение новых технологий обучения.
2. Программа «Мир открытий».
3. Обучение грамоте: формировать элементарную лингвистическую и культуроведческую грамотность.
4. Развитие логического и творческого мышления с использованием развивающих игр в воспитательном и образовательном процессе.
5. Обучение английскому языку и приобщение детей к культурным ценностям англоговорящих народов — иноязычной культуре.
6. Элементарные математические представления.
7. Элементарные естественнонаучные представления.

О России и родном языке ни слова (если не считать чего-то, обозначенного как «элементарная лингвистическая и культуроведческая грамотность»). Я хотел этот план поставить эпитафией к новой повести, но потом раздумал, так как он слишком лобовой и раньше времени раскрывает тему произведения. Тем не менее некоторыми мыслями из новой книги я поделюсь. Нынче под технологическим предлогом вводятся иностранные слова, которые выражают цивилизационные коды, русскому пространству не свойственные. К примеру, сама по себе папка для хранения бумаг как явление — выеденного яйца не стоит, но, однако же, ее нарекли именем «файл», таким чистеньким, по-своему эффективным и вызывающим целый ряд ассоциаций: за «файлом» обязательно волочится «офис», «степлер», «менеджмент» и прочий джентльменский набор... То есть это такой насильно вводимый в нашу жизнь дух, который ничего ни интересного, ни созидательного в себе не несет, а просто обслуживает довольно бесполезную прослойку приказчицкого толка, являющуюся ничтожным приложением к настоящей жизни, и трудовой, и творческой. И именно чтобы оправдать ее ничтожность и вводятся эти чужеродные слова, которые падкая на упаковку молодежь принимает слишком близко к сердцу.

---

\* Интервью продолжает тему о судьбе русского языка, обсуждавшуюся на прошедшем в конце 2015 г. в Новосибирске «круглом столе» (см. «Сибирские огни», 2016, № 4).

Живая природа слова наглядно проговаривается об этом: например, что такое «менеджер», повально вытесняющий традиционный для России «управляющего»? Отличие «менеджера» от «управляющего», несмотря на «юридическую» тождественность, в том, что это слово является проводником духа бизнеса, зарабатывания денег. Мотивация при обучении менеджеров — личное обогащение, а не управление в его исконном смысле. Вдумаемся, что такое управление? К примеру, управление судном — это навигация, выбор направления, пути. Ответственность...

Чем отличается слово «администрация» от привычного русскому уху «правительства»? «Администрация» несет оттенок некой сугубо формальной и демонстративно заниженной роли государства, милостиво предоставляющего личности свободный выбор. «Правительство» же предполагает именно правление страной и народом, управление (однокоренные слова: правота, правда, правило). Некое опережающее знание о пути и ответственность за этот путь. Словом, все то, что испокон веков было свойственно русской имперской традиции.

*— Где-то на просторах Интернета встретил утверждение, что русский язык создан для того, чтобы говорить правду, а английский — чтоб обманывать. Наивное упрощение, конечно, да еще и с изрядной долей самохвальства, но я понимаю автора этого «открытия». Что-то подобное испытывал и сам в студенческие годы, правда, английский тогда не был столь вездесущ и речь шла не о нем. Но я установил железную закономерность: чем меньше в научном труде собственно содержания, тем больше латинизированной наукообразной лексики вроде «коммуникативной функции» или какой-нибудь «принципиальной амбивалентности». Так вот, не кажется ли тебе, что современный англосленг — это не столько навязывание чуждого образа мыслей, сколько маскировка отсутствия этих самых мыслей?*

— Ты знаешь, вопрос не совсем корректный, поскольку чужая политическая воля и маскировка чьей-то глупости — вещи несопоставимые. А с другой стороны, человеческая недалекость — это одно из обстоятельств, с удовольствием используемых нашими политическими противниками в своих целях. Но ты заглянул в самый корень дела: происходящее с Россией — это что? Злая воля наших врагов или следствие собственной нерадивости? Отношение к этому вопросу и является линией раздела нынешних патриотов и либералов, продолжающих спор славянофилов и западников, с той лишь разницей, что если в царской России участники диалога были плотью одного философского процесса и могли мирно общаться в нелитературной жизни, то теперь ряд представителей либерального крыла переходит черту и оказывается среди политических врагов отечества. Независимо от устремлений текущей власти.

Поэтому вопрос этот скорее философский и мировоззренческий, не имеющий мгновенно-простейшего ответа. Процессы влияния одних держав на другие предполагают любые средства: и работа с идеологическими сторонниками внутри интересующей страны, с так называемой «пятой колонной», и использование ее слабых мест, таких как, допустим, равнодушие граждан. Но главным является вектор, заданный мировым процессом и теми, кто его возглавляет, потому что, манипулируя внутривнутриполитическим курсом, можно то же равнодушие и другие качества человека усиливать и ослаблять именно так, как этого требует твоя задача. И по большому счету важнее всего — как именно ты ко всему этому

относишься. А когда слышишь весь этот инновационный набор, конечно, возникает ощущение подмены и имитации деятельности, выгодной всем участникам происходящего — и набивающим карманы внутри России, и режиссирующим историю за ее пределами. Конечно, тотальным проникновением всяких «блинхрендингов» мы обязаны еще и низкому уровню развития населения, точнее некоторых его кругов, напрочь оторванных от корней культурных и национальных. Но в конечном-то итоге именно отмена идеологии в нашей стране привела к такому положению дел. То есть причина все-таки политическая.

— Мы часто говорим о корнях, но применительно к языку — это не метафора, а точный термин. Получается, что русское слово предпочтительнее именно потому, что за ним мы сразу видим ряд сопоставлений, смежных значений? Всякому понятно: *управляешь* — значит, *будь добр, указывай направление и делай это правильно*. А с менеджера — и *взятки гладки*?

— Вопрос не стоит о каком-либо сравнении: предпочтительней русское или англосаксонское. Это и так понятно. От каждого слова вглубь веков тянутся нити смыслов, наполняющих язык содержанием. И если не убережем язык — останемся окруженными словами-инвалидами с ампутированными конечностями, превратимся в одну огромную культю и так и будем доковыливать на иностранных протезах.

Некоторые считают, что если появилось новое слово, то оно, несомненно, нужно, потому что открывает еще один оттенок, еще одно уточнение, для которого всегда, кстати, найдется повод, так как предела уточнению нет. Однако язык хоть и наш хранитель, но существо настолько доброе и наивное, что если за ним не ухаживать, то он моментально зарастает дурниной, как покос... Хотя навязывается теория, что пусть зарастает. Так говорят люди, которым либо чем-то мешают наш покос, либо они им не дорожат и относятся потребительски. Но покос — это не лужайка с ларьками и газировкой. Это коровы, живые, теплые. А если так пойдет, то нам и припасть-то не к чему будет в минуту тоски по молоку. Так вот, есть свойство слов расступаться по доброте и пускать новое слово... Но это не говорит о нужности втиснувшегося слова. Как брусника в воде плавает: можно сыпануть горстку, сыпануть другую — и ягоды все равно расступятся. Поэтому дополнять язык можно до бесконечности и всегда будет казаться, что у нового слова чуть другой оттенок. А другой он почему? Да по самой природе слова — у каждого слова неповторимый облик, звучание, окраска. Как человек... людей же нет одинаковых.

Особенно на Енисее. Самое удивительное, что на берегах Енисея, да и на других старинных и заповедных берегах, у каждого человека еще совсем недавно был абсолютно собственный языковой строй. Своя манера образовывать слова, давать им свою жизнь и окраску. Со своим односельчанином Анатолием Семёновичем Хохловым разговорился как-то про березовые заготовки для полозьев. Дядя Толя сказал, что вообще береза «кать имеет хорошую», если только не «вертлявая». «Кать» — он произвел от слова «катиться». А витую (свилеватую) березу назвал вертлявой, будто она вертится (под топором, допустим). С глаголом «катиться» связан еще один термин: «некать» — шершавое состояние снега (в сильный мороз), не позволяющее катиться полозьям и лыжам. Образовано по тому же принципу, что и небыль, нетель, нерусь. Просто, кратко, емко.

— *Мастеровой человек: задумав сделать сани, он идет в лес, выбирает подходящие жерди, потом как надо их обтешет и приладит на место. И точно так же со словом: взял нужное, слегка подтесал и соорудил фразу. Без щелей и люфтов! Он и сам не осознал: слышал ли когда от кого про эту «кать» или она у него прямо «под пером» родилась.*

— Полностью согласен! Она у него под сердцем жила — эта «кать» и «не-кать». Почти у каждого енисейского старика была своя личная дорога в языке. Причем взаимоотношения с грамотностью могли быть обратными: чем слабей грамотность, тем поразительней языковое творчество. Несомненно, одно с другим связано. Грамотность порой блокирует творческое речевое начало. Вспоминаю моего соседа дядю Гришу, царствие ему небесное. Григорий Трофимович Попов без «батюшки Анисея» себя не мыслил. Единственная поездка в город стала для него страшным испытанием. Он жил рекой — вслушивался, всматривался, вчувствовался в Енисей, каждое его дыхание ловил-переживал. Был ему Енисей как огромный термометр-барометр всей жизни, да оно и понятно: рыбак есть рыбак... Вечная зависимость от погоды у огромной воды. «Запад ли верховка (южный ветер) задует?» «Что вода делает — прибывает или падает?» То на «прибылую воду» сети «плесенью забьет», то «сивер так закатат», что на другой берег не перебраться. Как-то он сказал (речь зашла про Красноярск), что «город-то ране в Енисейска был». Город для него существовал с большой буквы — образ центра, енисейской столицы — независимо от названия. Или есть такое понятие «крень». Это особо плотная и смолистая древесина с одного бока дерева. Ее избегают при выборе лесины на изделие. Дядя Гриша высказал по этому поводу собственное мнение: что раньше делали из креновой стороны елки полозья для нарт, что к такому полозу не «подлипат» снег, что он катится отлично и что вообще настолько кристаллически-крепка эта самая крень — что «дас топором — как соль отлетат!» Чего тут больше — практической правды или поэзии, я не знаю.

— *Ведем разговор о языке, а ты все «на личности» переходишь!*

— Так ведь иначе никак! Это не то безликое слово, которое сыплется на нас из телевизора и которое может произносить кто угодно! И хуже всего, что традиция живого образного языка утрачивается и в литературе. Я вижу много рукописей. Начинающие писатели забыли о существовании русского художественного слова, такое ощущение, что они давно не читали Астафьева и не помнят о том, как слово дышит, как говорит звуками, запахами и красками. В большинстве рукописей идет сценарий, некое журналистское описание событий. А читатель должен сам, как режиссер, *поставить* происходящее, раскрасить, записать звук, заставить действующих лиц работать выразительно, потому что автор от этого всего полностью устранился. Художественное слово превратилось в *текст*. Да еще и написанный на языке гаишного протокола или инструкции. Приведу пример. Помню фразу: «Мария Ивановна взяла в руки кусок плотной и крепкой ткани». Не рогожки, не дерюжки и даже не флиса какого-нибудь. Нет. Очень похоже на: «Взяв кусок плотной ткани, тщательно обезжирьте и нанесите на него слой клея...»

Поэтому о словечках и речевых оборотах своих земляков я могу говорить бесконечно. И писал уже об этом, но не грех и повториться. На Енисее, как

и в остальной Сибири, сильна поморская, северорусская составляющая языка. Как и в Архангельской, Вологодской областях, проглатывают-подрубают окончания глаголов: «бывает», «заедат», «токо громоток делат». Ветра здесь называют кратко: «север», «запад», причем обязательно по-старинному: «сивер». «Угором» зовут высокий берег по-над рекой. На угорах стоят деревни. Сибирский говор — это обязательно вместо «чего» — «ково». «Ково ревешь?» «Реветь» — кричать, звать. («Пореви меня по рации»). «Знатьё» — «знать бы заранее». («Кабы знатьё — дак...») Вместо «желтый» сибиряк скажет «с желта», вместо «вроде» — «подвид». («Блесна... на подвид битюра» — В. М. Шукшин.) «Шайть» означает медленно гореть, тлеть. Шаят всегда сырые дрова. Какая звукопись! Так и слышится шипенье капель на торце мокрого полена.

А вот удивительное выражение, которое я слышал только на Енисее: «грезить». Оно вовсе не из высокого штиля: грезы и мечты здесь ни при чем. Грезить — это безобразничать, «зорить», бедокурить. «Росомага (росомаха) нагрезила». Значит, росомаха разорила ловушки, сняла приваду и сожрала попавшихся соболей. «От (вот) греза!» — так могут ласково сказать про нашкодившего ребенка.

Замечательное слово «быстерь» означает быстрину на реке. «Провьянтом» моя соседка называла боеприпасы — порох, гильзы, капсулы, пыжи. Удивительно старинным духом веет от этого оборота! А вот закупать продукты называется «снабжаться». В этом «снабжении» — большая капитальная закупка, деревянная лодка, полная мешков с мукой, всякого товара. Снабжаются на промысловую охоту, на долгую зиму. «Виска» — это протока (между озером и рекой). Очень мне нравится «пальник» — тетерев-косач (паленый, то есть черный).

Масса слов связана на Енисее с мастеровой культурой. С предметами быта, охотничьего промысла, рыбной ловли. «Шарга» — расслоенные на плоские волокна стволики черемухи, которые использовались для плетения и скрепления различных частей снаряжения. «Гартъё» — кедровая щепка, из которой делали морды (ловушки на «животь» — мелкую рыбешку, живца).

В русском языке окраску однокоренным словам придают многочисленные суффиксы, приставки и окончания. И оказывается, у одного слова они остались, а у другого незаслуженно забылись, стерлись. Множественное число от слова «дерево» — «деревья» звучит привычно, а вот «колесья» — уже по-старинному. На Енисее такое словообразование в порядке вещей. Старики говорят: «Поднял капканья», то есть «насторожился» — тоже, кстати, особое выражение! Насторожил капканы. Точно так же брат Григория Трофимовича дядя Петя пожаловался, что «на Красноярска нету-ка билетьев нисколь». Соседка Серафима Ильинична Никифорова однажды сказала, что в магазин «привезли спагетья». Насколько сильны у этих людей были правила жизни языка! Они и новые слова гнули по-старинному. Так енисейские старики учат нас помнить старинные языковые скрепы, будто черемуховой шаргой сшивают понятия, людей, эпохи. И стыдно за современное состояние языка. За повсеместное надругательство над ним — начиная с всевозможных «фандрайзингов» и заканчивая целой «креативной» кухней названия коммерческих товаров заморской рецептуры — всяких «дьяносов» и «вкусноффых», за которые горе-словотворцам впору «ремнеффа» прописывать...

— Но ведь и вправду надо что-то делать? Можно, конечно, пометать, что когда-нибудь действительно станут наказывать за нанесение тяжкого урона русскому языку...

— Обязанность и государства, и гражданина — проявлять особенное внимание, строгость и ответственность в отношении к языку и понимать, что стоит за словом вообще. Наш язык понес огромные потери после преступного упрощения его в 1917 году. Всем известно, что до реформы в нашем языке было 36 букв, а в «классической» старославянской кириллице — вовсе 43. Уничтожение каждой буквы — это потеря языкового оттенка. Прimitивный язык приводит к примитивному мышлению. Упрощение языка — путь к национальной деградации, хотя именно упрощение и объявлялось главной целью данной реформы. Введение «алфавита» вместо «азбуки» — это посягательство на сакральную сущность языка. Вспомним, что за каждой буквой азбуки стояли важнейшие смысловые материи: аз — я, буки — буквы (боги), веда (ведать), а дальше и объяснять не надо: добро, есть, жизнь... И если взглянуть в древнерусскую, старославянскую и церковнославянскую языковую глыбу, то так и замрешь, замороженный огромными возможностями, которые упускались при каждом упрощении. Удивительно, почему в школах не изучают старую азбуку (хотя почему-то изучение так называемых мертвых языков считается неизблемой составной частью классического образования): такое обращение к прошлому было бы очень полезно. Великой школой и сокровищницей русского языка является наша литература. Пушкин, Гоголь, Толстой, Лесков, Бунин. Из писателей последней эпохи — Астафьев и Распутин. Все эти мастера чувствовали животворную роль народного языка и питались его родниками. И в наши дни именно язык русских деревень еще противостоит технологической атаке, которой подвергаются города, где сотнями вводятся безо всякого контроля чужеродные слова.

Русская деревня — это та заповедная территория, где еще жив русский язык как носитель национального духа. И, конечно, самые глубинные и нетронутые места — это Сибирь и ее наиболее удаленные уголки. Здесь в поселках, деревнях, станках еще звучит речь русского времени, здесь люди общаются на богатом и гибком языке... Но долго ли это продлится?

Поэтому «что делать?» — хороший вопрос. При существующем курсе надежды на понимание чиновниками опасности происходящего нет. Наоборот, реформация русской жизни ведется целенаправленно и неумолимо. И это значит, что от нас инициативы должны исходить и ответственность тоже лежит на нас.

Я не призываю запретить изучение иностранных языков. Наоборот, нужно, чтобы наши дети их знали и не повторяли иностранные слова как свои родные. А даже наоборот — чтобы эти слова *продолжали звучать по-иностранному*. Во всем своем своеобразии! Я даже за то, чтобы иностранные слова писались по-иностранному и не притворялись русскими. Чтобы любой школьник мог перевести слово «супермаркет» на русский — и вспомнить, что оно английское, и отделить русское от иностранного. А это значит — вернуть России русское слово!

Беседовал **Михаил Косарев**



---

Николай ЗАЙКОВ

## КАК ФАМИЛИЯ У ВОВКИ ГУРКИНА?

### Последняя встреча

С Вовкой Гуркиным мы росли в одном дворе. Я так панибратски говорю — Вовка Гуркин, — потому что взрослого Владимира Павловича Гуркина, замечательного актера, режиссера и драматурга, автора сценария культового фильма «Любовь и голуби», я не знал.

После детских лет в славном городе Черемхово судьба развела нас по разным дорогам. Последний раз мы виделись с ним поздней осенью 1970 г. на узкой тропинке через болотце, по которой все ходили с нашего околотка к железнодорожному вокзалу и назад — километра три, наверное, или четыре. Это была кратчайшая дорога — прямая; автобусных маршрутов, к слову, от нашей ул. Тургенева до вокзала не существовало. Болотце на середине пути образовывала речка Черемшанка. В тот день, помню, вода подмерзла, посверкивал хрупкий ледок.

Гуркину тогда исполнилось 19 лет, он оканчивал театральное училище в Иркутске. Мне шел восемнадцатый год, и я только что поступил в Иркутский государственный университет, чему Владимир чрезвычайно обрадовался: слишком мало ребят с нашего двора, скажем так, продолжали образование после школы...

Мы давно не виделись: его семья переехала — прикупила неказистый домик на соседней ул. Гастелло, да и большую часть времени в ту пору он проводил в Иркутске; оба спешили — я на электричку, а Гуркин домой после трехчасовой маеты в вагоне. Разговор вышел эмоциональный и короткий. «Пока!» — «Пока!» — мы пожали руки и расстались. Думалось — на время, оказалось — навсегда. Больше мы никогда не встретились.

После училища его призвали в армию, потом он служил в разных театрах, а я в последний раз побывал в Черемхове в 1973 г. проездом из студенческого строительного отряда; вскоре перевелся в НГУ, и Новосибирск стал для меня вторым родным городом.

Гуркин не раз приезжал в Новосибирск по своим театральным делам, я легко мог его отыскать в гостинице, но не сделал этого, о чем теперь, конечно, жалею. Отчасти стеснялся: после вышедшего на экраны в 1985 г. фильма «Любовь и голуби» он стал знаменит, а я работал в обычной городской газете «Вечерний Новосибирск»; отчасти я страшился этой встречи: слишком дороги были для меня воспоминания о детстве, уверен — и для него тоже. Я все думал:

вот кончится рабочая нервоотрепка, появится свободное время, позвоню ему, съезжу в Москву...

Когда я освободился от ежедневной газетной гонки, пришел в себя, собрался с мыслями — Владимир Павлович Гуркин умер. От рака легкого летом 2010 г. на 59-м году жизни.

## Наш двор

Итак, мы жили в самом шахтерском из всех шахтерских городков советской эпохи — в Черемхове; на ул. Тургенева наша семья переехала в 1963 г., а Гуркины лет на пять раньше. Вдоль этой улицы стояли двухэтажные дома, но их называли бараками. Они сейчас в аварийном состоянии да и тогда элитными не считались: один подъезд, восемь квартир — четыре на первом этаже, четыре на втором.

Водопровод, центральное отопление и канализация отсутствовали. Воду носили ведрами из общей колонки: девчонки и женщины на коромыслах, мальчишки и мужчины — в руках. В коридорах обычно стояли громадные алюминиевые или эмалированные баки для воды, и частенько потный малолетний «крендель» залетал с улицы, жадно глотал холодную воду из ковша и убежал снова. Часто пили прямо из колонки, хватая губами упругую струю.

Еду готовили на печке, отопление тоже было печное: одна печь находилась в кухне, другая (как бы вмонтированная в стену), так называемая «голландка», — у входа в квартиру. Углем жителей снабжала шахта «Объединенная», где работали почти все мужчины нашей улицы; уголь «выписывали», то есть выдавали по заявлению всем бесплатно или за какие-то символические вычеты из зарплаты — на дворе стоял социализм. Никогда больше я не видывал такого



Возле нашего дома. Только без нас — мы с Вовкой уже уехали учиться. Но еще несколько лет назад мы ничем не отличались от этих пацанов



чудесного угля, как в детстве, в железном ящике у собственной печи: зеркальные грани антрацита, казалось, раскидывали вокруг солнечные зайчики.

Туалеты представляли собой типичные узкие помещения, вместо унитазов в них соорудили деревянные стульчаки с крышккой. Рядом с домом имелась громадная выгребная яма. В определенное время приезжала ассенизаторская машина, мужики при помощи мата и лома вскрывали зловонную преисподнюю, опускали в нее толстую гофрированную кишку, выкачивали нечистоты, и сопутствующие ароматы разгоняли все живое в округе.

...Вовка Гуркин жил в доме № 9 на втором этаже, я — в соседнем доме № 7 на первом этаже.

Асфальт покрывал ул. Тургенева до половины: там, где кончался асфальт, начинался частный сектор, а в самом конце улицы стояли корпуса мясокомбината, далее — чистое поле и проселочные дороги. Со стороны мясокомбината на улицу наплывали иногда специфические запахи; со стороны шахты в изобилии летела угольная пыль; из труб поднималась сажа. Белые простыни на нашей улице не водились — уже после первой стирки и сушки на свежем воздухе они приобретали сероватый оттенок. По этой причине хозяйки предпочитали покупать цветное постельное белье, желательное с цветочками и узорами.

Проезжую часть улицы отделяли от бараков плотные полосы акации. В мае и начале лета кустарник одевался в желтые кипы цветов, а в июле и августе во множестве появлялись упругие стручки, похожие на горох, однако несъедобные. Естественно, вся малышня изготавливала из них свистульки, и ул. Тургенева пела и гудела на все голоса. При игре в прятки или в казаки-разбойники живая изгородь акации служила надежной защитой. А между рядами кустарника и стенами домов пролегал тротуар — деревянный, приподнятый над землей; он спасал пешеходов от привычной грязи, а зимой от снега.

В фильме «Любовь и голуби» показаны подобные деревянные настилы.

Досок на шахте, по-моему, не считали (социализм!) — прогнившие быстро заменяли новыми. Никто тротуар не ломал на дрова; при нужде любой мог пойти на склад и взять столько досок, сколько унесешь.

Например, мы, местная шпана, обожали строить «штабы». Собиралась компания из пяти-шести пацанов и шла гуртом на склад, который находился на территории шахты, а в заборе имелась дыра — и не одна! Склад впечатлял — горы бревен (родители строго запрещали по ним лазать, могло придавить насмерть), стройные прямоугольники делового леса, россыпи горбыля. Все это требовалось для укрепления штреков, штолен, забоев и прочего. Нас интересовал горбыль — крайние при распиле доски, выпуклые с одной стороны. Мы протискивали в дыры забора каждый свою горбылину, вылезали, приспособливали доску на поясницу, вроде крыльев — параллельно земле, обхватывали добычу сзади руками и караваном, согнувшись от тяжести, шествовали в свой двор. Никто нас не останавливал. Сторож на складе, наверное, где-то был, но умело скрывался...

А во дворе начиналась стройка! Прочный забор отделял наш двор от соседнего; это ограждение выполняло роль естественной опоры; три другие стены мы возводили из притащенных досок. Иногда приходилось полдня потратить на их доставку. Зато потом ребяшня вальяжно валялась на траве в укрытии; болтали о чем угодно, следили в щели за событиями во дворе. С наступлением осени взрослые разбирали наши строения на растопку.



Любимой игрой в нашем дворе, без сомнения, признавалась лапта. Участвовали все желающие от мала до велика, в том числе и взрослые молодые мужики.

... Теплый, ласковый вечер. Худощавый верткий цыганенок (или татарченок?), прибежавший на игру с другого конца улицы, подкидывает гуттаперчевый мячик; здоровенный старшекласник со всей силушки машет дубиной — и машет: вместо мячика палка находит голову цыганенка. Раздается тупой страшный звук: хрруш!

Впечатление, что череп мальчишки лопнул и сейчас развалится, как арбуз. Воцаряется тишина — игроки в ужасе. Цыганенок хватается обеими руками за ягодицы, слегка приседает и пронзительно визжит, подняв лицо к небу. Не дает осмотреть разодранное ухо и вопит как оглашенный. Бледный Вовка Гуркин стоит в толпе рядом со мной. Брови нахмурены. Спрашиваю:

— Чего он ухватился за задницу-то? Ударили-то по голове.

— Так это... болевые рецепторы у него там. Когда лупят ремнем по заду — больно голове. Когда бьют по голове — больно седалищу: рецепторы такие.

Не сразу до меня дошло, что Гуркин шуткой пытается скрыть, замаять чувство сострадания, которое в нем всегда жило близко к поверхности. А с парнишкой ничего не случилось, минут через пятнадцать он снова бегал как ни в чем не бывало.

Другой случай. Во дворе часто играли в волейбол; сетку натягивали на вкопанные столбы. Однажды затеяли жмурки. Развеселились отчаянно! Пришла моя очередь «голить»; мне завязали глаза, и я принялся ловить сотоварищей. Хохот, визг, дразнилки. Я раззадорился не в меру, носился как угорелый, однако руки хватали пустоту и только пустоту. Кинувшись обрадованно на чей-то вскрик, я влетел лбом в один из столбов. Столб зазвенел медным колоколом. В небе вспыхнули звезды — весь Млечный Путь, и я рухнул в бездну. Очнулся — Вовка Гуркин держит медный пятак на моем лбу, говорит тревожно:

— Не шевелись! Если сотрясение мозга, шевелиться нельзя.

Вовкина мать работала по медицинской части — я послушался; лежу с пятак на лбу, смотрю на звезды; Вовка не подпускает ко мне никого. Встал я лишь тогда, когда погасла галактика и замолчал колокол. Рассказал дома, родители одобрили, молодец, мол, что лежал смирно, голова-то не болит? Не, говорю, это же кость...

## Особый мальчик

Вовка Гуркин отличался от нас, выделялся среди крикливой и шкодливой пацанвы. Помню летнее утро: потягиваясь, я валялся в постели, планируя наступивший день, и вдруг задумался: «А как фамилия у Вовкигуркина?» Этот простой вопрос меня сильно озадачил. Разумеется, я знал имена и фамилии всех приятелей и легко переводил их прозвища на «светский» язык. Но как фамилия у Вовкигуркина?

Мне понадобилось сделать над собой некоторое усилие, чтобы расчленить прозвище: его фамилия — Гуркин, а Вовка — имя. Других мальчишек звали по именам: Васька, Алик, Колька. Или сокращали фамилию и делали из нее прозвище: Чиря, Висляй, Дроздик. А Вовку Гуркина в нашей компании так и звали — Вовкагуркин, в одно слово, причем не только ребята, но и наши родители.



Не просто по имени — слишком фамильярно, не просто по фамилии — слишком официально, а именно вот так, слитным словосочетанием.

Он всегда опрятно одевался; был аккуратным мальчиком со светлой кожей и волнистыми русыми волосами; не помню, чтобы он хулиганил, сквернословил. Никогда не бродил по двору с кусками; нельзя сказать, что шахтерские дети были вечно голодны, но нельзя сказать и обратное; просьба вроде «сорок восемь — половинку просим» или «дай откусить» звучала привычно, но никогда — из уст Вовки Гуркина. Представьте себе чумазию, часто сопливую ком-пашку в грязных штанах — и этакого интеллигента в ее рядах.

В его комнате вымытый пол блестел, а на круглом столе, на радиоле, на баяне уютно покоились вышитые салфеточки. Баян вообще восхищал экзотической неуместностью в нашем примитивном быту.

В играх Вовка не лез в первые ряды, держался в тени; например, мог бы претендовать на роль лучшего мушкетера, поскольку был старшим в нашей компании, но скромно предлагал: «Лучше буду кардиналом Ришелье». В результате мы нещадно бегали, отважно сражались, скакали по двору на «лошадях», при мнимых ранениях и убийствах страдальчески восклицали что-то вроде «каналья» или «тысяча чертей», а Вовка Гуркин сидел в штабе и «режиссировал» игру. Думаю, что в детстве так своеобразно в нем проявлялся актерский талант: он умел смотреть на себя со стороны, видеть себя глазами публики, чужими глазами; и стеснялся — понимал, что не сумеет достойно сыграть д'Артаньяна, потому и не брался за столь энергичную роль. Мы же не играли роли, мы развлекались и не думали, что среди нас растет театральный человек.

Такая еще есть история: на задворках магазина хранились ящики, бочки и прочая тара, которая нас очень интересовала. По малолетству мы считали, что если ящик пустой, то он никому не нужен. Среди прочего добра имелись превосходные бочки — полметра высотой, из крепкой многослойной фанеры. В них, видимо, привозили в магазин какие-то сыпучие продукты, и привозили издалека. Без задней мысли мы, мальчишки, перелезали через забор и перекидывали пару-тройку чудесных бочонков — никто ни разу нас не погнал, не обругал «за хищение социалистической собственности».

У себя во дворе мы снимали обручи, и бочки распадались на несколько гнутых щитов — настоящее рыцарское снаряжение! Оставалось приделать изнутри ручку и украсить внешнюю часть щита гербом; для этого использовались обычные акварельные краски; порой уходил целый день на маевание драконов, орлов и молний. Но дело того стоило: наш рыцарский отряд выглядел ужасно воинственно и грозно.

Из этих бочек мы строили еще и одноместные лодочки. Как раз за ул. Гастелло Черемшанка в очередной раз устраивалась на отдых, образуя то ли небольшое озерко, то ли болото — это зависело от дождей или засухи. Лодочки выдерживали вес не более одного мальчишки и часто погружались на дно посреди водоема. Он был так мелок, что бедолага хватал за нос аварийный корабль и тащил его к берегу, ступая по дну и разгоняя зеленую тину. Ни один взрослый в вонючую воду не лез, только мы — шпана от 9 до 12 лет.

Однажды мы решили соорудить из нескольких бочек подводную лодку. С перископом. И Гуркин участвовал — мы с ним изобретали систему дыхания.





Увы, субмарина получилась слишком тесной, устроиться в ней никто не сумел, да и плотно замазать щели битумом не удалось, поэтому мы ее даже испытывать на водах не стали.

В 1964 г. русские ученые Басов и Прохоров получили Нобелевскую премию за изобретение лазера. В журнале «Техника — молодежи» я прочитал об их удивительном открытии, посмотрел схему лазера. И решил построить подобный прибор. Главным рабочим элементом в лазере служили кристаллы рубина. Но где взять алый яхонт? Шахтерские женщины перстней с ламами не носили, разве что замытые серебряные колючки, обручальные, часто доставшиеся от бабушек.

Под руку мне попала игрушка — калейдоскоп; я развинтил его и с горстью цветных стекляшек, с журналом явился к Вовке Гуркину — изготавливать лазер. Другим приятелям в этом деле я не доверял. Он слегка оторопел, покатав на ладони стекляшки и серьезно спросил:

— А где ты добыл самоцветы?

— В калейдоскопе.

— А энергия?

— Фонарик примастырим!

— Не годится, — сказал Вовка Гуркин. — В журнале нет подробностей. А вот я читал книжку «Гиперболоид инженера Гарина» — в ней детальное описание этой штуки. Ты сначала книгу прочитай, а потом строить начнем.

В тот же день я взял в шахтерской библиотеке (к слову, очень богатой) роман Алексея Толстого. С «Гиперболоида инженера Гарина» и началась моя любовь к фантастике.

...А лазер мы так и не построили. Вместо него получилась отличная кормушка для птиц.

## Голубиные забавы

Наш двор с одной стороны ограничивал забор — как раз у моего дома № 7, а в другую сторону двор простирался далеко, включая в себя территорию домов № 9, 11 и 13. Бараки отделяли двор от деревянного тротуара, акаций и асфальта, а от огородов соседней ул. Гастелло нас заслоняла сплошная стена сараев — ровно 16, по числу квартир в двух бараках. В этих стайках держали уголь, велосипеды и разный хлам. В конце этих строений, напротив крыльца дома № 9, крепилась на столбах высокая голубятня. Столбы, как мне помнится, были деревянные, а сама птичья камера обтянута металлической сеткой.

Когда я обратил на нее внимание — кажется, в 1965 г., — голубятня выглядела заброшенной, никаких птиц в ней я не помню. Позднее я узнал, что голубятню соорудил дядя Вовки Гуркина, но он угодил за драку на зону, а без него дело заглохло. И вообще, массовое увлечение голубями, как мне думается, я пропустил — его расцвет в наших краях пришелся на рубеж 1950—1960-х гг. Один из моих старших братьев обожал возиться с живностью. На сеновале (так назывались чердаки над сараями) он держал одно время кроликов. Кормила их вся детвора. Однако пришла осень, холод, трава исчезла, и нужно было что-то предпринимать с этими кроликами: не забивать же их на мясо!



Братишка подарил кролов приятелю, у которого имелось для них зимнее помещение. А приятель взамен обещал ему пару турманов. На другое лето братишка занялся голубями. Как и кролы, птицы жили на сеновале, и опять было весело. Но скоро выяснилось, что голуби бывают разные; на центральном базаре имелось специальное место, где продавали породистых и редких, однако стоили они дорого. Разговоры брата с приятелями о птичьих достоинствах я помню — «гривуны, чубатики, монахи»; голубей обычно запускали в небо где-то на поляне в частном секторе на выезде из города. Я этим не интересовался, видел иногда из своего двора голубиные танцы в синем небе — красиво. Участвовал ли Вовка Гуркин в этих забавах, не знаю. О голубях мы с ним не беседовали. И соседа из дома № 9 по фамилии Кузякин, предполагаемого прототипа героя фильма, я не помню — мимо меня это прошло.

### Черемховские типажи

Если уж говорить о прототипах персонажей Гуркина, должен признать, что все они действительно черемховские типажи, хотя, наверное, и в других местах, на том же Урале, где Вовка Гуркин проводил часть летних каникул, встречаются такие характеры. Например, жил у нас такой дядя Вася — большой охотник выпить. Работал он в силу своей привычки на поверхности — плотником, в шахту его не пускали.

Дядя Вася постоянно находился под хмельком и проявлял чудеса изобретательности в поисках выпивки. Поскольку он отличался глубиной незлобивостью, никому не досаждал и вообще не понимал, как можно ударить или обматерить человека, его не гоняли и относились к нему бережно, хотя и посмеивались.

Помню такую картину — врезалась в память: ранняя зима, снежок, первые морозы, а дядя Вася без шапки, в шлепанцах, в рабочих штанах и в красной майке-«алкоголичке» целеустремленной иноходью чешет в магазин; он не смотрит по сторонам, ничего не слышит — в кулаке зажата трешка (три рубля), до магазина метров восемьсот и обратно столько же. Но что мороз, что нам ветер ледяной, когда сосуд блаженства столь близок!

Позднее, спустя годы, мне рассказывали: на пенсии дядя Вася работал конюхом, развозил уголь на лошади. Однажды короб с углем накренился в колее, хлипкий дядя Вася кинулся к нему, подставил плечико, уперся в землю — да где же взять такую силу? Короб упал и задавил старикана насмерть.

А еще в нашем доме жил удивительный человек дядя Миша. Он имел мотоцикл с коляской — «Иж-56». Ни у кого другого в нашем большом дворе не имелось такого замечательного агрегата (а личного автомобиля не было в ту пору вообще ни у кого на всей улице). Дядя Миша был молчалив, серьезен и очень стабилен. Он возвращался со смены в испачканной рабочей робе, быстро обедал и в точно такой же спецовке, но уже чистой, домашней, выходил к своему любимцу.

Отпирал двери, выкатывал из полутьмы сарая зеленый мотоцикл, раскладывал на брезентовой скатерке инструменты, усаживался на табуреточку и приступал к делу. До первых звезд дядя Миша разбирал, протирал, смазывал, собирал узлы своей машины. Иногда, не каждый день (а мотоциклом он зани-





мался ежедневно), дядя Миша заводил «Иж-56» и осторожно проезжал круг или два по двору. Мотор работал как часы.

Но что-то не устраивало дядю Мишу, он подруливал к своему сарайчику, глушил двигатель — и ремонтно-профилактические работы продолжались. Дядя Миша был таким же элементом дворового пейзажа, как лавки у крыльца или старая голубятня.

Шахтером владелец мотоцикла, как я понимаю, являлся отличным. В 1970 г. шахта «Объединенная» — кормилица и поилица всей округи — закрылась; года за два-три до этого самые востребованные специалисты, опытные горняки с семьями начали покидать Черемхово. Ехали в основном на Кузбасс. Перебрался в Междуреченск и дядя Миша с тремя сынами и женой — курнозой и крикливой, вздорной толстухой. Не знаю, правда или нет, хочется верить, что это ошибка, но кто-то из земляков мне рассказывал позднее, что жизнь на новом месте у дяди Миши не задалась — в приступе меланхолии он зарубил жену топором.

Вообще, для понимания атмосферы угольного города нужно сказать, что Черемхово в 1930—1940-х гг. служило местом ссылки спецпереселенцев. Сюда везли раскулаченных крестьян с берегов Волги — семьями, кланами, и не только русских. Жили они в казармах, спали на нарах, работали под землей. Говорили, что до 70 % рабочих в шахтах были переселенцами или заключенными. Аварийность и смертность зашкаливали. Бывшие вольные землепашцы ненавидели угольные подземелья.

Сюда же направляли и неугодных интеллигентов, творческих людей из Ленинграда и Москвы. Благодаря этому слою в Черемхове в 1939 г. возник драматический театр, который теперь носит имя Владимира Гуркина.

В 1947 г. спецкомендатуру ликвидировали и переселенцам разрешили свободное перемещение по стране. Многие уехали, но многие и остались — обросли женами, детишками, кое-как определились с жильем. Именно от спецпереселенцев и их потомков пошла недобрая уголовная слава о нашем городе. Проводники в поездах дальнего следования в ту пору объявляли: «Граждане, подъезжаем к Черемхово — берегите карманы и вещи. Здесь фраера не живут». Редкий сорокалетний мужик не имел за плечами фронтowego или лагерного опыта — Великой Отечественной войны или ГУЛАГа.

Днем двери в наших квартирах не запирались, однако на ночь родители задвигали щеколды и закрывали ставни на первых этажах. Среди части подростков, особенно из неблагополучных семей, бытовала тюремная романтика; их кофты (так тогда говорили) в городском парке или в глухом закоулке легко могли побить, отобрать деньги или авторучку, значок, перчатки. Поодиночке по чужим кварталам мальчишкам гулять не рекомендовалось.

На вечерних танцах регулярно происходили драки; к счастью, на нашей окраинной улице танцплощадки не было. В одном из ближних дворов летними вечерами крутили кино; стояли скамейки, светился белый экран, но здесь конфликтов не случалось — кино смотрели все от мала до велика и драчунов немедленно окорачивали.

## На берегу пошлости

Однажды наша дворовая компашка, вольготно расположившись в штабе, беседовала на вечные темы. Кто-то невзначай спросил:

— А что такое пошлость?

Мы в свои небольшие года повидали и мужицкую поножовщину, и пьяные бои на топорах, и беспечные загулы веселых соседок, и собачье отношение к собакам и детям, то есть знали разные стороны низового народного бытия. Но с этими «свинцовыми мерзостями жизни» слово «пошлость» как-то не сочеталось. Вовка, видимо на правах старшинства, взялся объяснить сложный вопрос.

— Вот вернулся я на днях из деревни, — начал он. — На Урале здорово! Горы, лес... Сидел как-то вечером на берегу речки и лепил солдатиков из пластилина. Закатное солнышко, волны плещут, а я строю маленьких богатырей с ружьями, танки, пушечки и ставлю их на пенек. Красота! Подошел подвыпивший дядька, родственник, посмотрел на мою работу, взял кусок пластилина и тоже начал лепить. Мне любопытно — что он сделает? А он изготовил фигурку, водрузил ее на пенек напротив моих солдат и говорит: мой богатырь всю твою армию зараз повалит. Усмехнулся ехидно и ушел. Я гляжу — он вылепил из пластилина торчащий член, похожий на пушку, с яйцами-колесами.

Вовка помолчал, переживая прошлую обиду, и закончил:

— Вот это и есть пошлость — лепить пенисы из пластилина, глумиться над хорошими чувствами. А бывает, что человек и хочет соорудить пушку, а у него все равно член получается — руки и мысли кривые, пошлые.

Мне эта беседа запомнилась ученым словом «пенис» — мы обычно использовали терминологию попроще. И, конечно, я по-другому понимал значение слова «пошлость», от «пошло-поехало», но спорить с Вовкой не стал — чувствовалось, что он не по-детски страдал от глупой выходки дядьки.

## Помывка тел

Водопровода в наших домах, как уже говорилось, не было. Малышей купали в тазах и жестяных ваннах, предназначенных для стирки: грели воду на печке — и вперед, но не полезешь ведь в домашнее корыто в 10 лет, да еще при мамке — это себя не уважать надо!

В центре города имелась платная баня с парилкой, мы с дружками ее посещали, но редко, в основном ходили туда с отцами и старшими братьями. А главным помывочным центром для шантрапы нашего возраста служила шахтерская мойка — душевые шахты «Объединенная».

Этот праздник мы могли себе устроить хоть трижды в неделю, по настроению. Баня, условно говоря, всегда была с нами. До шахты шагать — минут десять-пятнадцать. В большом здании шахтоуправления, если на первом этаже свернуть направо, — длинный коридор с каменным полом. У стен стоит несколько автоматов с газировкой, тут же граненые стаканы. Первым делом мы от пуза напивались родниковой, с пляшущими пузырьками газированной водой — сладкой даже без сиропа. На центральных улицах, в парках и кинотеатрах стоя-





ли такие же автоматы, но в них нужно было кинуть копеечку, чтобы без сиропа, а с сиропом — уже три копейки! На шахте же автоматы выдавали газировку бесплатно. Особенно вкусной водичка казалась в летний зной...

Здесь становилось шумно илюдно только в период пересменок, когда шахтерские бригады толпой влямывались после водных процедур в этот коридор; мальчишек отталкивали, звенела и шипела струя, мокрый после душа великан в два глотка опустошал стакан, наливал еще — снова два глотка, а то и один. Мы, конечно, знали время выхода шахтеров и старались избегать походов в мойку в эти часы, однако порой запаздывали.

В предбаннике стояли каменные лавки, на которые мы скидывали свою одежду. Шахтерские робы висели в железных шкафах. Душевые залы впечатляли минимализмом: только лейки и краны-барашки на стойках, но горячая вода имелась в избытке в любое время года и в любое время суток — мойся, пока не покраснеешь по-рачьи. Мылом пользовались шахтерским — жидким. Ни вехоток (кстати, это чисто сибирское слово, обозначающее мочалку, в Москве такого слова не знают), ни полотенец мы с собой не брали, промокали лицо рубашонками. Если задерживались с омовением тел, то сталкивались с горняками. Они входили в душевые залы с другой стороны — здоровые, задорные, громогласные, с черными ручищами и черными лицами, шеями, ушами. С мальцами не церемонились — спешили смыть с себя угольную пыль и оказаться на свежем воздухе, — могли и шлепнуть по мокрой заднице зазевавшегося огольца: уступи место дяде, шпаненок!

Большие и чистые, после смены и душа многие шахтеры (особенно молодые) закупали в буфете пирожки и вино, которое разливали половником в трехлитровые стеклянные банки, устраивались неподалеку от управления на травке или на лавочках, беседовали, отдыхали. Главным алкоголем в ту пору считалась «рассыпуха» — крепленое алжирское вино крепостью градусов 18 или 19. Говорили, что Алжир поставляет его в СССР вместо денег за наше оружие. В 1962 г. Алжир освободился от власти Франции, и французские виноделы покинули эту страну, оставив большие запасы произведенного под их контролем напитка. Это вино танкерами везли в Советский Союз, а затем в цистернах по железной дороге в Сибирь. В 1960-х годах качество разливного вина у черемховских шахтеров нареканий не вызывало, но позднее, уже в 1970-х, когда французские запасы в Алжире кончились, появился сомнительный «солнцедар» и прочие «огнетушители» — их презрительно стали называть «чернилом» и «бормотухой».

Два раза в месяц (в день получки и аванса) количество отдохавших возле шахтоуправления резко возрастало; являлись встревоженные жены — забирали деньги у мужей, но мирно, без скандалов, все понимали, что это святое — вылезший из мрачного ада шахтер заслужил чашу вина под теплым солнышком.

К слову, на нашей ул. Тургенева старики и старухи попадались нечасто; немногие проживали человеческий век полностью, людей косила всечасная нужда и непосильный труд, вредная среда и суровый быт. В 1960-х годах в городе проживало более 100 000 человек, теперь живет вполтину меньше. Главная причина уменьшения населения — закрытие шахт, отсутствие работы, да и вообще, если честно, курортом, привлекательным для жизни, Черемхово назвать нельзя.

## Школа имени Пушкина

Дети с нашей округи учились в восьмилетней школе № 34. Обязательного среднего образования в 1960-х годах не существовало. В классах занимались по 40 человек. После восьмилетки 10—12 лучших учеников переводились в девятый класс средней школы или поступали в Горный техникум (тогдашнюю гордость угольного города); оставшиеся разбегались по ремесленным и фабрично-заводским училищам — приобретать рабочую профессию.

Расстояние до школы было километра два или чуть больше, ходили, естественно, пешком. На крыльце старого двухэтажного здания группками толпились второгодники и разгильдяи — школьные бандиты; они задирали скромных учеников и требовали: «Деньги, семечки, попрыгай!» — или что-то вроде того.

Я шел смело: меня защищал авторитет трех старших братьев, но атмосфера насилия, конечно, огорчала. Ценной добычей у наглецов считались шариковые ручки, которые только начали появляться в торговле, самые обычные, из тех, что долгое время продавались по 35 копеек. Мне кажется, что позднее, уже в другое время, лишь кубик Рубика вызывал у подростков такой же ажиотаж, как первые шариковые ручки.

Хватало огорчений и на уроках. Русский язык преподавала властная дама, похожая фигурой на статую женщины с веслом. Некоторые ребята, имевшие украинские или татарские корни, орфографию и морфологию великого русского языка хронически не постигали, хоть убей их... Учительница убить их не пыталась, но и сил своих ради науки не жалела; испуганно сопел возле доски отрок, вжимал голову в плечи, таращился на строчки — и вдруг могучая длань наставницы вбивала его лицо в буквы, так что мел осыпался на пол; благо если мальчишка успевал повернуть голову ухом к стене, тогда нос оставался цел и класс наблюдал лишь расплющенный профиль бедняги, а не кровавые пятна на нем. В кабинете повисала гнетущая тишина; ни улыбки, ни усмешки, ни шепотка; за каждой партой — опущенные затылки. Однако жаловаться на побои русачки не возникало и мысли, тем более что все знали ее педагогические методы.

Географичка брала другим. Седая, пожилая, с неровно обрезанными лохмами, она громовым голосом, решительно жестикулируя, учила запоминать столицы:

— Амстердам — я тебе по морде дам! А Париж — ты у меня получишь шиш!

С камчатки (задних парт) неслоь:

— А Воронеж? А Лондон?

Боевая географичка в начале урока объявляла:

— Если уложится с темой быстрее, до звонка буду рассказывать детектив.

В те годы еженедельно журнал «Огонек» печатал переводы польских, венгерских, гэдэеровских авторов; педагог читала их запоем и эмоционально нам пересказывала; мы старались поскорее покончить с темой урока, чтобы следить за приключениями рыцарей плаща и кинжала.

В общем, когда после восьмилетки я перешел в среднюю школу, первые полгода мне пришлось туго: уровень требований резко изменился.

Вовка Гуркин в нашей восьмилетке не учился. Каким-то образом родители устроили его не по месту жительства, а в десятилетнюю школу № 8, лучшую,





наверное, в Черемхове тех лет. Она располагалась дальше восьмилетки и в другой стороне, в центре, на ул. Ленина, впрочем, она и сейчас там.

Школа с довоенной поры носила имя Пушкина. На аллее перед ее входом в 1950-х годах был установлен бронзовый памятник Пушкину — точная, хотя и уменьшенная копия знаменитой работы А. М. Опекушина, стоящей на Тверском бульваре в Москве. Такого замечательного памятника не было во всей Иркутской области!

Говорили, что его отлили из металла интеллигентно-переселенцы, сосланные в Черемхово из Ленинграда, но точного его происхождения я не знаю. Памятник производил на учеников магическое впечатление, словно поэт перебрался к нам из самой Москвы. Фойе школы украшал громадный, написанный маслом портрет кудрявого мальчика Пушкина.

В средней школе царил иная атмосфера. Во-первых, здесь в большинстве своем учились дети врачей и инженеров, то есть интеллигенции, а не работяг; возможно, поэтому процент лодырей и хулиганов стремился к минимуму. Во-вторых, педагогический коллектив возглавлял Павел Васильевич Хороших, настолько равнодушный педагог, что знал имена всех детей, даже первоклашек — так мне казалось. Он работал директором с 1956 г. — более четверти века, у него даже квартира находилась в здании школы, с отдельным входом.

В первый же день моего появления Павел Васильевич поймал меня в коридоре и выпытал все про мою семью и про мои занятия. Так, похоже, он знакомился со всеми новичками. Попросит ласково: помоги, мол, стулья поднести. А сам по дороге спрашивает: что ел на завтрак?.. смотрел фильм «Фанфан-тюльпан»?.. как тебе исторический фон?.. любишь шахматы? Его уроки истории учили не только истории, но и жизни. А преподавателю литературы Людмиле Селиверстовне я обязан тем, что с первой попытки поступил на филологический факультет университета.

Вот в этой школе учился и Вовка Гуркин. Встретиться в ней нам не довелось: он поступил в театральное училище после девятого класса в 1967 г., а я пришел в девятый класс в следующем, 1968 г.

К слову, эту же Черемховскую школу имени Пушкина в свое время окончил известный новосибирцам общественный деятель и предприниматель Сергей Феодосьевич Кибирев (ныне покойный). Мне он в свое время рассказывал, что приехал учиться в Новосибирск, не имея здесь ни родных, ни знакомых. Вышел из вагона — поздний вечер. Сообразительный черемховец забрался в недостроенный дом на Вокзальной магистрали, поужинал купленными пирожками и проспал до утра в ванне, а утром отправился в НЭТИ.

А еще школу № 8 в Черемхове окончил нынешний первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Фёдорович Петухов.

## Секс в Черемхове был

...Не то чтобы одиноких женщин и вдов имелся переизбыток, но и замужние дамы от чужих мужиков бегали не слишком усердно. Этому способствовали грубые нравы и режим круглосуточной работы в шахтах — из забоя-то не удержь. А раз имелась твердая уверенность, что муж раньше известного часа не



явится — чего ж бояться? Вот сосед и ошибался невзначай дверью. Ошибется раз — понравится...

Помню такую сценку: возле водопроводной колонки — безобразное побоище. Муж колотит смертным боем женушку, ладную кудрявую бабенку. Она не смеет защищаться. Толпа не вмешивается — все знают, что бьет за дело. Свирепый рогоносец подтаскивает жертву под кран, нажимает рычаг — прозрачная струя ударяет по спутанным волосам, по шее, по распухшему лицу и, уже красная от крови, струится по ложбинке к ногам зевак. Муж снова бьет кулаком по мокрым щекам, жена издает подобие стоны, одна из соседок кричит: «Хватит, околеет ведь!»

Лишь после этих слов мужики молча отбрасывают пьяного ревнивца в сторону. Он грызет землю — буквально. Женщины уносят полумертвую гулену в дом. Пришедшие с ведрами, как и я, набирают воду. Струя позванивает от удара о жесть, и кажется, что сейчас вода станет красной. Уже будучи студентом, я спросил знакомых об этой семье, мне ответили: он пьет, она гуляет, дети растут — все в порядке...

Тяжелый труд, дефицит культуры, отсутствие воспитания, лицемерная ложь партийных властей вели рабочий люд прямой дорогой к цинизму в личной жизни, к той самой пошлости отношений, о которой пытались рассуждать в мальчишеской компании.

### Прощай, детство!

Другой яркий эпизод, сохранившийся в памяти, связан с поступлением Вовки Гуркина в Иркутское театральное училище, точнее с непоступлением. После восьмого класса (следовательно, летом 1966 г.) он на какое-то время исчез со двора, а потом объявился какой-то сам не свой, не то чтобы грустный или подавленный, а так — витал в облаках. Мы-то думали, что он снова побывал на Урале. Но однажды он забрел ко мне по какому-то поводу.

Ко мне — это в большую комнату, где обитали вчетвером я и три моих старших брата. Справа от окна стоял пузатый книжный шкаф. Далее вдоль этой же стены — железная широкая кровать. Эта кровать упиралась в печку — и в печку же под прямым углом упиралась другая такая же кровать: мы спали по двое. Слева от окна находился письменный стол — один на всех, и здесь же, ближе к дверям, корячился полуразобранный мотоцикл; под ним валялись железяки — старшие братья, кажется, меняли кольца в цилиндре. В дверях на пружинах висела боксерская груша, в углу — две пары перчаток.

Так случилось, что к братьям пришли их друзья и в комнате набилось много подростков, молодежи. Все шумно разговаривали, кричали, в частности упрашивали спеть тощего кудрявого паренька по прозвищу Жан Татлян — он и вправду внешнестью напоминал кумира тех лет и пел здорово, только очень стеснялся. А слава настоящего Татляна гремела тогда на весь Союз, он исполнял удивительно лиричные мелодии, однако в 1971 г. эмигрировал во Францию и КГБ совершил очередное преступление против культуры — запретил песни Жана Татляна, изъял его записи. Новые поколения выросли без его музыки.

Тут братья увидели Вовку Гуркина и спрашивают:





— Поступил?

Оказывается, они знали, что мой приятель сдавал экзамены в Иркутское театральное училище. Хмурый Владимир отрицательно покачал головой.

— А что завалил? Математику? — не отставали братья. — Русский?

— Да какую математику? — Гуркин раздраженно махнул рукой. — Там главный предмет — актерское мастерство.

— Это как? — Ребята с искренним интересом смотрели на неудачливого абитуриента, никто из нас представления не имел, как сдают экзамены в театральное училище.

— Сначала рассказывал басню. Комиссии понравилось. Попросили спеть. Пою я не очень, но играю ж на баяне, покивали, мол, удовлетворительно. А потом говорят: изобрази обезьяну. Изобразил. Посмеялись и решили: езжай в свое Черемхово, подрасти еще и приезжай через годик.

— Ну и чо горевать? Кончишь девятый класс и поедешь.

— Понимаете, обидно, что сам виноват. Показал им обезьянку-детеньша, вот они и решили, что я маленький. — Вовка покраснел от досады. — Надо было сыграть гориллу, меня бы взяли. А я — мартышку...

— Ну-ка, покажи! Заценим!

В отличие от Жана Татяна Вовка Гуркин не стал ломаться. Опустил взгляд, видимо, вживаясь в образ. И вдруг прямо с кровати, на которой сидел, упал на четвереньки и побежал по полу, обнюхивая каждый угол; затем уселся в центре комнаты и начал искать невидимых блох; строил уморительные рожицы — гримасы азарта, напряженной охоты и торжества в тот миг, когда воображаемый зверь кончал жизнь на его ногте; зрители схватились за животы.

Обезьянка устала, разлеглась на полу, закрыла глаза; однако отдых длился не более минуты — открылся один блестящий глазенек, затем другой, и на хитрой мордочке появилось выражение крайнего любопытства. С превеликой осторожностью, без конца оглядываясь, в полной тишине, мартышка поползла к боксерским перчаткам и выудила одну из них. Тут же словно ветер обезьянка умчалась в дальний угол и затаилась. Пришлось зрителям вытягивать шею, чтобы разглядеть ее ужимки и телодвижения. Мартышка с трудом впихнула в перчатку одну лапу и, стоя на ней, принялась исполнять нечто вроде танца на льду. Публика хохотала навзрыд: мартышка шлепалась на задницу, крутилась на руках, дрыгала в воздухе обутой ногой, прыгала подобно прославленной фигуристке...

Опять сооротив хитрую мордашку, актерка добыла вторую перчатку, однако надела ее не на ногу, а на руку — и снова повторила искрометный танец на льду, падая и подпрыгивая. Затем последовала третья перчатка. В нее мартышка долго пыталась всунуть голову, нюхала внутренности — плевалась, поскольку из перчатки нешуточно несло горьким потом. Затем мартышка принялась боксировать: наносила по кожаной груше хуки, апперкоты, бодала грушу лбом — и вдруг поворачивалась, била снаряд задом, карикатурно подпрыгивая...

Это был триумф. Пришли мои родители, заглядывали в комнату, хохотали до слез. Вовка Гуркин наконец вымотался, пот катил с него градом, он сел на кровать, едва дыша.

— И тебя не взяли? Идиоты!



Тем временем смеркалось. Жан Татлян больше не отнекивался. Он застенчиво попросил выключить свет и в полутьме начал петь. С печальной нежностью, с неуловимым армянским акцентом звучал сильный голос:

...Где-то вдали догорает закат,  
И фонари ярче горят,  
И не дают они людям сбиться с пути,  
Ночные спутники — фонари...

Окончив первую песню, наш товарищ без паузы начал вторую — «Осенний свет», затем третью — и спел почти всю пластинку Жана Татляна, вышедшую в том году. Сходство исполнения вызывало восторг. Загрустили братья, загрустил Вовка Гуркин, все загрустили, опустили головы, и мне тоже стало грустно.

«Вот, — думаю, — один умеет показывать обезьян, хотя их сроду не бывало в Черемхове, другой поет как бог, хотя никогда не видал Жана Татляна, у третьего — разряд по лыжам, четвертый на трубе играет, а я что? Куда годен? Прыгать с палкой по крышам, бродить по лужам, пускать бумажных голубей? А ведь мне уже четырнадцатый год...»

Под нежную мелодию Татляна тяжело поворачивался земной шар. И там, за горизонтом, где-то вдали догорал не закат, а детство — мое детство и детство моих приятелей по черемховскому двору. Наше детство уходило навсегда, заворачивалось за линию горизонта.

\* \* \*

Владимир Гуркин, работая в московских театрах, бок о бок с Олегом Ефремовым, Владимиром Меньшовым и другими корифеями сцены, не забывал о своей малой родине — черном от угля, страшном от ночных криков, милом от веселых женщин, пьяном от цветущей черемухи городке Черемхове. И наезжал регулярно, и спектакли ставил, и любил его деревянные тротуары. Сюда он приехал умирать.

На черемховском кладбище, рядом с могилой отца, он и похоронен. В какой-то публикации я прочитал, что отец Владимира Павловича потерял на фронте друга по фамилии Гуркин, его убили, а родственников у друга не было. И будто бы после войны отец драматурга в память о погибшем друге взял себе фамилию Гуркин, чтобы она не исчезла, не пропала. Сомневаюсь в этой легенде, но если это так, то мой мальчишеский вопрос: «Как фамилия у Вовки Гуркина?» — получает второй смысл.

...Владимиру Павловичу Гуркину присвоено звание почетного гражданина города Черемхова. Одна из красивых улиц носит его имя, как и Черемховский драматический театр. На площади перед театром установлен памятник трем драматургам, родившимся в Черемхове, — Владимиру Гуркину, Александру Вампилову, Михаилу Ворфоломееву.

И еще один памятник есть в Черемхове — героям фильма «Любовь и голуби», снятого по пьесе (и по сценарию) Владимира Гуркина...

Пётр ЧАЩИН

## «СЛОВНО НЕ ДОМОЙ Я ВЕРНУЛСЯ...»

*Одиссея белогвардейца на Восточном фронте*

### Необходимое предисловие

В 2000-х гг. при ликвидации старого частного дома в одном из селений Красноярья откуда-то сверху, вероятно со стропил, на разбивавших упала некая книга. Это был ежедневник на 189... год, заполненный записями чернильным карандашом, и вложенная в него переписка с родственниками и сослуживцами. Нашедшие передали его в Большемурутинский краеведческий музей. Рукопись оказалась дневником белого офицера и вызвала восторг у первых читателей. Этот раритет поразил их рассказом о чувствах, настроениях и критическом отношении этого человека к сослуживцам и белому режиму. Сочтя его повествованием, выполненным на уровне писательского мастерства И. А. Бунина, один из краеведов назвал автора дневниковых записей личностью, выполнявшей «историческую» задачу «предупреждения потомков» о новой революционной опасности (Красноярская газета, 2015, 20 января).

Между тем для историков и краеведов этот дневник был еще и важным документом, существенно дополняющим известные сведения о формировании и участии в боях на фронтах Гражданской войны воинских частей из сибирских регионов. Известно, к примеру, что с падением советской власти в Красноярске командующий войсками Енисейского района полковник В. П. Гулидов 20 июня 1918 г. приступил к созданию 1-го Енисейского стрелкового полка и легкой батареи. В частности, из Минусинска в Красноярск для пополнения полка пароходом 29 июня были доставлены 60—70 добровольцев, бывших юнкеров и офицеров, зачисленные в пехоту, разведку и артиллерию. Первым его командиром стал полковник Б. М. Зиневич. В июле-августе 1918 г. части этого полка принимали участие в боевых действиях вдоль Транссибирской магистрали, которые завершились ликвидацией войск Центральной Сибири в Забайкалье.

Перейдя под командование подполковника М. И. Мальчевского, енисейцы с 26 августа того же года стали называться 4-м Енисейским Сибирским стрелковым полком, входившим в состав 1-й Сибирской стрелковой дивизии 1-го Средне-Сибирского армейского корпуса. В октябре 1918 г. эта часть, насчитывавшая 1186 штыков, перебазировалась на Урал, войдя в одну из групп войск Сибирской армии. Приступив к боевым действиям, полк в конце ноября продвинулся в наступательном порыве так, что это создало угрозу тылового удара по Красной армии в районе Кунгура. 24 декабря енисейские стрелки числом в 670 штыков совершили в тридцатиградусный мороз 35-верстный переход и ворвались в Пермь. Ими были захвачены казармы с красноармейцами, старый железнодорожный вокзал и центр города. На следующий день противник попытался вернуть станцию Пермь-1, но



был вынужден отойти. С прибытием двух рот 5-го Томского полка и штурмового батальона енисейцы выбили красных со станции Пермь-II и захватили железнодорожный мост через Каму. В ходе Пермской операции 3-я армия РККА потеряла до 18 тысяч бойцов, 37 орудий и 248 пулеметов.

Заняв село Нижние Муллы и отбросив Белорецкий полк красных, 4-й Енисейский полк в ночь на 3 января 1919 г. был отведен на отдых в Пермь. 18 января, пополненный добровольцами и мобилизованными солдатами, он в составе 1600 бойцов под командованием полковника Н. Ластовского сменил части 4-й Степной Сибирской дивизии и повел наступление против 30-й дивизии красных в районе деревни Железновой. Но атака не удалась, полк понес большие потери и был вынужден отступить, оставив Нытвенский завод и деревню Усть-Нытва. После небольшого отдыха енисейцы выступили на позиции в районе деревень Лоза — Камское Поселье. 27—28 января они заняли ряд селений и отбросили красных за Каму. В первых числах февраля бойцы сорвали попытку противника захватить деревню Долгий Мост. К середине этого же месяца боевые действия на участке 1-й Сибирской дивизии затихли. Состоявший из трех батальонов (1117 штыков и 32 пулемета) и роты резерва, 4-й Енисейский полк с приданными ему пятью орудиями в это время противостоял 1-му и 2-му Красноуфимским, 1-му Кунгурскому и Богоявленскому полкам Красной армии (3900 штыков, 48 пулеметов и 9 орудий).\*

Дальнейшая судьба этой воинской части лишена подробностей, столь важных для воссоздания истинного облика белых воинов, которые в публикациях советского времени уничтожались, а сейчас, случается, идеализируются.

Источником такой конкретики и стал дневник Петра Павловича Чащина, родившегося в Петров день (12 июля) 1893 г. и крещенного, скорее всего, в Кантатской церкви Св. Георгия, о которой он тепло вспоминает в дневнике. Происходил он из крестьянской старожильческой семьи Павлина и Прасковьи Чащинных, проживавших в селе Айтат Большемуртинской волости Красноярского уезда Енисейской губернии. Отец его был участником Русско-японской войны и умер перед началом Первой мировой. Помимо Петра в семье были еще его сестра и три брата, старший из которых погиб в 1919 г., сражаясь под Минусинском с партизанами Щетинкина. После учебы в Красноярской учительской семинарии Чащин служил сельским учителем. Во время германской войны он был призван в армию и, вероятно, окончил школу прапорщиков.

В 1917 г. Чащин, как и многие в енисейских деревнях, вступил в партию социалистов-революционеров. Под красными и черными знаменами участвовал в торжественных похоронах 96 человек, погибших во время «братоубийственной войны» в Иркутске. Считая Брестский мир позором, он намеревался ехать на фронт в составе революционной роты. Когда же началась Гражданская война, Чащин пошел добровольцем служить в Сибирскую армию. Свои именины в 1918 г. он встречал в Туруханске, а это значит, что он участвовал в преследовании красноярских большевиков, бежавших в составе советской флотилии на енисейский север. В тексте воспоминаний имеется свидетельство и о том, что их автор был участником наступления на Пермь. Он также сообщает о своем возвращении домой из-под Троицкосавска, а это позволяет зачислить его в ряды белых, сражавшихся с Красной армией в Забайкалье. В 1919 г. Чащин был прапорщиком и взводным командиром 4-й роты 4-го Енисейского полка, затем ее начхозом.

Дальнейшая судьба П. П. Чащина доподлинно неизвестна. После воинской службы он проживал в родном селе и, скорее всего, разделил участь лиц, служивших белому режиму. Возможно, он был убит односельчанами или арестован. В списке белых, составленном историком С. В. Волковым, присутствует Чащин Пётр Пав-

\* Газета «Труд», 1918, 1 августа; альманах «Белая армия. Белое дело», 2003, № 13, с. 30—42; 2015, № 22, с. 13—17; Симонов Д. Г. «Белая Сибирская армия в 1918 году», Новосибирск, 2010.



лович, уроженец Енисейской губернии, прапорщик, воевавший в белых войсках на Восточном фронте. Взятый в плен, он с 1923 г. состоял на особом учете в органах ВЧК-ГПУ-ОГПУ. Тот же человек упоминается среди репрессированных, списки которых были составлены местным обществом «Мемориал». Будучи продавцом, он осенью 1930 г. привлекался по 58-й статье («контрреволюционная деятельность») Уголовного кодекса РСФСР, но дело было прекращено. Нынешние Чащины, которые когда-то заселяли полдеревни, помнят лишь о том, что некоего офицера из «Павлиновских» убили в лесу вблизи селения, а на погосте место его захоронения отмечено елью.

Текст воспоминаний объемом почти в двести страниц написан от руки, некоторые записи стерлись. Орфографические и пунктуационные ошибки большей частью исправлены. Отдельные рассуждения и проявления эмоций из-за повторения и многословия сокращены, а некоторые события по этой же причине освещены в пересказе.

Считаю эту публикацию своеобразным памятником трагически ушедшей из жизни заведующей Большемуртинским музеем О. Н. Селютиной, успевшей передать текст воспоминаний историкам и краеведам.

*Александр ШЕКШЕЕВ*

## Воспоминания прапорщика Чащина

**1 марта 1919 г.** Скучно. Несмотря на то что растерял... свои тетради с записями, меня снова тянет внести ту или иную заметку из... жизни. В Н[ижне]-Уд[инске] я пробыл недели три и пришелся там не ко двору, уж больно не нравились мне местные офицеры с их грубым обращением к солдатам. Оттуда по личному желанию меня назначили в действующий полк... Заехал домой, где встретили радушно, несмотря на то что односельчане собирались со мной расправиться. Но в глаза меня никто не посмел оскорбить. Поэтому я и наши успокоились. Ездил в гости, на спектакли. Весна. Успел снова и здорово влюбиться в одну учительницу Л. Даже упустил из виду, что в нее уже влюблен по уши мой брат Георгий. Говорили без конца. Мы теряли головы. Две недели не прошли, а пролетели... До Красноярска ехали три дня, в масленицу, не протрезвляясь. Заезжали в деревню к кому-либо из старых друзей. Пили, наедались и — до следующей деревни, где история повторялась. Наконец, мы в вагоне. Вот уже неделя, как движемся, а до Челябинска еще, говорят, сутки поездом... Скука... Сегодня последний день масленицы, а мы стоим среди чистой, ровной степи. Вчерашней пургой занесло путь... В вагоне... духота невозможная. Стоит лишь выйти на площадку, как холодный «северняк» пронизывает до костей и загоняет снова в вагон... Публика, разместившись на мешках, в проходах, дуется в карты. С утра до ночи сидят, и все одно и то же слышно: «Пас, семь червей, открываю...»

**4 марта.** Хоть и тихо движемся, но нигде больше часа не стоим... С Челябинска пошли колесить уже по Уралу с его дебрями и горами. Недалеко уж до Перми. Места пошли знакомые, неприятные горькими воспоминаниями. Хотелось взглянуть на могилы дорогих товарищей, но... большие сугробы снега сровняли все и лишь один могучий лес шумел, наводя на сердце тоску...

**6 марта.** Наконец-то добрались до Перми. Хорошее настроение, бывшее у меня после Челябинска, когда я попал в общество своих же офицеров-енисейцев, сменилось подавленностью. На станции полно раненых, больных... А мало уж осталось знакомых в полку офицеров в живых, совсем мало, побили всех. Эх, убьют. Не жаль себя, а жаль мою дорогую бедную маму...



На Восточном фронте

**8 марта, с. Полуденное.** Утром выехали из Перми в... кошевке с кучером на паре бойких лошадей. День выдался теплым, прокатиться на лошадках было приятно, если бы обычные фронтовые картины не портили настроения. По дороге навстречу без конца тянулись обозы с ранеными. Везут части орудий для исправления на завод. Идут большие партии, человек по 200—300, пленных красноармейцев. Всё это молодые, но изнуренные лица с безнадежным выражением, по двое в ряд, окруженные такими же людьми, с тем же наречием и привычками, но вооруженными и покрикивающими на отстающих пленных... Уже темнело, когда мы добрались до Полуденной, где встретили знакомых офицеров и решили заночевать. До фронта осталось верст 20.

**9 марта.** Ночью почти не спал, доносились звуки взрывов, трескотня пулеметов. Я... весь в поту вскакивал со скамьи, снова ложился. Под утро заснул и видел покойного отца. Его тень, как и в прошлые бои, опять со мною. Он хранит меня.

**10 марта.** Только вчера вечером добрались в штаб полка, расположившийся в д. Больше-Сосновской [Пермской губернии]. Мне указали на квартиру офицеров 4-й роты. В доме человек 15 сослуживцев, которые о чем-то весело болтали. При виде нас все застыли, и ну ахать, ухать, орать. Приветствия со всех сторон. Вечером выпивали привезенную нами водку и калякали о том о сем.

**12 марта.** Шли всю ночь, растянувшись по узкой, забитой снегом дороге. С полуночи повалил снег и потянул ветер. То и дело люди падали. Прошли две деревушки, до с. Петропавловского, где укрепились красные, осталось верст шесть. Меня оставили в резерве в качестве заместителя взводного офицера. Раздались выстрелы, потом из цепи кричали санитаря, трещал пулемет, осыпая, как градом, залегшие цепи. Красные стреляли залпами. Наши дружно отвечали из пулеметов и винтовок. Раненые повалили один за другим. Я было сунулся с лошадью, но она так увязла, что ее еле вытащили на дорогу. Раненых отправляли в деревню, где развернулся Красный Крест.







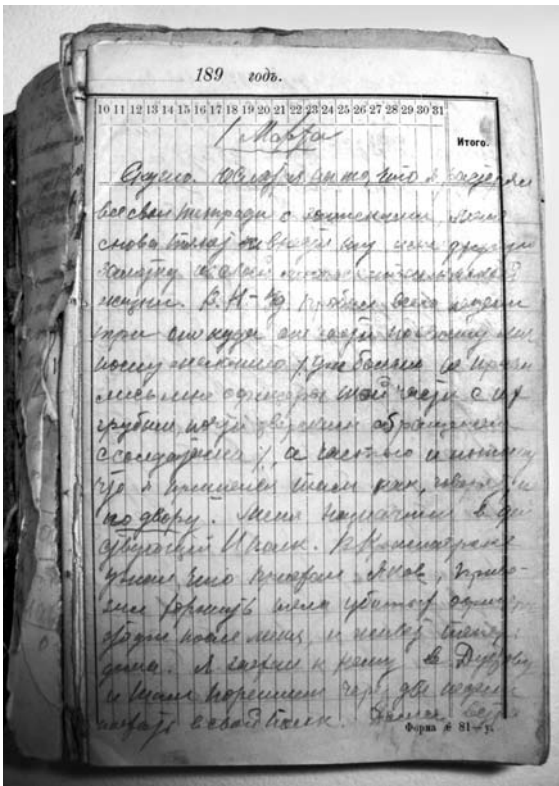
Буря все крепла... Наступать далее было безумием. Пулеметы красных с церквы и домов стреляли по нашим цепям. Пули свистели по снегу, попадая в ноги лошадей и подошвы сапог. После двухчасового боя мы начали отступление. Шли тихо, сосредоточенно, каждый думал о своем. Мои ноги не чувствовали ни боли, ни холода, лишь механически передвигались по заснеженной дороге. Стрельба затихла. Красные не решились преследовать нас. Взводный командир ранен, я занял его место. В ближайшей деревне остановились, выставили заставы и собрались было отдохнуть. Я залез на печь и улегся, как в хату вбежали с криком «наступают». Через минуту все были уже на улице. Оказалось, разведка подошла к нашей заставе, и та не замедлила ее обстрелять. Через полчаса начали отступать в д. Баклуши.

**12 марта, вечером, д. Баклуши.** Весь день простояли... Солдаты истопили баню, помылись. Мокрый снег валил не переставая. Со стороны с. Кленовского всю ночь и день трещали пулеметы и слышалась орудийная стрельба. Темнело уж... Вышли прогуляться и увидели толпу солдат и деревенских жителей, окружившую сани с женщиной, подростком и парнем лет 20-ти. Солдаты объяснили, что местные мужики прислали арестованных красноармейцев, а тот, что по-старше, лазутчик. Толпа гудела: «Убить их надо», «Нас тоже бьют, не жалуют». У лазутчика просматривали документы. Кто-то приказывал ему разуваться и становиться к стене. За нашей спиной стукнул выстрел, затем второй, третий. Меня затрясло, но набрался силы, чтобы оглянуться назад. Скорчившись, малый лежал у забора шагах в десяти от саней... До слуха донеслись звуки скрипки и гармошки. Дойдя до конца улицы, повернули обратно. Толпа по-прежнему стояла густо у ворот. Несколько человек рассматривали убитого. А в тесном

кругу двое солдат отплясывали русскую. «Тризна справляют», — сказал один из присутствующих офицеров, а рядом солдат рассказывал: «Штук сто бабе всыпали, вишь ты, а парнишке штук 15. Баба-то кричала, кричала, а под конец замолчала». Я отвернулся и пошел к себе...

**14 или 15 марта.** Третий день принуждены сидеть в Баклушах. В стороне Кленовского [ново] николаевцы бьются за обладание этим селом...

**18 марта.** Проходит уже неделя бездеятельного, ленивого життя в этой деревушке... В доме, где мы расположились, была общественная библиотека. Дочь хозяйина — Аннушка — заведует ею и допускает нас к книгам... Вчера молотил [хлеб] с молодыми хозяйками, славными и добрыми девушками, которые удивлялись моему умению.



Дневник прапорщика Чащина



**21 марта, д. Токари.** На 19-е ночью в буран сменить нас пришел штурмовой батальон. Его солдаты, замерзшие, занесенные с ног до головы снегом и измученные вконец, разом заполнили все хаты. С рассветом, простившись с нашими хозяевами, тронулись и поздно ночью добрались до какой-то деревни, заночевали. Утром пошагали дальше. Меня окончательно оставили силы. Немного отстал и присел на снег. Догнали солдаты-барабинцы. Боль в коленях не давала сгибать ноги. В крайней избе села нашел своих и сейчас же забрался на полати. Через час, закуривая, ребята осветили стену; она была вся усеяна полчищами клопов. Пришлось под хохот остальных слезать с полатей и занимать самое последнее место среди пола и мерзнуть всю ночь.

**23 марта.** Сегодня ротный и батальонный командиры поехали осматривать позицию. Задумали что-нибудь... Да и пора уже. Надоело все до омерзения. Днем над селом появился аэроплан, видимо красных. Скрылся в нашем тылу. Верно, прокламации раскидывал.

**25 марта.** Вчера никуда не вышли из села ввиду... бури, поднявшейся еще с вечера. Ночью и днем ветер рвал с ужасающей силой, заметая все снегом, сбивая с ног людей... Только следующей ночью он внезапно, как и начался, стих, лишь теплый тихий ветерок чуть-чуть веял, размягчая снег. О переменах на фронтах не слышно ничего. Затишье. Уфа, говорят, взята [нашими] частями. Много полков Красной армии было отрезано... У нас каждый день перебежчики от красных с теми или иными новостями... Не солдатом я создан... Назначили на взвод, а я ни одной команды не умею подать...

**30 марта, д. Николичи.** В ночь еще на 26 [марта] выступили из д. Токари всем батальоном. На рассвете подошли к деревне, расположенной на горе. Остались в резерве. Красные, укрепившись в окопах, подпустили наших к самой деревне и вдруг открыли пулеметный огонь. Цепи бросились в снег, но многие остались лежать на дороге с пробитыми черепами. Продвигаться было невозможно. Наша батарея не замедлила открыть огонь и после двух-трех снарядов накрыла ими окопы. После двух долгих часов одна из рот ворвалась в деревню. Красные из нее удрали. Вторая и третья роты потеряли 15 бойцов убитыми, в том числе командира одной из рот, и 30 — ранеными.

Очередь наступать на следующую деревню пришла 4-й роте. Поднялись на гору перед ней. Впереди лог, за ним деревня, где бегали люди, запрягая лошадей и увязывая возы. Она казалась неприступной. Рота залегла у дороги в снегу. Пулеметчики открыли огонь. Красные ответили, но через час начали отступать. Деревня опустела. Набежавшие солдаты захватили и, быстро пережевывая, ели горячее мясо с хлебом.

Вечером двинулись дальше. Впереди пошла 1-я рота. Наша — за нею. Подойдя на 200 шагов к деревне Захарята, окруженной ельником, солдаты залегли и открыли огонь залпами. Но не смогли двинуться дальше. Через некоторое время красные с обозом стали отходить. После моего крика «уходят» поднялись старые добрые солдаты Сергеев и Трегубов, крича и стреляя. Пули вдруг так защелкали кругом, что я повалился в яму. Упал и Сергеев. Я взглянул на него и сразу понял, что он ранен. Трегубов, увлеченный наблюдением, вдруг со стоном повалился к моим ногам. Пулемет нашей роты трещал, а трое смельчаков с криком «ура» неслись к деревне. Выбравшись из снега, мы... побежали следом. Из деревни уже не стреляли. Одна из наших рот ударила сзади. В окопах лежало несколько трупов, пулеметные ленты и патроны. Скоро подошли и другие взводы нашей роты. Подъехал обоз, кухня, и мы, пообедав кое-как, повалились





кто где мог. Но спать долго не пришлось, ибо нужно было занять еще... деревню Николичи.

В 12 часов ночи нас снова подняли, и мы пошли дальше. Ночь была ясная и морозная... Следующая деревня стояла на бугре и была обнесена окопами. Тихо спустились в последний лог, залегли и послали разведку. Из окопов ее заметили и открыли огонь. Подождали часок и отошли, спустившись в лощину, чтобы с рассветом и под прикрытием батареи снова двинуться вперед. Но небо заволкло тучами и поднялась вьюга. Корректировать огонь стало невозможно, а появление человека на горе вызывало пулеметный огонь противника. Финьковский\* выскочил взглянуть на бугор и тут же повалился, раненный в грудь. Пулеметчика ранили в глаз. Одного солдата — в руку. Санитара — в ногу. Стоптаный снег под елями смешался с ярко-алой кровью и превратился в пеструю крупу. Уносить раненых удавалось только тогда, когда батарея начинала часто бить. Мокрые и голодные просидели мы до вечера. Буря стихла, прекратилась и стрельба по нам.

Мы все ждали желанной темноты, чтобы отойти обратно, но надежды наши не оправдались. Ночью командир полка приказал во что бы то ни стало занять Николичи. Ко мне подошел Рафаэль Русин — ротный командир — и отдал распоряжение идти со взводом снегом по лощине, поросшей глухим ельником, в обход красных. Я собрал взвод и полез на четвереньках в лощину. Солдаты молча, часто останавливаясь и прислушиваясь, полезли за мной. Уже стемнело. Мы выбивались из сил, все мокрые и обледенелые. Дорога казалась бесконечной. Солдаты отставали и останавливались, а на мой вопрос «что отстаете?» их взгляды отвечали таким страданием, что я сейчас же отворачивался и полз дальше. Наконец показались дома и окопы, всего в нескольких саженьях от нас. Я прилег под последней елью в ожидании всех солдат. Половина людей была с обмороженными ногами и руками. Я не чувствовал ступни ног, поморозил пальцы. Перевязал и обулся снова. Стемнело. Отправили взвод в разведку. Вскоре вернулся один из солдат, сообщив, что деревня пустая. Через час мы были в ней. Большие, просторные, довольно чистые дома указывали на состоятельность и трудолюбие хозяев. Всем стало весело. Приехала кухня. Плотно поужинав, мы заснули... Днем красные пытались наступать. Но где уж им...

В ночь на 30 марта расположились в деревне как у себя дома, разделись. Только собрался в баню, как вдруг из-за леса раздался орудийный выстрел, за ним второй, третий. Цель была взята красными так ловко, что снаряды сразу же стали разрываться над домами... Поняли, что противник решил наступать... Жители с криком побежали. К ночи стрельба стихла. Чтобы не замерзнуть, было решено оставить в окопах лишь дежурных, остальным солдатам греться в хатах... Часа в 2 ночи из деревни выехал батальонный в сопровождении трех всадников, видимо к 1-й и 2-й ротам в Судники. Не прошло и 10 минут, как раздались выстрелы. Я растолкал спящих солдат. Рассмотрели... на дороге четырех всадников, скачущих под пулями. «Наткнулись на разведку», — крикнул Никитин\*\* и проехал дальше. Ординарец его был ранен и стонал... Под горой закричали «ура» и бросились на нас. Но в эту минуту затрещал пулемет, и цепь упала в снег. На дороге послышались стоны, стрельба продолжалась. Чтобы

\* Финьковский Сергей Григорьевич — прапорщик, окончил 2-ю Иркутскую школу прапорщиков 20 декабря 1917 г. (Примечания здесь и далее даются по изданию: Сибирский исторический альманах. Т. 2. Сибирь на переломе эпох. Начало XX века. — Красноярск, 2011).

\*\* Никитин Борис — штаб-капитан. Награжден орденом Св. Владимира IV степени с мечами и бантом.



огорошить красных, послали роту в обход. С рассветом стрельба стихла. 5 человек остались на снегу и сдались нам... У нас потерь не было. Повалил мягкий, ласковый снежок большими хлопьями. На кусте черемухи, перебивая друг дружку, щебетали синички и овсянки, словно праздник какой встречая. Душа болела. Внизу, на дороге, солдаты обдирали трупы убитых. Через час этой тишины снова выстрелы из орудий, взрывы в домах и на крышах. Люди в ужасе кинулись под заборы. Я выбежал из окопа во двор нашей квартиры... Из дверей бежали бледные от испуга обозники и хозяева с детьми. Залетевший снаряд, разорвавшись, выбил все двери и окна. К счастью, люди остались невредимыми. Грохотало все до позднего вечера, но красные так и не появились.

**1 апреля.** Вчера до вечера гремела артиллерия красных. Снаряды рвались прямо над домами. Осколком у фельдфебеля оторвало пальцы левой руки. Не спалось. Солдаты дежурили в окопах. К утру забрался на полаты и уснул. Видел даже сон. Будто я дома живу, мама как-то помолодела и все хлопочет по хозяйству... Проснулся от снарядного разрыва. Ребята, спрятавшись за печку и вспоминая вчерашний день, дружно хохотали, а над деревней, разрушая последние дома, громыхали разрывы. К вечеру поднялась метель и выстрелы прекратились.

**3 апреля.** Третий день уже не слышно артиллерии красных. Ночь приходится все же дежурить. Солдаты топят баню и моются. Прилетели скворцы и утрами заливаются у меня над крыльцом на своем двухэтажном домике.

**4 апреля.** Сегодня весь день писал письма домой. Один из наших добровольцев будет в Красноярске. Как же он рад!

**6 апреля.** Завтра Благовещенье. Какой это торжественный праздник... С ним ведь шла весна — наша юная, сибирская весна. К этому празднику всегда, всячески напевая, заливались скворчики. Утром еще спишь, а мама уж напекла разных пирогов и наделала сластей. На столе уж пар от всякой снеди валит... Вчера ездил в Судники. Офицеры стряпали пельмени, которые запивали хорошей брагой... В голове шумело до полночи. С наступлением темноты вернулся обратно. Жить все еще хочется. Особенно весна заманивает.

**9 апреля.** Сегодня утром прибежали крестьяне и сообщили, что все соседние деревни красными оставлены. Наши одновременно на всех участках двинулись вперед. Во второй деревне, окруженной со всех сторон глубокими окопами, наша рота остановилась. Разведка ушла вперед... Вдали на высокой горе красиво виднеется большое село.

**11 апреля.** Ночью прошли еще две деревеньки. Остановились в одной. Остальные роты пытались наступать, но из-за неудобной позиции с потерями отошли. От 3-й роты остался один взвод. Из ребят убит наш, муртинский. В войну с Германией парень остался цел, а тут вам... Грустно.

Теплый весенний день. Дорога растаяла. Офицеры наши с утра до ночи дуются в преферанс, благо теперь четыре преферансиста сошлись: Руфин, Чернявский, Моисей и пулеметчик Григорьев. Да не люблю я их всех... Николаевщиной пахнет. Особенно не нравится мне этот Григорьев. Мальчишка, а с солдатами держится как генерал...

**16 апреля, д. Суштопал.** <...> Тот взвод целые сутки пролежал в снегу, и только ночью они выбрались. Убит один боец. Красные весь день уговаривали взвод сдать и перейти к ним, но солдаты посылали их... или отвечали залпами. Их громили бомбометом, осыпали градом пуль, однако бойцы, хотя и мерзли, оказались неумолимыми. К утру красные ушли из деревни. Мы пош-



ли следом. Отступая, красные сгоняли всех баб, ребятишек, стариков с лопатами прогребать... новую дорогу в трехаршинном снегу. Сопротивлялись редко. В деревнях оставалось несколько людей прикрывать отступающие части, которые, дав несколько залпов по нашим, убегали. Только третьего дня в одном из селений красные не хотели уходить. Роте пришлось с 8 часов утра до 11 часов ночи пролежать в снегу у самой деревни. У нас убиты три пулеметчика, человек шесть ранены. За ротного остался пока Ваня Чернявский\*.

Дорога вконец испортилась, везде вода. Обоз где-то застрял, а в роте нет даже хлеба. До Пасхи осталось четыре дня... Обедать и ужинать приходится кое-как, лишь бы не умереть с голода. Хлеб каждый день собирают у жителей. Из 3-й роты вчера уехали верст за 20 побираться. Хотели собрать побольше.

**18 апреля.** Вчера вечером был праздник. Полковая лавочка подвезла сушек, сыру, колбасы и табаку. Поели сразу. Привезли и пять пудов хлеба. До Пасхи хватит, а там...

**21 апреля.** Вот и Пасхи дождались... Ходили за восемь верст в село, где имелась церковь, к заутрене... Всюду проталинки, под каждым мостиком стремглав неслись мутные ручьи. Солнце большое, красное, что огненный шар, садилось. В воздухе чувствовалась прохлада. Пройдя сажень 200—300, мы ложились и молча наблюдали за закатом. Уж с наступлением темноты добрались до села, зашли в первую попавшуюся избу. Попили чайку, покалякали с хозяином-стариком и легли было отдохнуть. С ударом колокола пошли в церковь. Она представляла довольно скучный вид, и в душе у меня осталось самое подавленное впечатление... Мы слишком огрубели и постарели... Молча вернулись в свою деревню. Ребята еще спали. Подзакусив жареным гусем, завалились спать, а проснувшись, пили чай с сыром, хозяйскими шанежками и дурили... Сегодня день... холодный и тянется без конца. Скучно...

**25 апреля.** Неделя пасхи проходит скучно, как в спячке... Встанешь утром, попьешь чайку — и на солому спать. Вечером пошли... бродить по проталинам. Вышли на небольшую поляну, окруженную лесом. Легли. Боже, как хорошо тут. Солнце садилось в тучи. Теплый ветерок, ласковый такой, тихо-тихо. Мы погрузились в свои думы. Я только что прочел «Над обрывом» Михайлова\*\*. Кто-то привез. Славная вещь. Я чувствовал себя Мухортовым и передумывал свои, почти забытые, намеченные пути, мечты учиться и отдать все свои силы, всего себя другим. Беспощадное время разбило все. Здоровье уходит, душа становится какой-то пустой. Об одном молюсь я: Боже, сохрани мне жизнь, чтобы я смог осуществить мечту — построить школу в Айтате. Не из пустого тщеславия мне хочется сделать это... Мне больно смотреть на мой богатый край, дикий и отсталый. Надо показать мужикам, как это необходимо им... [Потрачу] все свои сбережения, [а] сделаю... Долго мы пролежали, разведя небольшой костер. Где-то далеко-далеко трещал пулемет и винтовки. Опять начинается... а жить-то как хорошо.

Со стороны ветер доносил звуки оркестра. Там веселились, играли. Наше полковое начальство. Обмениваясь своими мыслишками, мы побрели к деревне. На столе уже бурлил самовар, кругом разместились, весело болтая, ребята. Гри-

\* Чернявский Иван — прапорщик, в июне 1919 г. произведен в подпоручики. Награжден орденом Св. Станислава III степени с мечами и бантом.

\*\* Шеллер-Михайлов А. К. — русский писатель-демократ 60—90-х гг. XIX в., автор злободневных и популярных романов, содержащих прямую критику паразитирующего дворянства, никчемной, прожигающей жизнь молодежи, искреннее сочувствие труженику-разночинцу, пафос общественного служения.



горьев получил посылку из дому: сухари сдобные, монпасье... Враз уничтожили... В хате было душно. Постелившись на крыльце, мы долго еще говорили о нашем прошлом, о наших благих порывах. Вдали погрохатывал гром и, прорезая темноту, сверкала молния. Тучи двигались к нам.

**26 апреля.** Набрал провизии... мы с утра убрались на знакомую поляну. Солнце ярко, по-летнему пекло. Писали письма, пели, дурачились, варили картошку и пили чай.

**29 апреля.** Сегодня родительский день. Наша хозяйка поднялась необыкновенно рано, и все утро я сквозь сон слышал ее... стряпню. Командир батальона приказал выводить роты на занятия. Люди со вчерашнего обеда еще ничего не ели. В 3-й роте чуть ли не забастовка. Мы пили чай с хозяйским хлебом. Со двора, где собирались солдаты, раздался выстрел и крик о помощи. Из-за стола мы бросились туда. Солдат Чугунов, молодой, здоровый, лежал с простреленной грудью. Товарищ выстрелил нечаянно. Унесли в околоток. Через час его не стало. Молча, словно придавленные, позанимались немного и разошлись по квартирам. Хлеба не было. За подарками к Пасхе, присланными из Красноярска, посылали в штаб. Вернулись ни с чем. В штабе идет ежедневное пьянство... В отпуск едут знакомые и любимчики. А солдаты голодают, сидят без табаку неделями... К обеду мне принесли две посылки... В Гошкиной посылке была запрятана бутылка водки. Сегодня опять праздник, но смерть Чугунова тяжело лежит у всех на душе...

**3 мая.** У наших хозяев большой праздник по поводу мытья мот, т. е. пряжи по-нашему. Смотанные в моты нитки на несколько дней клали в золу, потом — на горячую печь. После чего их прополаскивали на речке, сушили и они были готовы к тканью полотна. Этот день у каждой хозяйки глубоко чтился. С раннего утра Гавриловна стряпала, варила...

**9 мая.** Холодно. Сыро. Выпавший снег за ночь растаял, и дорога превратилась в липкую густую грязь... Вчера приехал товарищ из отпуска и привез небольшую толику спирту. Его произвели... из унтер-офицеров в прапорщички. По этому поводу была устроена... пирушка. Я отказался участвовать и до вечера сидел за письмами. Стройное пение молитвы Господней оторвало меня от письма — это рота, выстроившись под окном для проверки, пела вечернюю молитву. Молитва кончилась. Из избы пирующих вышел без шапки с улыбающейся до ушей физиономией, пошатываясь, командир роты Чернявский. Роту построили на песни... Из избы без пояса и растрепанный бежал прапорщик Патрикеев.\* «Стой», — скомандовал он роте. Те замолчали. «На месте шагом арш», — крикнул он и неверным, пьяным голосом затынул «Вдоль да по речке, вдоль по Казанке». Солдаты, улыбаясь, подхватили: «Семь девок, один я». Ну дела, подумалось. Накинув шинель, я пошел бродить на луг. Из деревни долго еще была слышна песня. Видно, гулякам это доставляло огромное удовольствие.

**13 мая.** Вчера вместо обещанного Красноярска выступили на позиции, чтобы сменить уставших бойцов. Прошли около 40 верст. Стемнело, пока доплелись. Кругом деревни расположены посты. Люди расставлены и зорко следят за угрюмо-молчаливым лесом, обхватившим полукругом деревушку. Жутко...

**17 мая, д. Гиреевская.** Третий день не переставая сыплет дождь. Нахмурилось небо и плачет, как в глубокую осень... Плачут и люди, лишаясь самого необходимого, самого существенного в крестьянской жизни. Припрятанные от

\* Патрикеев Ксенофонт — прапорщик, награжден орденом Св. Станислава III степени с мечами и бантом.



красных хлеб, лошади и телеги, вынесенные на свет Божий после их исчезновения, теперь отбираются нашими. Забирают последнюю лошадь и хлеб, не считаясь, что без посева семья уже осенью будет обречена на голодную смерть. Сегодня нашли у одного мужика телегу в соломе и чуть не выпороли его, забрав спрятанное. Прапорщик Максимов\* свирепствует, наводя на жителей криками страх. Чтобы не слышать, я ушел к солдатам, попросил у учительницы букварь и учу желающих читать, считать. Сегодня вся деревня от мала до велика роет окопы. Дождь льет не переставая.

**20 мая.** Вчера покинули гостеприимный дом учительницы. С утра до вечера околачивались у молоденькой хозяйки Наташи и двух ее подруг — беженок Жени и Мани: пение, шутки... Они такие славные, что я не смог ни на одной сосредоточиться и ухаживать. Заметив это, Патрикеев сказал Наташе: «Вы не больно-то ему доверяйте, видите, он ухаживает за Маней, с Женей кокетничает, а вам предложение хочет сделать». Я бы и впрямь Наташе сделал предложение, она такая умная, рассудительная. Но место в ее сердце занял какой-то новониколаевский офицер. С Женей встречается Максимов. Вчера [он] вернулся от нее сияющий, счастливый. «Она любит меня», — сказал он, встретив меня... На реке ставят переправу, скоро построят мост, и мы пойдем вперед.

**22 мая.** Утром выступили, чтобы сменить уставших солдат-новониколаевцев. Предполагавшийся пикник с обещавшими прийти учительницами рухнул. Они встретились по дороге, погоревали и пошли нас проводить. Я шел с Маней, Женя с Максимовым. Она, бедняга, влюбилась в него по уши, а он... Эх, мужики!

<...> До деревни, где находились позиции, осталось верст десять. Идти пришлось по грязи, лошади ложились, увязая, отказывались везти. То и дело распрягали, вывозили на себе возы, запрягали и, отъехав немного, снова оказывались по брюхо. К 3 часам ночи измученные добрались до небольшой деревушки, где и заняли позицию. Выставив караулы и заставы, сели за самоварчик у добродушных старушек. Слышна стрельба нашей артиллерии, изредка потрескивают пулеметы. Сегодня престольный праздник.

**1 июня, д. Никулинки.** Один бог видит, что было пережито за эти десять последних дней наступления... Изнурено и измучено тело, а душа изболелась, переживая. Начались ужасные дни еще в д. Талагурт. Красные пытались ежедневно наступать на занимаемую нами деревню. То ночью, то среди бела дня вдруг выйдут из леса и обстреливают наши окопы. 28-го [мая] пошли и мы на их деревню, что находилась в 12 верстах. Всю ночь шли по топкой, вязкой дороге, вытаскивая из грязи лошадей и телеги. К свету добрались и обложили деревню. Но в самый решительный момент по телефону передали приказ отступить. Снова, проклиная все, потянулись по непролазной лесной дороге. Из деревни, откуда мы начали наступать, все удрали, боясь быть отрезанными. Оказалось, что на соседнем участке красные прорвали фронт и прогнали егерей. В полдень 29-го красные вышли из леса и обложили нашу деревню с двух сторон. Поднялась страшная канонада. Мы засели в наскоро вырытых окопах на горе и отстреливались. Когда забарабанили наши пулеметы, то красные, спустившиеся с соседней высоты к деревне, смешались и побежали обратно. Огонь усилился, а через несколько минут подоспела конница в 100 человек. Просторный луг огла-

\* Максимов Павел Ильич — прапорщик, окончил 7 декабря 1917 г. 1-ю Иркутскую школу прапорщиков.





сился гиканьем и криком «ура». Пехотинцы бросились в атаку. Путь красным был отрезан, и они бежали кто куда, сбрасывая все с себя... Кавалеристы рубили направо и налево. Через час все кончилось. На поле остались лежать изрубленные, окровавленные трупы людей. Лес грустно молча смотрел на эту картину. Лишь деревня шумела и радовалась чему-то, рассказывая друг другу все новые вариации об этом бое.

Наша рота пошла в наступление на Святогорск. Пройдя верст 20 лесом, выбрались на холмистую, с небольшими перелесками местность и на другой день пошли в обход. Следом двинулся и весь полк. Наступление велось на всех участках фронта. Красные бежали. Кругом бухали орудия, трещали пулеметы... Обойдя деревни три, на другой день подошли лесом к укрепленной позиции красных. С холма завязали перестрелку, скоро перешедшую в ураганный огонь. По деревне, а потом и по окопам на холме начала бить наша батарея. Красные ответили артиллерийским огнем, их снаряды с грохотом, сотрясая воздух, рвались вблизи нашей цепи. Вырыв небольшие ямки, мы залегли. В деревне от попадания снаряда загорелся дом, и вскоре она превратилась в море огня. В потемках красные покинули окопы. Мы заняли их, но деревня уже сгорела. Люди, повывлазив из ям, горевали, тут же бегали домашние животные. Деревня огласилась общим ревом. Кругом, ярко освещая небо, виднелись большие зарева. Там тоже горели деревни. Сотни людей остались без куска хлеба и крова.

Рано утром двинулись дальше. Деревня еще дымилась. Мужики и бабы ходили по пеплу и, палками разрывая, что-то искали. Прошли еще три деревни, подбираясь к ним с опасениями, но красных в них не оказалось. Они ночью отступили. В последней мы впервые за три дня пообедали и уснули... На пруду, где по берегу было разбросано много лодок и рыбацких принадлежностей, занялись рыболовством. Но и тут без несчастья не обошлось. Наш сибиряк богатырь Ашанцев, перевернув лодку, пошел ко дну на глазах товарищей. Бросились спасать, но только через час нашли его безжизненное тело. Тут же его и похоронили...

**2 июня, д. Никулинки.** Сегодня с 4 часов дивного утра хожу по кустам черемухи... Боже, какое блаженство, какое чудное это утро! Долго сидел на могиле Ашанцева и писал. Написал его родителям с мельчайшими подробностями о смерти сына... Тут же под неумолкаемый звон птичьих голосов я сплел венок на крест, принес цветов и долго еще сидел с горькой думой об этой глупой кончине. Мне все кажется, что его живым вот взяли и закопали. Вечером опять переход в следующую деревню. Опять душа полна тревожных опасений. Только и слышишь от солдат: когда наступит конец всем этим мученьям? Ведь три дня уж хлеба нет. Собираем у жителей куски, чтоб не умереть с голоду.

**15 июня.** <...> Вечером 3-го [июня] мы пошли в соседнюю деревню, чтобы сменить 3-ю роту с передовой линии. На следующий день красные повели наступление по всему фронту. Атакуя в лоб и подойдя шагов на 100, они под нашим огнем залегли. Но слева сбили с позиции егерей. Связь с ними прервалась, а через полчаса в тылу появилась конница красных. Нас окружили. Спасались бегством по оврагу к реке и лесу. Слева находившаяся 7-я рота оказалась отрезанной и целиком полегла. Нас же с криками «товарищи, сдавайтесь» засыпали пулями преследовавшие красные. В овраг летели гранаты, сотрясая взрывами воздух. Бросили пулеметы, шинели, подсумки, котелки и бежали, напрягая последние силы. Из кустов показались конники с обнаженными шашками, блестящими на солнце. Остался позади всех. Пробежав немного и бросив даже

бинокль, я в бессилии упал под куст. Три всадника проскакали с гиканьем мимо. Со стороны бегущих солдат раздался залп, после которого двое из преследователей упали с коней, а третий повернул обратно. Я поднялся и снова бросился бежать. Только перебравшись через реку, мы сочли себя спасенными. Рота вышла в половинном составе. К утру вернулись еще человек 20, заблудившихся в лесу, а 20 — остались убитыми и ранеными.

Назавтра, пройдя верст 40 в с. Васильевское, чтобы сменить егерей, ждали темноты. Село дрожало от рвавшихся над ним снарядов, со стороны противника трещали беспрерывно пулеметы и винтовки, а вскоре раздалось «ура». Егеря побежали, а следом и мы. На дороге сгрудились обозы, телеги, обгоняя друг друга, ломались и увязали в грязи. Ночью немного стихло. Но утром красные снова повалили густыми цепями, прикрываясь артиллерией. Долго мы пятились, отстреливаясь. К полудню противник отстал, и мы спокойно прошли верст 15 и окопались на горе... С наступлением темноты наши, окруженные красными, вновь спасались бегством в лес. При этом чуть не потеряли батарею и штаб полка.

Началось отступление по всему фронту. По тракту двигались ряда в три обозы, растянувшиеся на десятки верст, а по бокам шли люди. Войском этих изнуренных голодом и ходьбой людей назвать уже было нельзя... Смешались все части — енисейцы, новониколаевцы и егерцы. Идем ночь, день. Прошли уже все местности, что с великими трудностями... взяли в феврале... Дорогой разбрасываются тысячи прокламаций, которые тут же подбираются солдатами на сигарки. Жителей они грабят самым наглым образом. Забирают телят, лошадей для обоза. Заморенных... бросают среди поля, впрягая на их место новых. Солдаты тащат все, что попадет под руку... Хлеб на полях, особенно вблизи дороги, потоптали, потравили дочерна. Бедные... мужики боятся сказать слова. Многие, бросив домашность, тянутся тут же, сложив на телегу что поценнее из хозяйства.

**19 июня, д. Загоры.** Сегодня прошли около 40 верст. Войска разошлись по разным дорогам. Обозы ушли вперед, и по дороге беспорядка, как в первые дни отступления, не чувствуется. Красные уже потеряли нас и не беспокоят атаками... Проходя деревни, роты поют военные и веселые песни. Но населению известно, что мы отступаем.

**21 июня, ст. Чайковская.** Вышли на железную дорогу. До Перми осталось верст 50. Кругом идет спешная работа по созданию обороны: роют окопы, ставят проволочные заграждения. Но солдаты... разбегаются. Из саперной команды в составе 50 человек остались только 8. Из рот также бегут, особенно местные — пермяки.

**23 июня.** С утра до ночи строится оборона — блиндажи, бойницы, убежища от шрапнели и балаганы от комаров, которые тучами начинают кружить над головой. Красных пока не видно и не слышно. По слухам, они... в 10 верстах от нашей позиции. Жара стоит невыносимая. Не удивительно, что ропота и ругани среди солдат прибавилось. Только и слышишь: зачем война, на кой мне эти окопы и т. д. А крепкая отборная ругань, не смолкая, висит в воздухе. Приказы даже офицерами не исполняются... В солдатской среде распространяются слухи, что красные пленных не расстреливают и не бьют. По этому поводу якобы отдан строгий приказ Троцкого.

**25 июня.** Сегодня, бросив окопы, блиндажи, над которыми трудились целые ночи... отошли на ближайшую в тылу гору. Прочие части, стоявшие ле-





вее нас, бросили позицию и бежали. Одна из рот сдалась красным без боя. Нам пришлось уйти из укрепленной полосы без выстрела. Оказались в деревне Удалая с богатыми и красивыми домами, где и окопались. Тотчас артиллерия противника открыла по нам огонь. Через несколько минут деревня загорелась. Потянул ветер, и в момент пламя перебросилось на несколько домов. Крикнув людей, я побежал тушить. Но подойти было уже нельзя. Только из крайних домов удалось вытащить несколько мешков муки, машины и кой-какой домашний скарб. Скоро пожар превратился в море огня. Все убежали на вторую половину деревни, только одна старушка продолжала, на коленях стоя, горячо молиться. «Господи, спаси, прости нас», — услышал я, пробегая мимо, и почувствовал, что слезы потекли по моим щекам.

**29 июня.** С 25-го [июня] еще два раза отступали, окапывались, а ночью бросали все и отходили верст на 30—40, чтобы снова строить оборону. Прикрывая наш отход, следом двигалась штурмовая бригада... На рассвете подошли к р. Каме, за нею была Пермь. Со взрывом моста по реке сновали пароходы, перевоза обозы, конницу и пехтуру. Множество людей в беспорядке толпилось на берегу... В Перми остановились в Красных казармах. Не снимая шинели, пал на нары и заснул непробудным сном. Проспал весь день, а вечером один из офицеров, недавно вернувшийся из отпуска, разбудил и пригласил к распитию бутылки спирта...

**30 июня.** Вчера с рассвета начали отправлять обозы по разным дорогам, противник же приступил к обстрелу города из орудий. В 10 часов мы вышли из Перми. К нашему отходу город уже в нескольких местах пылал. Горел завод в Мотовилихе, горели керосиновые баржи, что-то на вокзале. Жители разбегались. Лишь оставшиеся женщины, старики и дети шныряли по улицам и пустым домам, растаскивая оставшееся имущество. С вечера 29-го в городе начались массовые грабежи. Разбили пивной завод. Пьяные солдаты пошли по магазинам, забирая все, что попадет под руку. Правда, там мало что оставалось. Магазины стояли... брошенные хозяевами. Растащили несколько вагонов обмундирования. Солдаты оправдывались: все равно ведь пропадет. Пермь-ки десятками покидали наши части... На лесной поляне за городом было построение: оркестр играл марш, командир полка держал речь... Противно было смотреть на эту кутерьму. Двинулись по лесной дороге. Хлеба не было, дали на два дня сухарей и по банке консервов, которые съели еще вечером... Пройдя верст 40, полк остановился в деревушке недалеко от р. Сылвы, где строили переправу.

**4 июля.** Четыре дня пробыли в этой деревне, роясь, как куры, на пыльной дороге и спяханных полях. Красные уже на второй день повели наступление. Мы успели уйти на гору и окопаться. Но сидеть там пришлось недолго. Справа густые цепи красных атаковали окопы егерей. Те смешались и бросились наутек. Начали обстреливать и нас с фланга. Пришлось следовать примеру соседей. Снова окопались и сидели на сухарях и воде. Вечером нас сменил 3-й батальон. Несмотря на обстрел, уходили радостные, оставив зажженную нашими снарядами д. Жуковку. Уже было не жаль обитателей, оставшихся без ничего, привыкли как-то. Пройдя верст 5, остановились в симпатичной деревушке, окруженной густым ельником, где под окнами домов быстро катилась небольшая речушка. Здесь отдохнули у добродушных мужиков на сеновале и помылись в бане.

**7 июля.** Вчера перешли р. Сылву по мосту, наскоро построенному у д. Троицы. По нему следовали несколько полков нашей дивизии, мы ожидали своей



Красноярские офицеры

наткнулись на обходную группу противника, решившего, заняв Кунгур, отрезать нашу дивизию. Но, столкнувшись с нашими, красные отступили... Мы стоим лагерем в березовой роще. Кто-то поймал большую лягушку и, зная, как я их боюсь, принес и посадил мне на книжку. Я, бросив карандаш и книгу, убежал, а он, каналья, катался от смеха.

**9 июля, г. Лысьва.** Час от часу не легче. Не только день, но каждый час жизни дарит неожиданности... 7-го [июля] случились важные события: только положил в мешок свою книжку и позвал Максимова на озеро умыться и собрать земляники, как позади нас раздались три выстрела. Через несколько минут выстрелы прозвучали снова, пули просвистели над нашими головами. Одновременно из кустов, к которым мы уже подошли, грянули залпы. На бивуаке началось столпотворение. Люди бросались из стороны в сторону, офицеры призывали к порядку, лошади разбежались. Кое-как собрались и двинулись к лесу, где обнаружили... трупы офицеров. Их было семеро, все из учебной команды, некоторые исколоты штыками. Учебники, отстреливаясь и махая кому-то шашками, отходили в лог. Наша цепь стояла, с недоумением наблюдая за их действиями. Командир батальона капитан Полонский\* направился к учебной команде выяснить ситуацию. Но по нему ударили выстрелы, и он повалился с лошади. Мы поняли, что в полку началось восстание. Вскоре около 100 учебников скрылись в лесу. Стало известно, что выступление имело место в Барнаульском и Ново-Никола-

очереди 4 часа. За это время солдаты посетили местную земскую больницу, брошенную на произвол судьбы своими обитателями, где варварски разграбили имущество... Я зашел в нее и увидел страшный хаос. По полу валялись банки, разлитая жидкость, мази, порошки. Солдаты рылись в шкафах, ломая и перебирая склянки, не понимая написанного на латыни. По просторной приемной на детском велосипеде разъезжал солдат, а человек пять его товарищей дружно хохотали. Беспорядок и повальное воровство царили и в деревне: у кого-то курей закололи, у других — ложки унесли, самовар украли, у третьих — корову зарезали в лесу. Все видели и всем было безразлично. Тяжело стало на душе у меня...

Перейдя мост, за день и ночь прошли верст 40. Сегодня утром части [ново]николаевцев

\* Полонский Николай Павлович — в Первую мировую войну служил в 11-м пехотном Донском полку. Произведен 11 января 1919 г. в капитаны, 12 октября того же года в подполковники. Умер от ран.



евском полках, которые стояли на позиции впереди нас. Офицеры-новониколаевцы бросили полк, батарею и обозы и тем самым спаслись. В Барнаульском же — сопротивлялись, и там есть убитые офицеры. У нас погибло 13 офицеров и 5 солдат. Собравшись, мы спешно двинулись на Лысьву. Сделав за два дня 80 верст, вчера поздно мы пришли в нее. Все тело ноет и болит, но слух, что мы едем куда-то в тыл на переформирование, придает бодрости и духу. Пишу уже в вагоне в ожидании отхода поезда.

Лысьву, вернее завод, где производились снаряды и посуда, постигла участь Перми. Его разграбили. Солдаты натащили вагоны котлов, ведер, тазов и мисок, имущества служащих — узлы одеял, скатертей, белья. Приволокли швейную машину, самовар, подушки, альбомы и шторы. Полковник распорядился награбленное отобрать, а мародеров выпороть. На берег реки наносили большую кучу всякого добра, а на мост поставили часовых. Солдаты, узнав об этом, стали бросать наворованное на улицах города.

**13 июля.** Сегодня день моих именин, а дома престольный праздник. В деревне к вечеру гости съедутся и пойдет пир горой. Вот проходит у меня уже 4-й праздник не дома, а бог знает где. Двигаемся поездом пятый день, а отъехали всего сотни четыре верст... Станции загружены поездами с войсками и беженцами.

**14 июля.** <...> Свернули с Горно-Заводской на Алапаевскую ветку. Эшелоны идут, точно телеги по шоссе, только в одном направлении, один за другим. На каждой станции часами ждем очереди отправиться. Слухи носят самые разнообразные, к примеру, что ожидается новый переворот, поэтому наша северная группа снялась с фронта... Говорят, что в высшем командном составе творится что-то неладное и назревает великое, грозное. Даже наш полковой штаб чего-то боится. Ночью перенесли к себе в вагон пулемет, пригласили офицера-пулеметчика. Сегодня с нами едва не повторилась история с Барабинским полком. Мы чуть не налетели на остановившийся впереди эшелон. Мчались под уклон на всех парах. Машинист дал тревожные гудки, и люди полетели кубарем из вагонов. Крушения не было, успели затормозить. Но из-за сильного толчка до 70 человек оказались ранеными. Одному сломали ногу. Около 10 серьезных вывихов и ушибов. Остальные пустяки-царапины, как вот и у меня на руке.

**18 июля.** <...> Когда кончится эта наша черепашья езда, бог знает. Час едем, 10 часов стоим... Пользуясь каждой остановкой, брожу по полям и рощам, собираю ягоды, цветы. Сегодня, возвращаясь и проходя мимо паровоза, невольно подслушал разговор кондуктора с солдатами. Надо ехать, говорит [он], не то ваши офицеры заплачут опять. Им в Перми вставили пропеллер, ну они и не могут... не двигаться. Бегут. В ответ послышался хохот солдат... Горько и обидно мне было слышать их злые насмешки, но что я мог сделать... Все последствия этой войны сваливают на офицеров...

<...> В крайнем доме нас угостила радушно... старушка. Давно мы не видели таких добрых стариков, какие живут, кажется, только у нас в Сибири. С каким удовольствием мы поели окрошку с хорошим квасом, сметаной, яйцами и луком и попили чай со сдобной булкой в ее чистенькой комнатке, уставленной цветами. Пили, пили чашечками, да и прозевали эшелон. Добежали до него, а поезд уже быстро разошелся, ребята успели ухватиться и запрыгнуть, а я, нагруженный, покатился на песок. Уже вечером догнал я свой состав с эшелоном беженцев.



**23 июля, с. Яр [Тюменской губернии].** Наконец-то наше мытарство закончилось, отдохнем душой и телом. Вчера вечером дотянулись до Тюмени, высадились из вагонов и уже ночью пришли в с. Яр, что в 10 верстах по р. Туре, где и разместились по домам\*.

Город произвел странное впечатление. Несмотря на то что о красных здесь не слышно, жители куда-то собирались, бегали по улицам, торопились. Закупив по сумасшедшим ценам лошадей и сложив манатки, они нескончаемыми вереницами потянулись по дорогам вглубь Сибири. На транспорт попасть было нельзя. А над этим непонятным хаосом парили аэропланы...

За городом на привале нас выстроили. К полку подъехал на гнедой кровной лошадке корпусной генерал Пепеляев\*\*. Кругом зашептались, поднялись. Поздоровался, проезжая по фронту, отдельно с каждым батальоном. После приветствия он попросил нас сойтись подружней и сказал небольшую речь. Оратор он плохой, но какой искренностью дышали его немногие слова, с каким чувством произносилась каждая его фраза. Говорил старое, знакомое нам, однако солдаты слушали со слезами на глазах: «...Что значит моя маленькая жизнь, когда гибнет Родина, да ну ее к е... матери и жизнь эту... Еще раз [хочу] спросить, могу ли я еще надеяться на вас, сибиряки?» «...Верь нам», — загремело кругом в ответ. «Я верю вам, — заключил он. — Идите с Богом». Сопровождаемый двумя солдатами, не отличавшимися от него одеждой, наш командующий отъехал от полка. Вслед ему понеслось громовое «ура».

**28 июля.** Забросил дневник свой, шатаюсь с утра до ночи по полям и лесам. То на покосе с дедом, у которого мы живем, то за ягодами. Хорошо! Ох как хорошо!.. Меня окружают родные милые картины... Сегодня делал смотр нашего полка генерал Мальчевский\*\*\*. Он почти не изменился. Разве седины добавилось в его польских усах. Долго говорил нам о нашей былой славе и о нашем бесче-

\* В результате этого перехода к р. Тобол белые части были преобразованы в армию без корпусов, но с воинскими группами переменного состава. 1-я Сибирская стрелковая дивизия пополнилась местными ресурсами. Полки были доведены до 16-ротного состава.

\*\* Пепеляев Анатолий Николаевич родился в 1891 г. в Томске. Из семьи кадрового военного. Окончил Сибирский кадетский корпус и Павловское военное училище (1910). Служил в 42-м Сибирском стрелковом полку. Отличился на фронтах Первой мировой войны. Награжден Георгиевским оружием (1916) и орденом Св. Георгия IV степени (1917). В феврале — мае 1918 г. — подполковник, один из руководителей подпольной антибольшевистской организации в Томске. С июня 1918 г. — начальник Томской дивизии и командир I Средне-Сибирского армейского корпуса. В июле 1918 г. произведен в полковники, в сентябре — в генерал-майоры. Награжден орденом Св. Георгия III степени. С января 1919 г. — генерал-лейтенант, с апреля — командующий Южной группой Сибирской армии. В июле назначен командующим 1-й Сибирской армией. С 1920 г. — эмигрант. В 1922—1923 гг. командовал Сибирской добровольческой дружиной, воевал в Якутии, сдался. Военным трибуналом 5-й Красной армии приговорен к смертной казни, замененной на 10 лет лишения свободы. Отбывал наказание в Ярославском политизоляторе. После освобождения в августе 1936 г. работал в г. Воронеже. Арестован в августе 1937 г. по обвинению в «контрреволюционной кадетско-монархической деятельности», в декабре тройкой УНКВД по Новосибирской области приговорен к расстрелу. Казнен 14 января 1938 г. Реабилитирован в 1989 г.

\*\*\* Мальчевский Модест Иванович родился в 1879 г., в службу вступил в 1899 г., окончил Чугуевское пехотное юнкерское училище (1901). Служил в 47-м пехотном Украинском и 30-м Сибирском стрелковом запасном полку. Проявил себя во время Первой мировой войны в боях в Восточной Пруссии. Награжден орденом Св. Анны IV степени и мечами с бантом к ордену Св. Анны III степени. С июня 1917 г. — подполковник. В январе 1918 г. приехал в Красноярск, стал членом подпольной антибольшевистской организации. С падением советской власти в Красноярске командовал частями, преследовавшими бежавших большевиков и красногвардейцев в Туруханском крае. С июля 1918 г. — командир 1-го Енисейского стрелкового полка, позднее 4-го Енисейского Сибирского стрелкового полка. Сражался с войсками Центросибири в Забайкалье, осенью 1918 г. вместе с полком был направлен на Урал, где принял активное участие во взятии Перми. Приказом адмирала Колчака от 21 января 1919 г. произведен в полковники, приказом по Сибирской армии от 16 марта 1919 г. — в генерал-майоры. Награжден орденом Св. Георгия IV степени. С 28 марта 1919 г. — командир бригады 1-й Сибирской стрелковой дивизии, с 28 апреля — начальник 1-й Сибирской стрелковой дивизии, с 8 августа — помощник ее начальника, с 18 ноября — командир 2-й Прифронтовой бригады. Умер в декабре 1919 г. в Красноярске от тифа.



стии, позоре в последнее время. Волновался, кричал, но сказал очень неглупо... разнося в прах изменников и предателей. По окончании речи ему долго кричали «ура». Потом полк церемониальным маршем под звуки оркестра стройными рядами прошел мимо него и толстущего генерала, проследовал по селу, приводя всех стариков в неопиcуемый восторг. Музыканты и сейчас дуют перед домом, где обедает начальство. Завтра, наверно, начнутся занятия...

**31 июля.** <...> Мне рассказали исходящую от Шмандина\* новость, что мы находимся накануне великих событий. В России уже объявлена монархия. И Семёнов, и Колчак пришли к соглашению и хотят войти в тесный союз с Японией, которая обещает поставить войска для уничтожения большевиков и водворения монархии. В Германии также объявляется монархия, и она войдет в союз с Россией и Японией... В Ялуторовске, по словам очевидцев, страшная паника. Всем еще 7-го [июля] было приказано выехать из города. Красные, по докладу конных разведчиков, построили мост через Каму и доходят вплоть до Екатеринбургa. Вечером вчера ходили на смотр. Приезжал Зиневич\*\*, командир дивизии. Новые бойцы прошли хорошо, но винтовки заряжать не умеют. В длинной речи к нижним чинам он говорил все о том же Учредительном собрании, о победе над большевиками. Заканчивая ее, он спросил солдат: способны ли они сражаться самоотверженно как ранее? В первых рядах ответили положительно, а в задних...

**9 августа.** Всего вдоволь. Объеденье одно. Жители к нам относятся радушно, особенно [женщины], которых слово «солдатик» приводит в умиление. Когда рота идет с песнями, то все плачут, хотя и песня веселая. Особенность здешних жителей — их солидность. Почти все старики и бабы толстые-претолстые, важные такие. Старики с седыми бородами и головами, а бабы грудастые, вводившие Сильку Патрикеева при встрече в возбужденное состояние... Ходили рыбачить неводом на озеро. Поймали ведро щук и карасей... Очистили, нажарили с яйцами, натрескались и валяются все, точно поросята, вспоминая минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. Меня выбрали начальником хозяйственной части и вручили 1000 рублей денег на ведение хозяйства. Я закупаю картофель, огурцы и яйца. Прикрываясь делами по хозяйству, иногда не хожу на занятия и развожу балясы с женщинами... В Омске, по словам командира полка, все трещит и рушится.

\* Шмандин Александр — прапорщик, в апреле 1919 г. произведен в подпоручики. Награжден орденом Св. Станислава III степени с мечами и бантом.

\*\* Зиневич Бронислав Михайлович родился в 1874 г., из мещан Оренбургской губернии. В службу вступил в 1891 г., окончил Казанское пехотное юнкерское училище (1895), а позднее Академию Генштаба. Служил во 2-м Восточно-Сибирском батальоне, капитан (1905). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Воевал в составе 31-го Сибирского стрелкового полка, был ранен, награжден орденом Св. Георгия IV степени (1915) и Георгиевским оружием (1916). С ноября 1916 г. по ноябрь 1917 г. — командир 534-го Новокиевского полка, полковник. Весной 1918 г. — член подпольной антибольшевистской организации в Красноярске. С 20 июня 1918 г. — командир 1-го Енисейского стрелкового полка, с конца июля — начальник 2-й стрелковой дивизии Средне-Сибирского корпуса (с августа 1-й Сибирской дивизии). Успешно действовал против красных в Забайкалье. За отличия в боях приказом по Сибирской армии от 31 октября 1918 г. произведен в генерал-майоры. Награжден за Пермскую операцию орденом Св. Георгия III степени. С апреля 1919 г. командовал I Средне-Сибирским армейским корпусом. В конце 1919 г. назначен командующим войсками Енисейского района и начальником гарнизона г. Красноярска, предложил, перейдя на сторону Политцентра, установить в губернии власть Временного комитета общественных организаций и призвал Колчака передать свои полномочия Земскому Собору. В январе 1920 г. был отстранен от власти, арестован, находился в красноярской тюрьме. В июне-июле того же года коллегией Омской губернской ЧК приговорен сначала к расстрелу, затем к пяти годам заключения в концлагере. В августе был отправлен в Москву, а в ноябре освобожден с назначением на должность помощника инспектора пехоты при штабе помглавкома по Сибири. В феврале 1921 г. выслан из Красноярска в Омск, в марте — вновь арестован и препровожден в Бутырскую тюрьму. 13 февраля 1922 г. Президиумом ВЧК приговорен к заключению в концлагерь до обмена с Польшей. Реабилитирован в 1993 г.





**13 августа, д. Кутырево.** Все были уверены, что после смотра нас направят на позиции. Но уезжать из деревни, где так славно обжились и завели себе Маш, Дуняш и Катюш, страшно не хотелось. Вечером в воскресенье только я подмигнул чернобровой Клашеньке и хотел удалиться от людского глаза подалее, как стало известно о выступлении в 6 часов утра. Надо собираться. Мигом уложили вещи на возы и под звуки оркестра, провожаемые ротой девок и солдаток, тронулись в путь. На второй день пришли на станцию и, разместившись на площадках человек по 60 на каждой, словно дрова, поехали на Ишим. Не доезжая его, высадились на ст. Гольшманово и заняли д. Кутырево...\*

**15 августа.** Ну и скучно это Кутырево. Живой души не увидишь. Вчера был праздник, а деревня оставалась пустой. С досады сел играть в карты и проигрался... Красные заняли Ялуторовск. Наши бегут. Ходили на стрельбы. Новобранцы плохо стреляют. Иной со слезами на глазах трясется.

Кругом восстания, бегство на фронте, а правительство Колчака все еще на что-то надеется. Здесь никто уже не верит в победу. Думы, эти черные думы... не дают долго... заснуть мне в эти чудесные лунные ночи.

**18 августа.** Утром я был назначен помощником дежурного офицера по полку. В штаб привезли почту — куля три писем... Вчера вечером командир полка Журавлёв\*\* собрал всех офицеров на лужайке и долго беседовал. Говорил о скором наступлении, о его возможном печальном исходе... Крадут вагонами сахар и обмундирование, а мы ходим голодными и оборванными. Поговаривают, что Мальчевский присвоил енотовые шубы и золотые изделия, находившиеся в ломбарде...

**21 августа.** Солдатам негде даже укрыться от дождя. Мы, офицеры, и обозники занимаем крайнюю в деревне бедную и полуразвалившуюся избушку. За неимением места в хате спим под крышей...

**24 августа.** С утра узнали, что ротным назначают капитана Романова\*\*\*, который ранее командовал нашим батальоном и вернулся из отпуска.

**15 сентября, г. Ишим.** Вчера, пройдя верст 15, вышли к железной дороге и остановились в небольшой переселенческой деревушке, заселенной украинцами. Станция Гольшманово, говорят, уже занята нашими конными частями. Красные убирают с линии все войска, перебрасывая их на север в обход Ишима. Жители встретили нас здесь косыми, недобрыми взглядами, нередко выговаривая за несправедливое отношение к крестьянам. Красные два дня тому назад вышли отсюда, оставив о себе хорошие отзывы. Наши же как вошли, так

\* Согласно приказу по 1-й Сибирской армии от 14 августа 1919 г., ее частям было предложено перейти в общее наступление. Перед ними была поставлена задача покончить с 29-й дивизией красных и, преследуя их в направлении Ялуторовска, выйти в район Емуртлинского, Уваровского и Кургана. Задача была заведомо невыполнимой, т. к. перед белыми стояла вновь сформированная 51-я стрелковая дивизия 9-полкового состава.

\*\* Журавлёв Пётр Николаевич родился в 1892 г., окончил 1-ю Иркутскую школу прапорщиков, на военной службе с 1915 г. В Первую мировую войну подпоручик и поручик 39-го пехотного Томского полка. В 1917 г. награжден орденом Св. Георгия IV степени. С августа 1918 г. — капитан. Отличился при взятии Перми. Приказом адмирала Колчака от 11 января 1919 г. произведен в штабс-капитаны. Командир полка с марта 1919 г., подполковник. Награжден Георгиевским оружием, орденами Св. Владимира IV степени и Св. Анны III степени с мечами и бантом. Автор статьи «Взятие Перми», опубликованной в газете «Свободная Сибирь» и перепечатанной в газете «Свободная Пермь» соответственно от 8 и 11 февраля 1919 г.

\*\*\* Романов Борис — штабс-капитан, командир роты. Награжден орденом Св. Станислава II степени с мечами. В феврале 1919 г. переведен в 1-ю Сибирскую штурмовую бригаду. С лета того же года вновь служил в 4-м полку.



все огороды обшарили, плетни попалили и сено увезли. «Да за что ж вы воюете?» — вопрошала старуха, вытирая передником слезы...

К вечеру вышли из деревни на разъезд и на площадках покатали в Ишим. Дул сильный холодный ветер. К рассвету мы были в городе и строем шагали по спящим еще улицам. После долгих переговоров с хозяином квартиры нам чуть ли не с помощью плети удалось отвоевать комнаты, обставленные с буржуйским вкусом, и поместиться. Солдаты заняли пустой дом во дворе. Спать не хотелось, и мы целой компанией повалили в город. Он, как и все сибирские города, мал, грязен, небогат и даже в 12 часов дня казался пустым. Жители ввиду надвигавшейся опасности покинули его... Хотели зайти к парикмахеру, но не могли духу набраться. В волосах у нас развелись уже вши. Стыдно. Побродив часа два и купив на базаре масла, сыру и семечек, вернулись на квартиру чаевничать... Комнаты нам хозяином, получившим выволочку от нашего начальства, были очищены, и прислуга к чаю подала посуду и молоко.

**18 сентября, д. Преображенская.** Не успели попить чай, как прибежал посыльный за нашим ротным... Стало известно, что в 5 часов утра полк выступает на Тобольск по тракту, чтобы выбить красных, занявших село по нему в 20 верстах от Ишима. До свету покинули сонный городок, где ни отдохнуть, ни помыться в бане не удалось. За трое суток прошли 80 верст, опустошая огороды, растаскивая овес и сено. Красные, забрав всех лошадей у мужиков, удрали на Тобольск\*. Устали все чертовски. Сегодня до обеда отдыхали и мылись в бане. После обеда прошли еще 20 верст и заночевали. Завтра переход назначен в 26 верст до большого села, где, говорят, засели красные и ждут.

**20 сентября, д. Орловка.** Нас бы очень много осталось лежать... До села, на которое мы наступали, было 4 версты чистого поля. Выйдя из леса цепью, атаковали его в лоб. 2-й батальон пошел в обход... На нашу залповую стрельбу из села отвечали редкими ружейными выстрелами. Решив, что красные засели и поджидают поближе, мы шли перебежками. Одного солдата в роте ранили, в разведке пали трое. Когда до села осталось с полверсты, огонь из него смолк. Оказалось, что в с. Кротовском была лишь разведка красных, которая, собрав сведения о противнике, смылась. Красных было много, но они, по словам жителей, еще вчера с орудиями и пулеметами ушли. Заночевали. Усталый и грязный, я не разуваясь прилег на лавку и тут же уснул... Проснулся после дикого сна. Убьют или ранят, думалось мне. Вчера еще не успели войти в село, как где-то у кладовки солдаты сбили замок и утащили варенье и сметану. К вечеру покинули село и в 5 верстах заняли деревушку. Она стояла в глухом лесу и была покинута жителями. Наш «дикий барин», как прозвали солдаты нового командира батальона, послал разведчиков в соседнюю деревушку. Спать не хотелось, сел писать. Ребята улеглись и храпят на всю избу.

**22 сентября.** Вчера после обеда батальон двинулся в наступление на такую же деревушку в 4 верстах. Я был послан с 3-й ротой, которая пошла в обход и вышла в тыл красным. Окопавшись, открыли залповый огонь. Красные в ответ стреляли из пулеметов и ружей. Было начала стрелять и наша батарея, но затем замолкла. Темнело, начался дождь с холодным ветром, а стрельба не смолкала. Нас и красных разделяло лишь ровное пшеничное поле. Но атаковать

\* Части 1-й Сибирской стрелковой дивизии выбили 256-й полк 29-й дивизии красных из обороняемого селения, но с подходом свежих сил Красной армии наступление белых было остановлено.



побоялись. Опасались атаки с фланга, связь не могли наладить. Прошло три мучительных часа. Никто из посланных связистов не возвращался. Положение становилось все неопределеннее и страшнее. Все ругали штабных и комбата. Когда же узнали, что командир 2-й роты Чернобровин\* отвел свою часть в тыл, то разорвали бы его. В темноте тихо пошли обратно. Пулемет разобрали и несли на себе. Вышли на тракт и вернулись в прежнюю деревищу. Там все спали, решив, что мы попали в плен.

**24 сентября, с. Кротовское.** Вчера в 4 часа утра двинулись в наступление на д. Александровку. Наша рота была на левом фланге, в густом лесу. Недалеко от шоссе красные нас обстреляли и ушли в деревню. Мы тихо продвигались следом. Вот и деревня: слышен разговор, лай собак. Но тут перед нашей цепью затрещали выстрелы. Попадав в траву, люди начали окапываться. Я прилег за березку, ожидая появления красных... Овладевала преступная мысль прострелить себе руку. Но тут что-то тяжелое ударило меня в левую ногу. Оказалось, что я ранен пулей, пущенной рикошетом. Пополз в направлении перевязочного пункта, где стояли подводы. Только к 2 часам ночи с грехом удалось добраться до него. Утром приехали в село. Раненых в тот день насчитали до 30 человек, между ними был и наш ротный командир. Нас всех отправили в Ишим. Убитых, человек 6, похоронили здесь же...

**2 октября.** В госпитале полно раненых и больных, которые находятся на попечении сестры — большеносой типичной еврейки. Грязно, коек нет, сделаны из досок нары с соломой, покрытой холстом. Здесь вот один около другого и валяются больные... Третий день под дождем тащусь по грязной дороге в полк. Он, говорят, ушел на ст. Гольшманово три дня назад, а ехать туда 70 верст.

**6 октября.** Наконец-то, после 5-дневного перехода в 300 верст, я добрался до родной роты. Соскучился немало о ребятах, соскучились и обо мне. Поместившись в одной избе, солдаты, измученные ночными переходами, спали прямо на полу, на лавках, печи и полатах. Словом, изба производила впечатление мертвецкой, но все же я благодарю провидение за благополучное возвращение.

**8 октября.** Вчера полк ушел на позиции. Командиром роты после Романова, раненного под Александровкой и уехавшего в Красноярск, стал Максимов. Все мои товарищи побывали в отпусках, резервных ротах и командировках. Я же никуда ни на день не отлучался из роты. Поэтому меня, как офицера, бывшего более других на фронте, оставили отдохнуть в обозе... Мишка, черт, уехал вчера в Ишим для обучения вновь призванных мужиков. Ну и рад же он!

**10 октября, д. Костелево.** Еще день пробыл здесь. Много наших ранено и убито. Максимов заболел и, передав роту Моисею, уехал в госпиталь. В ночь поеду и я. Пропадать, так на миру.

**12 октября.** Стоим всем полком среди поля и ждем чего-то... Вчера отошли на новую позицию\*\* и сидели весь день в окопах рядом с Барабинским полком. На его участке красные дважды наступали. Барабинцы то отходили, то снова возвращались, а мы сидели по окопам и наблюдали. Канонада не умолкала до ночи. С нашей стороны били 10 орудий. К вечеру подошел отряд Красильни-

\* Чернобровин Иван — поручик, с марта 1919 г. штабс-капитан. Награжден орденом Св. Анны III степени с мечами и бантом.

\*\* 10 октября 1919 г. началось наступление частей 3-й Красной армии, которое сбilo с позиции части 1-й Сибирской стрелковой дивизии.



кова\*. Егеря и мы дважды сходились с красными в штыки. Наконец, противника сбили с позиции. Он бежал, оставив трофеи и раненых. Нас вечером отвели в армейский резерв.

Тихо сегодня, лишь изредка на линии железной дороги ударит раз-другой орудие. Ребята поснимали рубашки и бьют вшей, рассказывая сказки и анекдоты. Гремят взрывы дружного молодого хохота. наших офицеров осталось только четверо — Моисей, Чернявский, Гилев, Патрикеев и я. Все спят, зарывшись, точно свиньи, в сено.

**18 октября.** Третий день живем на позиции, расположившись в глубокой канаве. Понастроили избушки-землянки с вырытыми печками вроде камина с пробитым отверстием для дыма. Я вошел в компанию с двумя стрелками моего взвода, веселыми ребятами-татарами. Землянку устроили такую, что она служила образцом для всех. И печь не дымит, и имеется кушетка, стул и нары. Не переставая потрескивают дрова...

Красные не наступают, наши тоже молчат. Прошел слух о снятии нашей дивизии и отправке полков в свои города на переформирование... Обмундирования нет. Вся рота ходит босиком... Вчера наше житие-бытие ознаменовалось приездом Пепеляева. Приехал под вечер, поздоровался, спросил о пище и обмундировании. Обошел наш участок и... Вся его кавалькада помчалась по дороге обратно.

**28 октября.** В той канаве, где было тепло устроились, нас... сменили красильниковцы. Мы ушли в резерв и два дня поблизости от железной дороги рыли землю, устраивая землянки, углубляя окопы. [Казалось,] крепко засели в окопах с проволочным заграждением и артиллерийским прикрытием из 40 орудий. Наступление красных по чистому полю было немислимо. Однако это не помогло. Дня через три красные поперли так, что мы к вечеру бросили окопы и сломя голову бежали на другую сторону села. От рвавшихся снарядов все кругом гудело. Разрывы их в цепях красных поднимали землю с людьми выше берез, но они как ни в чем не бывало двигались на наши окопы. Достигнув проволочного заграждения, они с криком «ура» бросились на нас. Мы побежали толпой, обгоняя друг друга, бросая шинели, мешки и винтовки, и остановились уже за рекой, где залегли в березовой роще. Вечерело. В селе кое-где горели дома, выли собаки и кричала домашняя живность. Простояли ночь без сна и голодом, окопались. Днем около десятка солдат было ранено. Руфиму Мальцеву пуля угодила в грудь. Бедняга только что вернулся из отпуска по ранению, на Пасху женился и вот...

Прошли день и ночь, поели супа, а наутро заметили цепи в лесу. Поднялась стрельба. Красные с криком бросились вперед. Я прилег в окопе и начал было стрелять. Гляжу, наши уже бегут, мелькая между берез, побежал и я. В деревне

\* Красильников Иван Николаевич родился в 1888 г., уроженец г. Илецка. Окончил Симбирский кадетский корпус (1907) и Александровское военное училище (1909). Служил в 1-м Сибирском казачьем Ермака Тимофеевича полку. Во время Первой мировой войны находился в составе Отдельной Сибирской казачьей бригады, сражавшейся на Кавказском фронте. Отличился в бою под Ардагашем, под Эрзерумом был ранен. В 1917 г. — есаул. Весной 1918 г. — член Омской подпольной антибольшевистской организации, с июня того же года — командир отдельного партизанского отряда. За взятие Иркутска приказом по Сибирской армии от 13 июля 1918 г. произведен в войсковые старшины. Успешно воевал с красными на Ленско-Витимском фронте. Один из главных участников государственного переворота в Омске 18 ноября 1918 г., произведен в полковники. С февраля и по июнь 1919 г. занимал пост начальника Канского военного района, командовал войсками, подавлявшими крестьянское повстанчество, с июля — Отдельной Егерской бригадой. За отличия в боях в августе 1919 г. произведен в генерал-майоры. Сражался с Красной армией на Восточном фронте. В январе 1920 г. умер от сыпного тифа в Иркутске.



командир полка пытался со своим штабом задержать роты. Но солдаты бежали еще верст 6, с пеной у рта падали и оставались лежать. С трудом вставая, по ужасной грязи и под дождем шли куда-то. После пяти тревожных дней, осилив 50 верст и достигнув с. Сорокино, мы смогли нормально поесть и спокойно уснуть.

**31 октября, д. Быстрая.** Проходим старые, кровью добытые места. Сидим в деревне, которая месяц тому назад 12 раз переходила из рук в руки. Так же, босые и оборванные, мы мокли под проливным дождем, но были сильны духом и дисциплиной. От усталости или из-за наших доморощенных стратегов — разобраться трудно — наша армия дезорганизована. Вчера ночью человек 20 красных, стреляя залпами, пуская ракеты и крича «ура», объехали с двух сторон деревню, где отдыхал Барабинский полк. В панике заставы бежали, не предупредив спящих солдат. Все бросились из деревни кто куда, забыв пулемет, обоз и кухню. Наши также от двух-трех выстрелов все бросают и бегут. А разговоров и ругани — боже мой. Доходит порой до смешного. Вечером приходит в цепь командир батальона и, собрав всех офицеров, объявляет своим картавым языком, что ночью наша артиллерия откроет огонь, а мы должны ее поддерживать... Поздравим, говорит, красных с годовщиной Октябрьской революции. Сказано — сделано. В 3 часа ночи с. Сосновское содрогнулось от взрывов. Затрещали пулеметы, мы орали «ура». Но вот все стихло. Минут через 15 красные открыли такой же огонь. Темноту над селом прорезали ракеты. Ближе от нас раздалась стрельба из пулемета и залпами, еще ближе — мощное «ура». Наши, как испуганное стадо овец, бросились бежать...

**3 ноября, ст. Ишим.** Вчера наконец-то добрались до долгожданных вагонов и поехали в Ишим.\* В одной теплушке поместилась вся рота — 62 человека. Теснота невообразимая, холодно, грязно... Сегодня всю ночь пришлось трястись у разложенного в вагоне костра, утирая рукавом слезы от едкого дыма.

**5 ноября, ст. Драгунская.** За 4 дня не проехали и двухсот верст. Тянемся... на много верст эшелон за эшелонем. На улице как-то вдруг с первым же снегом повеяло сильным северным ветром. Хорошо, что ребята на одной из станций умудрились достать печку, и обитатели вагона избавились от дыма. Теснота ужаснейшая, но терпимо. Все фронтовые полки едут. Кто же остался воевать? Ишим уже занят красными, Омск эвакуируется. Черт их знает, что там опять задумали наши бюрократы. А наши мудрые вожди придумывают и пишут людям в роты новые и новые бумажки. Словно маленьким ребятам обещают конфетку, если они будут паиньками.

**11 ноября, ст. Барабинск.** 16 дней едем, а половину пути преодолеть не можем. По 30—40 верст делаем в сутки. Один за другим проходят дни... Теснота, духота, особенно ночью — это что-то невозможное. Вчера ночью меня вырвало от поднявшейся вони. Каждое утро, просыпаясь, снимаешь и тщательно обыскиваешь одежду, давая и выбрасывая за окно сотни... вшей... У солдат их еще больше... Время проходит в картежной игре и спанье, иногда поем всем вагоном. Частенько Чернявский угощает нас своими романсами или исполняет «Вечерний звон». Выходит очень красиво. Но все мы уже порядком надоели друг другу, а до Красноярска еще далеко.

\* Приказ о снятии с фронта частей 1-й Сибирской армии, понесших тяжелые потери, и отправке их на переформирование в тыл был принят командованием 25 октября 1919 г. Согласно этому приказу, 4-й Енисейский Сибирский стрелковый полк и штаб 1-й Сибирской стрелковой дивизии перебрасывались в Красноярск.



**16 ноября.** Ползем по 50—100 верст в сутки. Все боятся тифа. Еще третьего дня у нас был один больной, а сейчас половина стрелков валяется в жару с бредом и криками...

**18 ноября.** Вчера 6 больных удалось поместить в летучку, а сегодня заболело еще четверо. Болит и у меня голова. Ухаживая, я заразил и себя, наверное. Если не свалит, то благодаря моей крепкой натуре. Омск, наверное, сдан. Что ждет в Красноярске? Тревожные мысли не выходят из головы... Добыть паспорт, рискнуть, что ли, и сойтись со своими охотниками. Тут не могу больше оставаться. Хуже во всяком случае не будет.

**25 ноября, г. Красноярск.** Красноярск встретил нас холодно, безучастно. Ни одна живая душа не встретила. Приехали ночью на 21-е. Но простояли в вагонах до 23-го, ожидая предоставления квартир. Только к ночи 25-го, грязные, в лохмотьях, мы, с оркестром пройдя город, направились в с. Ладейки, что на другом берегу реки в 10 верстах от города. 3/4 солдат роты слегли от тифа в госпиталь. Отпуск не дают. Красноярцы живут преспокойно. Тогда как везде восстания и фронты... Из дому утешительного ничего, разве то, что... мои хлопоты об открытии школы в Айтате увенчались успехом... Если поеду домой, надо не забыть купить ребятишкам в подарок карандашей и тетрадей.

**2 декабря.** Славно обжились у Анны Матвеевны, словно у себя дома спалось на ее постелях и елось за ее хлебосольным столом. Вчера черт принес артиллеристов и нам было приказано очистить занимаемый участок для них. Избы нашли плохие, а хозяйева еще хуже, неприветливые и злые.

**6 декабря.** Пришли собирать пожертвования на венок Мальчевскому. Умер от тифа. Меня словно кольнуло что. А ведь сколько он крал... на миллионы одного золота набрал в пермских ломбардах и... умер. Осталось все, и пожить не пришлось...

**12 декабря, с. Ладейки.** Наконец-то я выбрался из полка. В субботу на той неделе пошел вновь к командиру полка с твердым намерением дожать его. И он разрешил мне отпуск бессрочный... Утром назавтра, собрав свои манатки, уехал к дяде и на его лошади ночью на третий день приехал домой... Своих-то и я не боюсь, [они] ничего не сделают и не выдадут, но меня страшно пугает эта наша самоходня несчастная... Изменился я, не бьется уже сердце при приближении к родному Айтату, как раньше бывало. Точно не домой я вернулся после всего пережитого, а в одну из деревень, как на фронте. Сердце очерствело, пусто на душе. Мама состарилась еще больше...

**20 декабря, д. Айтат.** Дни бегут незаметно. То хозяйством занимаюсь, то в школе с ребятишками вожусь... А вчера так весь день прозанимался, отпустив учительницу в Мурту. Третьего дня с Ольгой Александровной у соседней крестили дочь. Она еще молодая красивая женщина. Немудрено, что мы скоро сдружились. Вчера, затаскивая парты в класс, она назвала меня «Петенькой» и стушевалась, как гимназистка. Я сделал вид, что не расслышал... Фельдшер обещал... дать удостоверение о болезни, значит, можно пожить до Рождества дома, а там... Паспорт получу, и вольный казак.

**9 января 1920 г., г. Красноярск.** Город... наводнен войсками разоруженной «белой» армии, пришедшими советскими войсками с запада и войсками Цетинкина из Минусинска. Люди бродят днями голодные, полубольные из дома в дом, прося кусок хлеба или обогреться. В худшем положении находятся... лошади. Бедные, замороженные животные слоняются по улицам, как тени, отыскивая соломины на дороге. Сердце разрывается, глядя на них. А их





тысячи. Куда ни глянь — всюду лошади и лошади... Ходил сегодня в штаб своего полка, где решил записаться и служить верой и правдой в новой, советской армии, в ее 4-м советском Енисейском полку... Максимов выбран ротным, Силька и Мишка — взводными, а я остаюсь начхозом роты. Рота стоит заставой при въезде в город. Все проезжающие обыскиваются. Казенное имущество и оружие отбираются. Словом, идет грабировка. Ребята по 3—4 револьвера завели, лошади, седла, английские сукна, шубы... Столпотворение какое-то. Офицеров, не признающих советскую власть, сажают в тюрьму. Полна уже, говорят.

**10 января.** Да, выход один — это поступление в Красную армию. Скрываться? И с чем?... В деревню уехать — каждый встречный может бросить упреки... Ушел к ребятам в роту... Гуляй, Митька, пока...

**11 января.** Быстро же я отгулял. Вчера еще успел съездить к дяде в город... а вечером принесли приказ о разоружении нашего полка и сдаче всего имущества, за исключением пары белья и верхнего платья, в полковой цейхгауз. Сегодня будут выданы всем стрелкам документы, и кто куда. На все четыре стороны. Перед роспуском все пойдут на митинг. Хотят, видимо, из добровольцев создать новую бригаду, а нам не верят. [Прежний] командный состав пока остается на месте, а после окончательной ликвидации части всех загонят, говорят, в городок, в лагерь военнопленных, и бог их знает, что там еще станут с нами делать... Вчера весь вечер шутили, дурили со своими хорошенькими хозяйками... а ночь не спалось, черные думы не идут из головы. Опять тот же вопрос встает: «Что-то будет, что-то будет?»

**15 января, д. Кузнецово.** Вчера поздно ночью из штаба полка получил бумажку, в которой указано явиться завтра утром с 30 молодцами в распоряжение комиссара по сбору и ликвидации колчаковского имущества... Товарищ Крутуха принял меня очень любезно и объявил, что сегодня мы выступаем с 3 тысячами лошадей по Иркутскому тракту. «Прикажите своим молодцам словить хороших лошадей и седлать». Я вышел во двор. Он был полон лошадей, голодных, еле волочащих ноги. Бедные животные шатались из угла в угол, грызли стены, падали и дохли... Часа через два мы выехали. Не успели из города выгнать хвост нашего табуна, как случилось нечто ужасное. Лошади, не видевшие неделю воды, бросились на Енисей к прорубям и полыньям. Отогнать их и восстановить порядок не было сил. Лошади давили друг друга и сваливались в воду. Скоро проруби и полыньи наполнились телами животных. Другие сошли с дороги на лед и попадали... Только к вечеру, оставив половину [животных] на реке, остальных погнали дальше. На намеченный станок... где была заготовлена солома для корма и квартиры, приехали часов в 11 вечера. Я простыл, будучи верхом, морозит...

**18 января, с. Маганское.** Так и есть, я заболел. Видимо, тиф. Лежу третий день в крестьянской избе. Ребята, оповестив соседние деревни, раздают лошадей мужикам. Вчера ночью думал, что умру. Жар. Спасибо старику хозяину. Он помогал. Всю ночь ходил за мной. А днем надо писать расписки мужикам о взятых лошадях.

**4 февраля, г. Красноярск.** Отлежав неделю, две недели как приехал, болтаюсь у дяди. Было еще три сильных приступа, но, благодаря уходу сестры из госпиталя Раи, кое-как перенес и начинаю ходить. Ослаб, сил нет, похудел до неузнаваемости. Умерла тетка. Горе дяди, неутешное горе этого обиженного жизнью человека, неприютность девчат докончили меня окончательно. Мало-



крови развивается с каждым днем. Доктор велит ехать в деревню... Удалось достать отпускной документ. Счастливый, еду завтра к маме. Полк, кажется, расформирован по разным командам. Не знаю о судьбе ребят. Война на востоке разгорается. Чехи и остатки колчаковской армии сопротивляются где-то за Канском. Здесь понемногу все прибирают к рукам.

**15 февраля, д. Айтат.** Добрался наконец и снова в своем родном Айтате. Мама несказанно рада моему приезду и не знает, что мне приготовить поесть из молока, т. к. я, кроме молочного, ничего есть не могу. Соседи ежедневно посещают. Друг покойного отца рассказывает нескончаемые приключения из своей с отцом военной и охотничьей жизни. Местные власти, несмотря на пятидневное пребывание, пока оставили меня в покое.

**20 февраля.** Тихо, грустно порой от этой монастырской тишины. Время убиваю в работе или чтении книг. Нет желания общаться. Недаром же муж Ольги Александровны вчера назвал меня флегматиком. «Может быть, и так, — ответил я. — Жизнь сделала таким. Вы ведь не пережили того». Разговор вышел какой-то злой, как с моей, так и с его стороны. А вечером Ольга Александровна попросила не обращаться к ней в присутствии мужа. Хотел объясниться с ним, да ну его ко всем чертям, дурака. Надоели мне эти ревности. Словно я красавец какой. Ну и глупы же все эти молодожены... Дядя очень плох. Вчера принесли телеграмму...

**27 февраля.** Дня четыре назад получил из волости бумагу, в которой предлагалось бывшим офицерам... в трехдневный срок явиться на учет в военкомат. Воспринял это известие с равнодушием. Но когда мне сказали, что военком и мой старый враг А. Ковригин спрашивал о моем выезде в Мурту для постановки на учет, меня немного покорило. Ведь он может меня арестовать, хотя я уволен до выздоровления. Придется собираться куда-нибудь.

**6 марта.** Вчера привезли письма из Красноярска, которые меня оживили и успокоили. Поехал в Мурту и зарегистрировался. В опросном листе на вопрос о признании советской власти написал «сочувствую» и дал свой адрес. Этот лист вроде анкеты, которую отправят в Красноярск, а там что скажут, не знаю. Да черт с ними. Хуже не будет, что было уж.

Дни проходят в работе по хозяйству, некогда и почитать, а вечера — на собраниях односельчан. Нет дня, чтобы Ефим, здоровенный дядя, с такой же дубиной в руках от собак, осаждавших его, не кричал, шагая улицей: «На сход, эй, Петро Павлович, на сход иди, прочитай там». Иду, читаю и пишу ответы на бесконечные требования овса, муки и сена на нужды Красной армии. Мужики гнутса, кряхтят, да везут.

На днях наблюдал случай, лишний раз доказывающий отсталость и сохранившееся грубое отношение к женщине моих сородичей. В деревне уже три недели, как стояла красноармейская часть. Красивые, чистые и бойкие ребята сразу заняли первое место у местных красавиц. Начались ссоры с нашей молодежью. Когда же солдаты собрались уезжать, то легкомысленные девахи собрались следом. Уход одной из них открылся, ее нашли у красноармейца и избili до полусмерти. Возмущенная толпа человек в сто, подгоняя кулаками и сопровождая беднягу боем в заслонку, гиканьем и воем, повела ее по деревне, а она, заливаясь слезами, все цеплялась за шинель уходившего и кричала: «Миша, Миша, заступись, убьют». А толпа неистовствовала...

**14 марта.** Быстро и неудержимо летит время. Работы хватает: то коров кормить, лошадей и ягнят, то телят поить. Встанешь в 4 часа и до 4 все ходишь...

**1 апреля.** Слава Всевышнему, самую тяжелую и нудную работу кончили: измолотили весь хлеб. Уж и поработал я эту неделю. Измаялся вконец...

**4 апреля.** Боже ты мой милосердный! Неужели умер дядя, неужели убит Георгий? А говорят, что это так. Мама извелась... Нелегко и мне, вместо предполагаемого отдыха — в душе страдания за своих близких и за себя. Заклейменный печатью офицера, я изгнан даже из среды мужиков. «Ты — буржуазия, кулак, колчаковский наймит и офицер», — слышу от них. Мне стало нельзя присутствовать и высказываться на собрании. Мало того, за мной следят, хотят в чем-либо замешать, чтобы арестовать и отправить отсюда. Вчера арестовали учительницу Ольгу Александровну за то, что она по дороге из Красноярска в споре с кем-то прямо высказала свое мнение о существующей власти. Сегодня, говорят, отправили ее из Мурты в тюрьму... Школа осиротела. Книжки ребятишкам меняю пока, но... Очередь на арест висит над головой, и чувствуется ее близость с каждым днем, хотя и не за что. Эх ты, доля злая.

**[Последняя страница, без даты.]** Как много прошло времени, больше месяца я не заглядывал в свой дневник... Хотя что и писать-то было, так однообразно, тихо проходит жизнь. Работаю с утра до ночи, ни о чем не мечтая, ничего не жалея. От грубой и тяжелой работы огрубел я как физически, так и духовно. Руки грязные, мозолистые... Я ушел в себя, я одинок, но счастлив, что меня пока оставили на свободе. Ведь всех арестовали уж, а я...



---

Александр СУХАЧЁВ

## СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ НА ФОНЕ КРУШЕНИЯ ИМПЕРИЙ

Рад, что мне удалось побывать на выставке «Великая и забытая» в Свердловском областном краеведческом музее, посвященной Первой мировой войне, — мне, внуку Петра Александровича Сухачёва, одного из героев экспозиции, георгиевского кавалера, участника той войны. Автор представленных в музее работ художник и профессор кафедры рисунка УралГАХА Алексей Лопато сказал: «Удивительно, что семья Сухачёвых смогла сберечь свой архив в годы лихолетья. Смелый поступок! Благодаря ему мне удалось воссоздать образ этого достойного человека».

После посещения выставки мне в голову и пришла идея изобразить нечто вроде семейного портрета на фоне смены эпох, воссоздать биографическую картинку целиком.

1930-м годам принадлежит сомнительная честь введения в наш лексикон термина «враги народа». Репрессивный молох действовал денно и нощно. Летним июльским вечером 1937 г. он добрался и до моего деда.

Случилось это вполне буднично: Сухачёв Пётр Александрович сидел на крыльце, отдыхая после дневных забот, когда пришел посыльный и сказал, что его приглашают в сельсовет по какому-то делу. Дед сразу встал и отправился по вызову. В чем был.

Ушел и не вернулся. Судьба? Так на роду написали? Попробуем разобраться.

Родился и вырос Пётр Александрович в средней, по тогдашним меркам, семье. У моего прадеда, Сухачёва Александра Ивановича, было пятеро сыновей и две дочери. В те времена дети рано приобщались к нелегкому крестьянскому труду, а лишним образованием народу головы не заморачивали. Дед-то, правда,



Алексей Лопато.  
Портрет Петра Александровича Сухачёва



считался приличным грамотеем на селе, сумев окончить четыре класса церковноприходской школы.

Когда пришло время, он женился на бабушке, Хритинье Михайловне, урожденной Соктиной, и вскоре молодая семья пополнилась старшим братом моего отца — Сергеем. Тут деда призвали на действительную военную службу. В Томске рекрутская комиссия определила его в гвардию. Все основания для службы в отборных частях имелись — высокий рост, стройное телосложение, правильные черты лица и ничем не запятнанное прошлое. Но в Томске без пяти минут гвардеец случайно встретил служивого земляка. Короткой встреча не получилась, в молодости вообще время летит незаметно. А вот в рекрутском присутствии часовое опоздание еще

как заметили, и с гвардией пришлось распрощаться. Служить пришлось в Томске, где и застала его германская война. Вскоре дед в составе 42-го Сибирского стрелкового полка оказался в действующей армии.

Приказом по войскам 4-й армии Западного фронта от 16 июля 1916 г. № 3040 фельдфебель 42-го Сибирского стрелкового полка Пётр Александров Сухачёв награжден Георгиевским крестом II степени за № 21981 за то, что *«12 сентября 1915 г. в бою у местечка Любча за убылью всех офицеров из роты принял командование над таковой и удержал наступающего противника, чем дал возможность нашей батарее и обозам переправиться через реку Неман»* (п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута).

Три года на германском фронте — не фунт изюма: грязь, пот, вши, кровь и слезы... Но вражеские пули и осколки свистели мимо, а вот награды не обошли: три Георгиевских креста (один из которых золотой) говорят сами за себя! Да и звание подпрапорщик присваивали не за красивые глазки. Пускай формально сибирские стрелки — не гвардия, однако всегда они были настоящей солдатской элитой нашей армии, и Сухачёв Пётр Александрович в их числе. И это ж постараться надо, чтобы с такими солдатами и офицерами проиграть войну!

Три года страна упорно работала для фронта, и уже ведь действительно немного оставалось времени до безоговорочной победы, как вдруг буквально в самый канун триумфа — бац! — и «Мир — народам, землю — крестьянам!».

Лозунги справедливые, кто бы спорил... Правда, в конечном счете идеализм (или цинизм, а может, и гремучая смесь идеализма с цинизмом) их про-



**Сухачёв Пётр Александрович  
с женой Хритиньей Михайловной  
и сестрой Лукерьей Александровной**

возвестников сбил нашим гражданам мозги набекрень. А с мозгами набекрень выдавливать из себя раба по капле, как советуют классики, безнадежное дело! Поэтому принялись вычерпывать ведрами... И эти вот ведра образовали поток, смывший великую империю.

Как никто другой, мы можем любую победу с блеском обратить в поражение, правда, можем, с не меньшим блеском, и наоборот.

Народ мы до наивности доверчивый! Поэтому и по сей день информационные войны страна проигрывает. Все правила стараемся блюсти, щеголяем благородством, за сориночку в собственном глазу вечно каяться готовы и прощения просить, а нынешний мировой «большой брат» многочисленные бревна в собственном глазу успешно не замечает, и, судя по всему, недалек тот день, когда в геноциде индейцев и в атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки виноватой окажется тоже Россия.

К чему это я? А к тому, что последний российский император Николай II, по моему глубокому убеждению, сначала проиграл информационную войну. Слухи про царицу из германцев, про роль Гришки Распутина при дворе поползли по империи, и все бы ничего, но уже появилась пресса, в те времена в тогу независимости даже и не пытавшаяся рядиться... Наш последний самодержец, будучи лично порядочным и мужественным человеком, бороться не стал — отрекся от престола. Обрадовал, так сказать, родственников и военачальников, ведь все командующие фронтами и флотами (кроме адмирала Колчака) и все великие князья присылали ему в Ставку телеграммы о необходимости отречения. Встать на сторону царя оказались готовы только двое — хан Нахичеванский, мусульманин, командовавший Дикой дивизией, и генерал Фёдор Келлер, немец.

Государь поплакался в дневнике: «...Кругом измена, и трусость, и обман». Но раз государь отрекся, отрекся и народ — армия развалилась, ликование на фронте воцарилось повсеместное, как на Пасху. Между тем шел Великий пост...

Пётр Александрович Сухачёв понял — пора! Пора домой! Присягал-то он и верно служил кому? Правильно, царю и Отечеству. Не шустрым же господам в котелках, вдруг в немалых количествах появившимся в расположении полка, тоже вдруг полюбившим «войну до победы»? Ребенку ясно, что они-то воевать будут в глубочайшем тылу, жуируя и провозглашая здравицы «за победу русского оружия», закусывая холодную водочку черной икорочкой. Занятия и так мало обременительные, а если к ним добавить весьма приятные подсчеты барышей от военного бизнеса — получится недурственный парадиз для маленькой такой компании предприимчивых хапуг. И вот им служить, не щадя живота своего? Дед вполне резонно решил погодить. Направился домой и умудрился не сгинуть по пути к родным пенатам, не затагнули его водовороты дикой неразберихи, царившие на просторах Отечества, — повезло...

Возвращение на родину, после долгой разлуки встреча с женой и сыном — если это не счастье, то что тогда? Все, отвоевался! По земле соскучилась душа хлебобоба...

Но большинство граждан страны, увлекшись идеями переустройства, остановиться не смогло либо не захотело, с энтузиазмом принявшись корезить на разный лад старый режим в угоду светлому (правда, тоже на разный лад!) будущему.

Водовороты не испрашивают разрешения, без церемоний тянут в пучину. Деду от развернувшихся в родном селе событий тоже в стороне остаться не удалось.

26 апреля 1919 г. партизанский отряд Петра Гончарова разгромил новокусковскую волостную милицию, и в селе стихийно организовался Военный красный комитет. Орган народовластия (аналог нынешних Советов депутатов) состоял из 12 человек, все практически сплошь бывшие фронтовики, а деда, учитывая церковноприходское образование, назначили секретарем. Правда, дальнейшее продвижение вольнодумства колчаковские власти пресекли на корню: нагрянул карательный отряд капитана Сулова и комитетчикам пришлось спешно ретироваться из села.

Василий Бурдавицын, Яков Кусков и мой дед решили переждать тугие времена на лугах неподалеку от Ново-Кускова, где их и обнаружил милиционер из местных — Михаил Чернышёв. Стрельбу односельчане открывать не стали, вступили в переговоры. Представитель колчаковских правоохранительных органов предложил землякам сдаться добровольно, дабы семьи не пострадали. Семьи — аргумент железный. Нелегалы посоветовались и решили: будь что будет! И отправились сдаваться. А капитан Сулов долго разговаривать со сдавшимися не стал: «Расстрелять!»

Но за мужиков вступился заведующий новокусковской больницей Николай Александрович Лампсаков, а так как он исполнял еще и обязанности начальника переселенческого пункта, то определенный вес не только в уезде, но и в губернии имел.

Заступничество удалось, Сулов сменил гнев на милость. Правда, двадцать пять шомполов — тоже не сахар, но, учитывая альтернативу, иногда и такой приговор звучит музыкой в ушах.

Деду подарили жизнь, вернее — отсрочку от смерти. Как он её распорядился? Просто жил. Работал на своем наделе. Освоил несколько нужных на деревне профессий. Мог катать валенки, шить сапоги, другую простейшую кожаную обувь, класть печи, плотничать. Своими руками построил себе довольно большой дом, который и теперь стоит. В общем, он любил работать, и потому жизнь складывалась неплохо.

В 1920-х гг. Пётр Александрович несколько лет прослужил в церкви псаломщиком, а потом кому-то в молодой республике православная церковь сильно помешала... Квартировавшие у деда «пролетарские» юристы на полном серьезе утверждали, что лучше бы он, мол, человека убил, чем в храме богу служил! И пройдет еще много времени, прежде чем наши нигилисты спохватятся и начнут изобретать заповеди строителей коммунизма. Но пустые души, подобно незасеянному полю, быстро покрываются сорняками, правда, полято можно просто перепахать, а вот по духовным пустырям плугом не пройдешь!..

...Когда началась коллективизация, дед в числе первых вступил в колхоз, но вскоре не поладил с записными активистами, всю энергию которых, похоже, отнимала борьба с мировым империализмом на многочисленных собраниях. Все жилы вытягивала эта неравная классовая битва — откуда ж бедолагам сил-то набраться для работы в полях? Вот и халтурили. А дед халтурить не умел, пустозвонства не любил. Так что с колхозом расстался.



Актив, правда, настаивал на отступных, и моральный урон оценили в четверть водки. Скрупулезно подсчитанная компенсация учитывала и службу в церкви, и Георгиевские кресты (царские же!), и непокладистый характер. После предполагаемого совместного употребления возмещенного вреда можно было бы обсудить вопрос даже о включении деда (а почему нет?) в актив, ведь грамотные люди везде нужны. Четверть водки деда, конечно же, не разорила бы. Но ох уж эти принципы! Посланные по известному адресу деятели многозначительно предупредили: мол, смотри, Петруха, как бы пожалеть потом не пришлось...

Случай для реванша представился скоро. Родной племянник деда Григорий Буевич, сын его старшей сестры, поспособствовал. Мама отрока, Лукерья Александровна, вторично собралась замуж, а 16-летний Гришка оказался в этом деле помехой. Вот она и упростила Петра Александровича взять юношу пожить к себе: мол, иначе личной жизни у нее не будет.

Дед просьбу уважил. Минуло несколько лет — подошло время, дед женил племянника, все честь по чести. А племяшу процесс, похоже, понравился и вскоре он «переженился», отправив первую жену с ребенком на все четыре стороны. Матери аморальные подвиги сына были не по душе и она в свою очередь предложила блудливому пареньку позабыть порог родного дома. Наказала и деду гнать Гришку со двора.

Но Пётр Александрович поступил наоборот — выделил Гришке из хозяйства полный пай. Стороны подписали соответствующие бумаги. Но при этом племяш быстро сообразил, какие наступают времена, какие перспективы в смысле карьеры — теперь только б в партию пролезть! Надо склепать пролетарское прошлое? Плюнуть раз. Он же теперь не токмо сирота (при живой-то матери!), но и батрак. А батрак — кто? Пролетарий и есть. Угнетенный! Угнетеннее не бывает.

Смышленного племяша тут же стала «угнетать» беспредельная наглость деда, посмевшего оставить своей семье из четырех человек половину хозяйства и собственного дома — типичный же кулак! Мироед ярый! Ах родственник, говорите? Какой такой родственник? Раз фамилии разные, общего ничего с этими кровососами иметь не желаю! То есть племянничек Петра Александровича Сухачёва прозрел в строгом соответствии с историческим моментом и настроил бумагу по известному адресу. Деда раскулачили, семью выкинули на улицу. Хозяйство и дом отошли мнимому батраку.

Хотя сломать Петра Александровича не получилось: он написал жалобу в Москву на имя М. И. Калинина. Жалобу удовлетворили, полностью восстановили деда в правах, основанием послужило распоряжение ВЦИКа от 10 марта 1935 г. Наверное, при этом в столице сильно удивились принципиальности товарищей на местах, ведь даже при сильном умопомутнении трудно обладателя дома, сарая и одной свиньи (данные взяты из «Справки об имущественном положении жителя с. Ново-Кусково Сухачёва П. А.» от 22 июля 1937 г.) представить отъявленным мироедом!

Пока неповоротливая отечественная бюрократическая машина восстанавливала справедливость, дед покинул село. Подался в Кемерово, но через год вернулся. Потом уже со всей семьей перебрался в село Сергеево. Там похоронили старшего брата моего отца Сергея Петровича, который вернулся из Трудармии



Крайний слева  
Сухачёв Сергей  
Петрович. Сидят  
Сухачёв Пётр  
Александрович  
с сыном Павлом  
и женой Хритиньей  
Михайловной

с тяжелой формой туберкулеза. И снова летом 1937 г., понадеявшись на распоряжение ВЦИКа, Сухачёвы двинули в Ново-Кусково, где двоюродный брат деда Иван Чернышов приютил лишенцев. Вот здесь, у чужого порога, в июне 1937 г. Сухачёва Петра Александровича и прихватили «ежовые рукавицы».

Многие, испытав на себе действие уже упомянутого мной репрессивного механизма, ломались — стремясь сохранить жизнь, плели небылицы. Одному из «железных сталинских наркомов» Ежову Н. И. чуть позже предоставили возможность на себе испытать силу убеждения бывших коллег — бедолага признался даже в гомосексуализме. И это помимо шпионажа, терроризма, участия в заговорах...

Дед же верил до конца в законы и справедливость рабоче-крестьянской власти, не забыл он и удавшееся битье челом всесоюзному старосте М. И. Калинин... Только пресловутые «тройки» к справедливости и закону уже отношения не имели. Никакого. Поэтому никаких шансов на объективность просто не существовало. Если кто не в курсе или подзабыл, напомним: в «тройке» входили секретарь обкома или райкома партии, начальник отдела НКВД, прокурор. Рассмотрение дел «контрреволюционеров» внесудебными органами проходило не только без свидетелей, но и без участия обвиняемых. 19 сентября было вынесено предсказуемое решение, а 25 сентября 1937 г. деда расстреляли.



Ну и где здесь справедливость? Или она, эта самая справедливость, в том, что капитан госбезопасности Овчинников Иван Васильевич получил орден Ленина «за образцовое выполнение важнейших заданий правительства»? Овчинников в то время — начальник Томского ГО НКВД, именно он утвердил своей резолюцией обвинительное заключение Сухачёву П. А., как, собственно, и тысячам других.

Наркома НКВД Ежова расстреляли 4 февраля 1940 г.: «признался» в терроризме, подготовке заговора и шпионаже. В результате начавшейся чистки НКВД к капитану госбезопасности Овчинникову также была применена высшая мера социальной защиты (расстрел) 19 мая 1941 г., реабилитирован он не был. Врид начальника Асиновского РО НКВД сержант госбезопасности Салов А. С., автор обвинительного заключения Сухачёву П. А., общей участи не избежал тоже.

Через 20 лет после смерти, 4 июня 1957 г., военный трибунал СибВО полностью реабилитировал Сухачёва Петра Александровича. Вернул доброе имя. Поздно? Да, поздно. Ну что ж, во все времена чести и достоинству изрядно достается в драках с человеческими пороками...

Впрочем, морщить лоб и изрекать глубокомысленные истины погодим — просто подумаем вот о чем: главные мужские задачи на этой земле дед успел выполнить. Построил дом, посадил деревьев немерено, вырастил сына...

Хотя Павлик с четвертого класса остался без отца. В деревне кривых и скользких дорожек поменьше, чем в городских трущобах, поэтому и шансов оказаться на них тоже заметно меньше. Блатной романтикой с перспективой проехаться «по тундре, по широкой дороге» отец не увлекся — а увлекся рисованием, мечтал поступить в художественное училище.

Но то ли клеймо сына «врага народа» перевесило дарование, то ли дарование было невеликим — в общем, с живописью не сложилось. Посему, закончив 7 классов в 1946 г., отец поступил учиться в Томский политехникум, стал овладевать специальностью техника-механика. После окончания учебы работал в Красноярском крае, затем — служба в Советской армии, откуда в ноябре 1952 г. он уволился в запас.

Отец начинал свою трудовую биографию в Ново-Кускове механиком в автороте.

Конечно, точнее было бы написать «механиком в автопарке», но в то время «авторота» — это и означало тот самый автопарк. Шло сокращение армии, техника направлялась в народное хозяйство, ну и, как часто бывает, слово прилипло.

Там-то, в ново-кусковской народно-хозяйственной автороте отец и заболел журналистикой. Бывая в Асине, часто захаживал в редакцию «Причудымской правды» со своими статьями и стихами о лучших механизаторах и животноводах.

Думаю, во многом выбор отца предопределило знакомство с Вилем Липатовым, который в январе 1958 г. приехал в Асино и проработал заведующим отделом писем и культуры в районной газете «Причудымская правда» несколько месяцев. Посиделки в редакции, неспешные разговоры за чашкой чая и не только — вот так отец получал бесценные уроки от будущего классика.

Понял — не боги горшки обжигают, поэтому в 1959 г. особо не раздумывая принял приглашение стать штатным сотрудником газеты «Причудымская

правда». Так одним литсотрудником в газете стало больше, увлечение переросло в профессию. В асиновской журналистике появился равнодушный и увлекающийся человек.

Приведу выдержку из письма Виля Липатова отцу.

...Дорогой Павел! Знаю, что ты все-таки стал газетчиком, и очень рад твоему решению... Год назад я писал тебе огромное письмо. Это было тогда, когда в «Крокодиле» появилась заметка за твоей подписью. Я прочел ее и написал на адрес колхоза «Комсомолец», но ответа не получил... Ты, вероятно, прав, когда говоришь, что трудно писать об Оби, сидя в Чите. Именно поэтому в апреле я приеду в Томскую область месяца на три. Командировка уже решена Союзом. Приеду в Асино. Сядем на полторку и махнем в «Комсомолец». Вот будет-то здорово! По Томской области соскучился страшно... Хочется выбраться в тайгу и ходить по ней сутками. Одним словом, жду не дожусь встречи с Томском. Привет всем моим знакомым. Обнимаю. Виль.

Почему Липатов не получил ответа из колхоза «Комсомолец» — понятно: мы переехали в Асино.

Вообще, биография Сухачёва Павла Петровича вместила довольно много событий, мест и профессий. Плавал мотористом по Чулыму, работал автомехаником, монтажником, слесарем, мастером и главным инженером ПМК. Долгое время трудился на Севере, на освоении нефтяных месторождений Томской и Тюменской областей.

Отец печатался во многих советских изданиях: в газетах «Правда», «Комсомольская правда», «Красное знамя» (Томск), «Лесная промышленность», журналах «Агитатор», «Мастер леса», «Крокодил» — всех и не перечислишь; он стоял у истоков создания в г. Асине отделения исторического общества «Мемориал» и был его сопредседателем. Решением собрания асиновской Думы от



Редакционные будни. Крайний справа Сухачёв Павел Петрович



08. 12. 1996 г. Павел Петрович Сухачёв удостоен звания почетного гражданина города Асина (посмертно).

В Ново-Кускове отец встретил свою будущую жену Марию Алексеевну Мизгирёву, мою маму. У нее детство совсем не задалось, а испытаний выпало на долю — врагу не пожелаешь! До 1931 г. Мизгирёвы проживали в деревне Лодейке, недалеко от г. Великий Устюг в Вологодской области. Семья большая, чтобы прокормить пятерых детей, приходилось много работать. Мать умерла, и отец снова женился, потому как одному справляться с детьми и хозяйством было трудно.

Вскоре началась коллективизация и «ликвидация кулачества как класса». Мизгирёва Алексея Осиповича раскулачили в 1931 г.: наверное, у местных активистов план по раскулачиванию горел, вот и попал в число кулаков многодетный отец. Маме в то время было всего три года. Отца ее сослали в Плесецк Архангельской области. А пятерых детей, от которых сразу же сбежала мачеха, отдали в детдом. Нравы среди воспитанников там были суровые и принцип «кто не успел, тот опоздал» реализовывался повсеместно, старшие обирали малолеток...

Но ко всему привыкает человек, и мама тоже помаленьку попривыкла и приспособилась, а с 14 лет начала работать. Как бы дальше сложилась мамина судьба — трудно сказать, ведь уже шла Великая Отечественная война... И тут с фронта вернулся мамин старший брат — вернулся, получив тяжелое ранение, в результате которого остался без руки. Подлечился, нашел сестру, и они уехали в Томск. Здесь мама поступила учиться в педучилище, брат же ее, Иосиф Алексеевич, всю жизнь проработал в областной газете «Красное знамя» и ушел на пенсию персональным пенсионером.

По окончании Томского педучилища маму распределили работать в Ново-Кусковский детский дом, а после переезда в Асино она стала учительствовать в начальных классах. Когда я смотрю сегодня фотографии, то просто поражаюсь, сколько же малышей сначала выводили палочки, потом буквы, потом складывали буквы в слова под диктовку первой в их жизни учительницы — моей мамы. Дождалась и она реабилитации отца — в 1996 г., после принятия Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».



Мария Алексеевна Сухачёва со старшим братом Иосифом Алексеевичем Мизгирёвым

...А я снова вернусь к картинкам, словно в мозаике, складывающимся из осколков или фрагментов прошлого. На вокзале Екатеринбурга, куда я приехал на упомянутую выставку, меня встретил мой армейский товарищ — Сергей Валентинович Хван. Мы с ним не виделись 35 лет — с тех самых пор, когда с другого вокзала — вокзала города Белогорска в Амурской области — отправились в строгом соответствии с воинской присягой продолжать исполнять воинский долг. Долги у каждого свои, как и дороги, которые мы выбираем, или которые выбирают нас, или выбирают за нас... Ну а раз мы служили в Советской армии, за нас дороги как раз было кому выбрать.

Дело происходило в феврале 1980 г. — незадолго до этого, 12 декабря 1979 г., Чон Ду Хван осуществил военный переворот в Сеуле. Почему это важно? В декабре того же 1979 г. наша часть, расквартированная в Амурской области, вдруг резко взялась повышать боеготовность: тревоги, марш-броски, стрельбы... Кривая успехов в овладении искусством побеждать устремилась вверх. Было о чем задуматься: к чему бы такая линия? Сначала-то я на ближайших соседей грешил — ведь до высоких берегов Амура 150 километров. Но, как оказалось, грешил зря.

Скоро все разъяснилось: в Афганистане надо было кое-чего подправить после очередной народно-демократической революции. Но для начала кое-чего подправили в батальоне. Технику получили новую, нарушителей дисциплины заменили...

Попал под раздачу и Серёга Хван, хотя в его личном деле сведений, порочащих высокое звание лейтенанта Советской армии, не содержалось. Но наш замполит уловил несомненное созвучие Серёгиной фамилии с фамилией южнокорейского диктатора и решил: «Кто их разберет, этих Хванов? К примеру, отчебучит что-нибудь в Кабуле! А спрос тогда с кого учинят? Вот то-то! Так что пусть в Архару катит, подальше от греха. Ему будет полезно, да и мне звездочки на погонах пора поменять!»

Капитан действительно скоро стал майором — нельзя сказать, что уж совсем в прямой связи с отправкой моего товарища «в другую сторону», но лько легло точно в строку. Серёга же принялся писать рапорты с просьбой отправить его в страну «А». Но безрезультатно.

А как я оказался на этой развилке с куцым выбором альтернатив? В 1973 г. в городе Асине Томской области окончил среднюю школу № 3, в том же году поступил в Томский инженерно-строительный институт на строительный факультет, специальность «промышленное и гражданское строительство». Со второго курса был старостой группы, играл и за группу, и за курс в футбол. В 1978 г. получил диплом. А так как в институте была военная кафедра, мне по окончании присвоили звание лейтенанта-инженера и отправили отдавать воинские долги в мостостроительный батальон в Амурскую область.

Те времена остались в памяти на всю жизнь! Бригада меняла место дислокации, поэтому одновременно строили все объекты жизнеобеспечения военного городка: к зиме нужно было иметь казармы, столовую, дороги, плюс ДОСы (дома офицерского состава). Выходных было два, один летом, другой зимой (юмор такой бытовал). К ноябрьским праздникам в общих чертах справились и в клубе уже смотрели кино — «Большие гонки».



Сейчас, когда смотрю на современные фотографии мест, где мы сказку делали былью, а ныне все пошло прахом, лишь в нескольких ДОСах ещё теплится жизнь, — становится немного обидно, как говорится, за державу...

Потом был Афганистан. В Интернете легко можно отыскать множество фотографий дворца Тадж-Бек. Если греческие и римские сооружения приходили в свое нынешнее состояние тысячелетиями, то дворец Амина (более распространенное название дворца Тадж-Бек) в Афганистане выглядит в этом ряду акселератом. Ему удалось превратиться из прекрасно вписанного в горный ландшафт творения зодчих в неухоженного, безглазого инвалида всего за несколько десятилетий...

Да, в реставрации дворцов мне ни до, ни после, несмотря на 30-летний строительный стаж, участвовать не приходилось...

В Кабул мы прибыли 9 марта 1980 г. Батальон разместился в палаточном лагере поблизости от уже упомянутого дворца. Быстренько обустроились, наладили горячее питание, в палатке же развернули баню. Даже волейбольную площадку соорудили. Три раза в неделю смотрели фильмы. Четко работала полевая почта. Сразу же принялись восстанавливать дворец, которому надлежало стать теперь уже штабом нашей 40-й армии. Застарелый штамп «город контрастов» — это и про Кабул тоже. Мирное сосуществование небольшого количества современных зданий и панельных пятиэтажек с минаретами и глинобитными саклями обозвать гармонией, застывшей в камне, язык не поворачивается, зато несколько эпох сосуществуют на улицах города вполне буднично...

Буйство стилей в одежде обитателей афганской столицы тех времен — это вообще отдельная песня: от паранджи до мини-юбки! А вооруженные силы? Экипированные в немецкие каски времен Третьего рейха, афганские солдаты с немецкими же автоматами навевали ассоциации с другой войной. Маузеры, винтовки Мосина, ППШ усиливали впечатление — и это все еще стреляло!

Первое время на стрельбу в городе личный состав, несший тяжкое бремя патрульной и караульной службы, реагировал одинаково. Дикая вопли: «Тревога! Рота, па-а-адьем!» — раза три за ночь радовали нас. Чего тут, собственно, радостного? А то, что не спят часовые, не спят, родимые, значит, и нас, спящих, не вырежут.

Постепенно обстановка стабилизировалась, мы даже стали сдавать оружие в оружейные палатки. Автоматы брали, если отправлялись в город. Жизнь в столице тоже входила в обычную колею — к майским праздникам с перекрестков убрали бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Фасады и интерьеры бывшей резиденции Амина постепенно приобретали первоначальный вид. А концерт Иосифа Кобзона? Создавалось впечатление полного успеха военной кампании. Скажи мне тогда кто-нибудь, что это только иллюзия, не поверил бы.

Пришло время увольняться в запас. Из пяти сокурсников, призванных из Томского инженерно-строительного института, четверо с чистой совестью покинули пределы ДРА. Старшими лейтенантами запаса. Остался один — Юра Селявский. Почему его никто из нас не отговорил? Просто мужчина сам обязан принимать решения. Офицер тем более. При желании, конечно, можно поис-

кать и «ля фам»: Юра недавно развелся. Но к женскому коварству апеллируют обычно слабаки, а Селявский Юрий Афанасьевич таковым не был. Орденами Красной Звезды слабаков не награждают.

Но со смертью товарища начали развеиваться иллюзии. Война затягивалась, западные державы консолидировались под пропагандистские вопли про «империю зла». А потом разразилась крупнейшая геополитическая катастрофа. Коллапс экономики окончательно развеял иллюзии. Теперь уже мало кто верил, что наша страна после столь ощутимых ударов сможет подняться.

Тем более что мы сами себя с упоением добивали: в декабре 1989 г. II Съезд народных депутатов СССР принял решение об осуждении афганской войны и признал грубой политической ошибкой участие в ней советских войск. Вот так и получилось, что и мой дед, и я участвовали в войнах, общественная оценка которых весьма неоднозначна.

С моей точки зрения, цели обеих войн были вполне прагматичными и ни в коей мере не ошибочными, хотя и предшествовали они крушению империй. Но сегодня у государства с великим прошлым появились неплохие виды на будущее. Да, еще не распрямились во весь рост, но снизу вверх уже ни на кого не смотрим. Не сгодились для России лекала «оранжевых революций».

Такой большой, скажете, а в сказки верит? А может, и правда, лучше в сказки, чем в болтовню янки о свободе и демократии, бурно расцветших на древней земле Афганистана? И эта болтовня продолжается уже второй десяток лет. Хотя оставим руинам государств и дворцов шансы — одним на возрождение, другим на достойную музейную старость...

После увольнения в запас я работал в тресте «Томлесстрой» мастером, а в 1982 г. переехал в Рубцовск Алтайского края, где и живу до сих пор. Трудился мастером, прорабом, главным инженером, начальником строительного управления, главным инженером ДСК (домостроительного комбината). На пенсию ушел с должности начальника управления капитального строительства администрации г. Рубцовска.

...В прошлом году в семье моего сына Владимира родился сын. Очередное звено связало исторические эпохи, тем более что Андрей родился в Томске — в городе, где закончил свой жизненный путь его прапрадед Сухачёв Пётр Александрович.



## «В ЕГО МИНУТЫ РОКОВЫЕ»

*Штырбул А. А. Дожить до сентября. Судьба поэта Юрия Сопова: историко-литературное исследование с приложением самого полного собрания произведений Ю. Сопова. — Омск: Изд-во ОмГПУ, 2015. — 284 с.*

Представляемое издание найдет своих читателей и среди интеллектуалов, в преддверии 100-летней годовщины русской революции 1917 г. размышляющих о том, почему Россия пошла по «красному», а не по «белому» пути, и среди эстетов — ценителей поэзии Серебряного века. Перед нами книга историка — автора вышедшей в 2008 г. монографии «Политическая культура Сибири: Опыт провинциальной многопартийности (конец XIX — первая треть XX в.)», написанная о поэте — и написанная человеком, поистине влюбленным в тонкую и трагическую лирику Юрия Сопова, гибель которого летом 1919 г. при взрыве в омской резиденции Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака до сих пор остается загадкой. Оригинальность изданию придает сочетание в рамках одной книги строгой аналитики и исторических документов и — стихотворных текстов. Практически в каждой главе есть небольшой раздел «Из омских периодических изданий», где цитируются газеты 1916—1919 гг.: «Сибирская речь», «Дело Сибири», «Заря», «Омский телеграф» и другие, передающие как «вести с фронтов» сначала Первой мировой, а потом Гражданской войны, так и сообщения о «потрясающем» репертуаре театров. А рядом — тонкие, лирические стихи о

любви, мечтах, разочарованиях обреченного на гибель «золотистого рыцаря»:

**Предчувствие скорбью непонятной  
Сковало наши вечера...**  
(1919 г.)

Заглавие книги А. А. Штырбула, отсылающее читателей к осени 1919 г., знаковое. Именно тогда в Сибири, и конкретно в Омске, ставшем почти на год столицей Белой России, решалась будущая судьба страны. Герой книги — поэт Юрий Сопов, посетивший «мир в его минуты роковые» (Ф. Тютчев), — до сентября, месяца, который он так любил и воспевал в своих стихах, не дожил.

Книга строится как рассказ о недолгой жизни Петра (Юрий — это псевдоним) Ивановича Сопова (1897—1919) и его товарищей — сибирских и «залетных», чаще всего петербургских поэтов и писателей — на широком «политическом, культурном, творческом, бытовом, морально-психологическом» фоне эпохи. Предваряя рассказ, автор замечает: «Существует мнение, что счастлив тот народ, который имеет скучную и неинтересную историю... <...> История России, к сожалению, очень интересна».

Начало поэтической деятельности Юрия Сопова, происходившего из семьи казаков Сибирского (Иртыш-





я внука одного из ее персонажей — писателя Всеволода Иванова. Хорошо помню, как, приехав из Москвы в Омск работать в Государственном историческом архиве Омской области, я слушала эмоциональный рассказ Анатолия Алексеевича Штырбула о том, как мой дедушка летом 1918 г., будучи красногвардейцем, охранял Омскую крепость и видел, как по Иртышу удалялся от города пароход «Андрей Первозванный», увозивший представителей первой советской власти. О пути, который молодой Иванов прошел практически рядом с Юрием Соповым, испытав и обольщения очередной властью или партией, и разочарования, А. А. Штырбул немало рас-

сказал в своей книге. Большое спасибо ему за это.

В заключение хотелось бы предоставить слово автору: «Горе той стране, тому обществу и тому народу, которые не сумели сохранить мир и сорвались в пылающую пропасть гражданской войны. Тогда от этой войны нет спасения, и она неизбежно пройдет по судьбе каждого... <...> Представляется, что судьба Юрия Сопова — яркое и пронзительное отражение чрезвычайной хрупкости и беззащитности человеческого существования в окружающем мире — как отдельного человека, так и, наверное, всего человечества в целом, а возможно, хрупкости и беззащитности самого мироздания».

*Елена ПАПКОВА*





## ИЗДАНО В СИБИРИ

### == Алтайский край ==

**Василий Кукса:** [альбом / авт. предисл. Т. М. Степанская]. — Барнаул: [б. и.], 2015. — 127 с.: цв. ил.

В альбоме представлены избранные произведения члена Союза художников России Василия Павловича Куксы, статья доктора искусствоведения профессора Тамары Михайловны Степанской, а также ряд сопроводительных материалов, рассказывающих о жизни и творческом пути алтайского живописца.

Василий Кукса хорошо известен любителям изобразительного искусства не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами. Его работы хранятся в частных коллекциях и галереях Франции, Германии, Канады, США, Южной Кореи, Израиля, Швейцарии.

Пейзажи Василия Куксы одухотворены, архитектурны, колоритны. В их живом красочном великолепии органично проступают импрессионистические черты, это отмечают искусствоведы, художники и рядовые ценители живописи.

За свою многолетнюю творческую жизнь Василий Кукса прошел путь от изумрудных предгорий Алтая до подножия Эйфелевой башни. Чем же можно измерить этот путь художника? Километрами исхоженных троп или килограммами испанской краски? Полученными эмоциями или потраченными душевными силами? Ответы на эти вопросы художник предлагает найти в своих работах.

**Хайрулинов, И. С. Учитель и ученики:** [кн.-альбом] / И. Хайрулинов; [ред.-сост. В. Хайрулинова]. — Барнаул: [б. и.], 2015. — 192 с.: ил.

*Жизнь не бессмысленна, в ней есть свое восхождение. Слава богу, что живут и работают с верой в воскресение России такие художники, не дающие прорасти траве забвения в наших душах.*

**Из отклика на персональную выставку И. С. Хайрулинова «О войне и о мире».**  
Красноярск, 2008 г.

Ильбек Сунагатович Хайрулинов — художник, талантливый алтайский преподаватель, создатель художественной школы. Среди учеников И. Хайрулинова — Александр Емельянов, Сергей Погодаев, Юрий Иванов, Виолетта Метелица, Александр Андрусенко и многие другие известные на Алтае художники.

В представленной книге автор не просто рассказывает о своем творчестве, трудовых буднях, коллегах и знакомых — Ильбек Хайрулинов предстает здесь в первую очередь не как художник, а как педагог и предлагает широкому кругу читателей увидеть и оценить работы своих студентов.

Впервые широкой публике представлены репродукции дипломных работ студентов из методфонда Новоалтайского художественного училища, портреты сту-

дентов разных лет, написанные учителем, странички дневников из личного архива, публикации в газетах и журналах, фотографии тех, кто помогал художнику-педагогу, поддерживал его в жизни и творчестве.

Книга-альбом «Учитель и ученики» является обобщением многолетнего педагогического опыта работы в Новоалтайском художественном училище и посвящена проблемам сохранения профессионализма, преемственности традиций русской реалистической живописной школы.

*Подготовила Мария Базиченко,  
библиотекарь I категории отдела  
гуманитарной литературы  
Алтайской краевой универсальной  
научной библиотеки им. В. Я. Шишкова*

**Дунец, А. Н. Быстрый Исток: история села и его роль в освоении Верх. Приобья / А. Н. Дунец, Н. И. Дунец; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова». — Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2015. — 276 с.: ил. — Библиогр.: с. 256—260.**

Быстрый Исток — одно из первых поселений в Верхнем Приобье. Оно образовано в середине XVIII в. как транспортный транзитный пункт на Оби. Быстрый Исток оказывал большое влияние на экономическое развитие Верхнего Приобья, являлся важным центром

производства сахара, масла, сыра, сухих овощей, торговли хлебом. Здесь строились деревянные баржи, функционировала своя мебельная фабрика. В XIX в. в селе появилась одна из первых в Верхнем Приобье церковноприходских школ, в XX в. — первая на два района средняя школа.

Быстрый Исток богат не только историей, сегодня он является культурным и образовательным центром. Немалую роль в этом сыграл его уроженец — народный артист России Валерий Сергеевич Золотухин.

Издание книги о селе стало значимым событием для района. Авторы — отец и сын: Николай Ильич Дунец работал учителем истории в школе, корреспондентом районной газеты; Александр Николаевич Дунец — декан гуманитарного факультета АлтГТУ, доктор географических наук, доцент. Работа над книгой велась на протяжении двух лет. При ее подготовке использовались архивные документы, материалы экспедиций Алтайского государственного педагогического университета, документы и фотографии, предоставленные жителями села. Авторы рассказывают историю основания Быстрого Истока, описывают события из жизни этого и соседних населенных пунктов с середины XVIII в. по 1970-е гг.

*Подготовила Эльвира Штанько,  
главный библиограф отдела краеведения  
Алтайской краевой универсальной  
научной библиотеки им. В. Я. Шишкова*

## == Красноярский край ==

**Присвоить звание Героя: 70-летней годовщине Великой Победы посвящается / ред.-сост. В. Филиппов. — Красноярск: Поликом, 2015. — 447 с.: ил.**

Издательский проект «Присвоить звание Героя» возник по инициативе не-

равнодушных людей, появлению книги предшествовали годы исследовательской работы. В настоящее время это издание является самым полным собранием информации о героях Советского Союза, жизнь которых связана с Красноярским краем. В сборник вошли 244 биографических очерка, представлено большое

количество новой исторической информации: тексты наградных листов, архивные справки, а также боевые характеристики из личных дел, хранящихся в Центральном архиве Министерства обороны РФ. Издание содержит уникальные фотоматериалы из фондов музеев, государственных и личных архивов, многие из них опубликованы впервые.

«Присвоить звание Героя» — не просто сборник биографических очерков, но и своеобразное учебное пособие по истории Великой Отечественной войны, в котором через судьбы людей, получивших знак высшей степени отличия — почетное звание Героя Советского Союза, рассказана вся история великой войны.

Книга была подарена родным и близким героев, тираж распределен по библиотекам и учебным заведениям Красноярского края, часть экземпляров доставлена в Хакасию.

**Уразов, И. В. Юность моя фронтовая: лирическая повесть / И. Уразов. — [изд. испр. и доп.]. — Красноярск: Тренд, 2015. — 383 с.**

В своей книге красноярский писатель Иван Владимирович Уразов рассказывает о том, что пережил сам. Он был призван в Красную армию в январе 1943 г. и попал на фронт в восемнадцать лет. В армии стал военным музыкантом, воевал на 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах, прошел Восточную Пруссию, Польшу, Чехословакию, участвовал в форсировании Одера, в разгроме противника в Германии. После Победы служил в группировке советских войск в Венгрии.

«Юность моя фронтовая» — главная книга Ивана Владимировича, он писал ее всю жизнь — переделывал, дописывал, правил. На ее страницах автор показывает не столько войну, сколько человека, который проходит страшную школу военных испытаний, взрослея, но не ожесточаясь.

Молодой солдат воспитывается в среде бывалых воинов, мужает, гордится ратными подвигами своих товарищей, переживает тяжелые потери. В суровых испытаниях обретает настоящие духовные ценности. В 1978 и 1985 гг. в Красноярском книжном издательстве повесть «Юность моя фронтовая» уже выходила, но, к большому сожалению писателя, в значительно сокращенном виде. И только в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне книга издана в том виде, в каком была задумана автором.

Издание осуществлено при поддержке краевой грантовой программы «Книжное Красноярье».

**По зову сердца: 78 Сталинская добровольческая стрелковая бригада / [А. В. Толмачева, Ю. В. Глебов, Е. А. Лалетина, В. В. Филиппов]. — Красноярск: ПИК «Офсет», 2015. — 185, [1] с.: ил., портр.**

Добровольческое движение — особая страница в истории Великой Отечественной войны. Сибиряки-добровольцы стали ударной силой многих воинских формирований, участвовали во всех важнейших боевых операциях. 78-я добровольческая бригада была сформирована в Красноярске летом 1942 г. и наряду с добровольческими стрелковыми бригадами из Барнаула, Омска, Новосибирска вошла в состав 6-го Сибирского добровольческого стрелкового корпуса. Боевое крещение сибиряки получили на Калининском фронте.

Книга «По зову сердца» рассказывает об истории формирования 78-й Сталинской добровольческой бригады, ее боевом пути, содержит большое количество архивных материалов (постановлений, справок и пр.), фотографий.

В книгу вошли отрывки из личных дневников, воспоминания красноярцев, рассказы тех, кто вернулся домой после окончания военных действий. Эти уни-

кальные материалы позволяют современному читателю увидеть историю Великой Победы глазами тех, благодаря кому она стала возможной.

**Память о Победе / редкол.: Г. С. Лапунов, А. П. Статейнов (сопред.) и др. — Красноярск: Буква Статейнова. — 584, [7] с.**

«Память о Победе» — издательский проект, начало которому было положено в 2014 г. В планы организаторов тогда входило издание двух томов, в которых были бы собраны сочинения школьников, посвященные родным людям — участникам Великой Отечественной войны.

В рамках проекта издательством «Буква Статейнова» был проведен конкурс сочинений и рассказов о войне среди учащихся школ Сибири и Дальнего

Востока. Готовя свои работы, ребята знакомились с семейными воспоминаниями, восстанавливали события тех лет по рассказам прабабушек и прадедушек, собирали старые фотографии, читали фронтовые письма. Итогом стали сочинения, в которых события войны оживали в судьбах простых людей — защитников Отечества, тружеников тыла, «детей войны». Проект оказался настолько интересным, что к настоящему моменту вместо двух издано уже три тома, в последний из которых помимо детских сочинений включены литературные работы взрослых людей, желающих внести свой вклад в сохранение памяти о Победе.

*Подготовила Ксения Похабова,  
заведующая сектором Государственной  
универсальной научной библиотеки  
Красноярского края*

## == Новосибирская область ==

**Клименко, И. П. Ровесник Победы: эссе / И. П. Клименко. — Новосибирск: Ред.-изд. центр «Светоч» правления Новосиб. обл. обществ. орг. «О-во книголюбов», 2015. — 91 с.: ил. — (Достойные имена).**

Книга, вышедшая в серии «Достойные имена», — это эссе о военном детстве автора, о жизни в послевоенном Новосибирске, о Новосибирском театре оперы и балета, который является ровесником Победы. В мае 1945 г. театр набирал детей в балетную студию. Был большой конкурс: более 1000 детей на 200 мест. Инна Петровна Клименко прошла все отборочные туры, и ее зачислили в студию. Она училась и одновременно участвовала в спектаклях «Доктор Айболит», «Щелкунчик», «Берег счастья», общалась с великими балеринами Т. Зиминной, Л. Крупениной, В. Алексеевой. По признанию мемуаристки, это

были ее лучшие годы. «Поколение детей войны — это люди особой закалки, которые пережили голод, холод, разруху, смерть родных на войне и остались достойными, отзывчивыми людьми и теперь сами помогают нуждающимся» — эти слова автора в полной мере отражают мироощущение людей военного поколения. Книга издана в авторской редакции и проиллюстрирована фотографиями из личного архива. Предназначена для широкого круга читателей.

**Мовшевская-Сорукова, Л. Ю. Полями жизни / Л. Ю. Мовшевская-Сорукова. — Новосибирск: [АНО «Изд. Дом «Центр. пресса»], 2015. — 559 с.: ил. — (Жизнь замечательных сибиряков).**

Эту повесть автор посвятила своему мужу, которого не стало в 2008 г., — Николаю Григорьевичу Сорукову, внесшему

весомый вклад в развитие Новосибирской области. В свое время он работал главным агрономом, директором совхоза в Тогучинском районе, был секретарем Новосибирского обкома КПСС, курировавшим сельское хозяйство. Избирался в течение многих созывов в Новосибирский областной Совет народных депутатов и по длительности работы в Совете входил в первую тройку депутатов. Однако, несмотря на яркую трудовую и общественную биографию, фамилию Николая Сорукова сегодня с трудом можно найти в архивных документах области. Молчит даже всезнающий Интернет. Чтобы деятельность мужа была оценена по достоинству, вдова Николая Григорьевича попробовала написать биографическую книгу сама.

Это повествование о хозяйственном, партийном, государственном руководителе, об истории сельского хозяйства Новосибирской области второй половины XX столетия, о людях, прославившихся самоотверженным трудом.

Книга издана на средства, полученные автором по итогам конкурса социально значимых проектов, проводившегося правительством и администрацией Новосибирской области в 2015 г. Издание проиллюстрировано фотографиями из личных архивов.

**Фабрика, Ю. А. Беречь наследие отцов. Сибирь и сибиряки на защите Отечества: метод. пособие / Ю. А. Фабрика. — Новосибирск: Изд-во Сиб. гос. ун-та вод. трансп., 2015. — 297 с.: [4] л. ил.**

Методическое пособие «Беречь наследие отцов» — третье, исправленное и дополненное, издание вышедшей

в 2011 г. книги «Гордые сыны Сибири. Сибирь и сибиряки на защите Отечества».

В книгу вошел ряд новых очерков и статей, опубликованных автором в научных сборниках, журналах и газетах за последнее время. Изложенный материал свидетельствует о мужестве и отваге воинов великой державы, мощи и славе русского оружия, популяризирует и закрепляет в сознании земляков боевой и трудовой подвиг своих соотечественников.

**«Дорогие мои земляки...»: [сб. стихов]: кн. 2 / ЧРПК «Земляки». — Черепаново: [б. и.], 2015. — 500, [1] с.: [2] цв. вкл., ил.**

Черепановский районный поэтический клуб «Земляки» был организован 15 ноября 2009 г., в его состав вошли самодельные поэты города Черепанова и района.

Вышедшая в 2015 г. книга — уже второй сборник лучших стихов участников клуба. Эта книга о самом главном: о родной земле, о природе, о любви — обо всем, что волнует каждого из живущих на земле. Черепановский район стал малой родиной для авторов этого сборника. Они приехали на эту землю в разное время, в силу разных обстоятельств, но она стала судьбой для каждого. В сборник вошли стихотворения и песни Л. Антоновой, Э. Афанасьевой, Н. Киселёва, Т. Лукиной, Г. Поповой, В. Яковлева и др.

*Подготовила **Нина Глушкова**,  
главный библиотекарь отдела краеведения  
Новосибирской государственной  
областной научной библиотеки*

**Чистобаева, Н. С. Героический эпос хакасов: тематика и поэтика: [монография] / Н. С. Чистобаева; отв. ред. д-р филол. наук, проф. Е. Н. Кузьмина; Рос. акад. наук Сиб. отд-ние, Ин-т филологии, М-во образования и науки Респ. Хакасия, ГБНИУ РХ «Хакас. науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории». — Абакан: Бригантина, 2015. — 169 с. — Часть текста парал. на хакас. и рус. яз. — Библиогр.: с. 159–169.**

Исследование раскрывает национальную специфику устного поэтического творчества хакасов, дает представление о характерных его чертах и признаках, исполнительской манере сказителей, об основных сюжетных типах и композиционных структурах, о закономерностях их формирования и развития, о системе персонажей и художественно-образительных средствах.

Работа посвящена исследованию поэтико-стилевой системы героического эпоса хакасов с точки зрения типологии, композиции и языка. Она представляет собой комплексное изучение внутренней поэтической фактуры образцов героического эпоса, а также особенностей эпической традиции хакасов. Подробному анализу подвергнуты идейно-тематическое содержание эпоса, его традиционное строение, типические места и их своеобразие. Рассмотрены эпические формулы и другие поэтико-стилевые средства на примере исполнительских традиций ряда сказителей-хайджи.

**Савостьянов, В. К. Комплексная мелиорация почв засушливых территорий Сибири: [избр. науч. ст.: в 2 ч.] / В. К. Савостьянов; Федер. гос. бюджет. науч. учреждение «Науч.-исслед. ин-т аграр. проблем Хакасии», МОО «О-во почвоведов им. В. В. Докучаева», Хакас. респ. отд-ние. — Абакан: [б. и.], 2016.**

В книгу вошли избранные научные статьи В. К. Савостьянова по комплексной мелиорации почв засушливых территорий, опубликованные им в последние полвека в рецензируемых научных журналах, материалах международных, российских и региональных конференций, съездов почвоведов, в сборниках научных работ.

Статьи сгруппированы по тематическим разделам — защита почв от дефляции, повышение плодородия почв, орошение земель, создание защитных лесных насаждений, почвозащитное адаптивно-ландшафтное земледелие — и внутри разделов размещены в хронологическом порядке. Публикуемые в двух частях настоящей книги статьи В. К. Савостьянова составляют треть от общего числа его научных работ.

В приложении к книге приведен перечень научных работ В. К. Савостьянова: монографий, сборников научных трудов, методических пособий, материалов научных конференций, симпозиумов и «круглых столов».

**Грек, О. Г. Весенние ступени: очерки, рассказы, эссе, новеллы / О. Грек. — Абакан: [б. и.], 2016. — 478, [1] с.: портр.**

В книгу известного в Сибири писателя-публициста Олега Грека входят очерки, эссе, документальные рассказы, новеллы не только о тех, кто возвел величайшие гидроэлектростанции на Енисее — Красноярскую и Саяно-Шушенскую, но и о тех выдающихся деятелях науки, культуры, политики, кто является для гидростроителей примером созидания, укрепления мира, прогресса, интернациональной дружбы. Поэтому героями книги стали Андрей Бочкин, Кирилл Кузьмин, Василий Гладун, Дарья Васильева, Вячеслав Демиденко, Сергей Коленков, Юрий Гагарин, Георгий Береговой, Борис Полевой, Тойво Ряннель, Фидель



Кастро, Че Гевара, Эрнест Хемингуэй, Николас Гильен и другие. Автор среди них тоже не сторонний созерцатель, а активный участник многих описываемых событий.

**Вадецкая, Э. Б. Таштыкский погребально-поминальный комплекс Белый Яр 3: монография / Э. Б. Вадецкая, А. И. Поселянин; Хакас. науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории, Хакас. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова, Ин-т истории материальной культуры РАН. — Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2015. — 207, [1] с.: ил., табл. — Библиогр.: с. 208.**

В монографии дается подробная характеристика таштыкского памятника Белый Яр 3, где впервые на большой территории полностью исследованы каменно-земляной склеп VI—VII вв. с десятками захороненных в нем взрослых людей, грунтовые детские могильники и поминальники. В склепе помимо предметов из бронзы (поясные пряжки, пла-

стины-амулеты с двумя конями) хорошо сохранились гипсовые раскрашенные погребальные маски. Это позволило изучить способы их лепки, состав используемого теста и красок. Благодаря зафиксированным и сохранным во время раскопок остаткам травы, коры и бересты установлено изготовление погребальных масок на туесках, содержавших кремниевые останки (пепел) человека.

Главным материалом из поминальников является большая серия разнообразных керамических сосудов и останков жертвенных животных. Выявлена связь между объемами керамической посуды и ее хозяйственно-бытовым использованием. Поминальные обряды разделены на несколько этапов, включавших сооружение помина и заготовку пищи, проведение неоднократных ритуальных действий.

*Подготовила Светлана Ходякова,  
заведующая отделом государственной  
библиографии Государственного бюджетного  
учреждения культуры Республики Хакасия  
«Национальная библиотека  
им. Н. Г. Доможакова»*

## == Ханты-Мансийский автономный округ ==

**Городков, Б. Н. Научные труды [Электронный ресурс] / Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. — Югры «Гос. б-ка Югры». — Электрон. дан. — Екатеринбург: Ру-Скан, 2015. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). — Загл. с этикетки диска. — (Электронная библиотека Югры. Югорский репринт).**

Издание Электронной библиотеки Югры в серии «Югорский репринт» включает в себя научные труды Б. Н. Городкова, доктора биологических наук, профессора, геоботаника и географа.

Борис Николаевич Городков был инициатором и руководителем проектов по изучению и рациональному освоению

природы Севера, основателем отечественного тундроведения.

На диске представлено 19 научных трудов ученого, книги В. Н. Тобоякова «К верховьям исчезнувшей реки» и В. В. Козина «К верховьям неведомых рек», посвященные деятельности Б. Н. Городкова.

**Орлов, В. Б. Вогульский эпос в художественно-литературной (русскоязычной) интерпретации / В. Б. Орлов. — Шадринск: Шадрин. Дом Печати, 2015. — 284 с. + 32 с. ил.**

В издание включены полные тексты II тома «Собрания вогульской эпической народной поэзии» Бернанта Мункачи в

художественно-литературной интерпретации Вадима Орлова.

Эта работа стала возможной благодаря венгерским ученым А. Регули и Б. Мункачи, побывавшим в XIX в. в России и осуществившим сбор, запись и сохранение в финно-угорской транскрипции мансийского фольклора.

В 2010 г. отечественные ученые-лингвисты Е. И. Ромбандеева и Т. Д. Слинкина осуществили транслитерацию значительной части древнемансийских текстов с финно-угорской транскрипции на кириллицу, а также их смысловой перевод на русский язык, сохранив при этом грамматику, смысл, стиль и лингвистические конструкции мансийского первоисточника. Параллельно с ними перевод текстов осуществляла группа под руководством Ю. Н. Шесталова. На основе всех этих переводов стала возможна художественно-литературная обработка фольклора и адаптация его к мировосприятию современного русскоязычного читателя.

Тексты в издании приводятся в порядке, выстроенном венгерскими учеными.

**Одежда народов Югры: [альбом этногр. рис.] / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. — Югры, Авт. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. — Югры «Твор. об-ние «Культура»; [ред.-сост. Т. А. Молданова; отв. за вып. Н. А. Молданова]. — Ханты-Мансийск: Принт-Класс, 2015. — 443 с.: схемы, цв. ил.**

В альбоме представлены этнографические рисунки традиционной одежды, выполненные эстонскими художниками под руководством Эдгара Саара в 1980-х гг. в ходе экспедиции к местам традиционного проживания коренных народов на территории Ханты-Мансийского автономного округа: ханты, манси, лесных ненцев.

Материалы экспедиции Эстонского национального музея представляют богатый источник исследования не только в этнографическом аспекте, но и с точки зрения традиционного искусства обских угров.

**Поселения, постройки, средства передвижения, орудия труда народов Югры: [альбом этногр. рис.] / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. — Югры, Авт. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. — Югры «Твор. об-ние «Культура»; [сост. Т. А. Молданова; отв. за вып. Н. А. Молданова]. — Ханты-Мансийск: Принт-Класс, 2015. — 236 с.: схемы, цв. ил.**

В данном издании продолжается публикация этнографических рисунков, выполненных эстонскими художниками под руководством Эдгара Саара в 1980-х гг. в ходе совместных экспедиций Эстонского национального музея и Научно-методического центра народного творчества и культуры г. Ханты-Мансийска на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

В издании представлено 214 изображений построек, средств передвижения, орудий производства. Материал собран в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Югры: поселках Саранпауль, Щекурья, Хурумпауль, Ясунт Березовского района, Верхние Нарыкары Октябрьского района. Материалы по северным ханты собраны в поселениях Тугияны, Казым, Осетное, Хуллор, Юильск Белоярского района. География предметов восточных ханты включает в себя поселения Сургутского и Нижневартовского районов.

*Подготовила Анастасия Кениг,  
заведующая отделом краеведческой  
литературы и библиографии  
Государственной библиотеки Югры*

Светлана БЕЛЯЕВА

## НОВОСИБИРСК НИКОЛАЯ ГРИЦЮКА

*Из коллекции Новосибирского государственного  
художественного музея*

Николай Демьянович Грицюк (1922—1976) — живописец, график. Учился на художественном факультете Московского текстильного института у В. В. Почиталова (1946—1951). С 1952 г. работал в Новосибирске. Член Союза художников СССР с 1955 г. В 1964—1967 гг. был председателем Новосибирского отделения СХ. Участник многочисленных областных, зональных, республиканских, всесоюзных и международных выставок. Прижизненные персональные выставки проходили в Москве (1961, 1967), Новосибирске (1961, 1964, 1965, 1967, 1970, 1972), Кемерово (1967, 1974), Воронеже (1968), Рязани (1969), Риге (1973), Новокузнецке (1974), Омске (1975), Таллине (1975), Белграде (1968), Варшаве (1969). Произведения Н. Д. Грицюка находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, художественных музеях Новосибирска, Барнаула, Томска, Новокузнецка, Кемерово, Красноярска, Саратова, Волгограда, Мурманска, Одессы; в Музее Альбертина (Вена, Австрия), Берлинской Национальной галерее, Музее Людвига (Кельн, Германия); в отечественных и зарубежных корпоративных и частных собраниях.

Серия «Новосибирск» — самая обширная в творческом наследии Николая Демьяновича Грицюка, самая разнообразная по трактовке мотивов, колористическим решениям, технике исполнения листов. К образам города художник обращался вновь и вновь на протяжении всей жизни, создав сложный, многоликий портрет Новосибирска, став, по словам известного искусствоведа В. С. Манина, его «поэтом и философом».

В собрании Новосибирского государственного художественного музея хранится двадцать восемь произведений из этой серии, исполненных в 1950—1960-х гг. Они дают возможность проследить, как

формировался своеобразный, узнаваемый стиль автора, как в его работах появлялось все больше глубины и психологизма, как традиционная прозрачная акварель становилась в его листах все более плотной и материальной, дополнялась темперой или гуашью. Пожалуй, только самый ранний «Вход в кинотеатр им. Маяковского» можно назвать этюдом в привычном смысле этого слова. В других пейзажах натура все чаще оказывается для него не самоцелью, а лишь поводом для выражения впечатлений и размышлений.

Грицюк пишет дворы, улицы, стройки, нередко возвращаясь вновь и вновь

к заинтересовавшим его мотивам, пристально глядяваясь, как смотрят в лицо близкого человека, принимая и любя его таким, какой он есть. Не раз художник обращается к видам старого городского района, прилегающего к речке Каменке. Он создает композиции без неба, без свободного пространства, переполненные лепящимися друг к другу домиками, где, кажется, не остается места для человека. В некоторых листах появляются изображения многоэтажек: новая жизнь активно врывается в устоявшийся уклад, актуализируя извечную проблему старого и нового.

Эмоциональный строй произведений Н. Д. Грицюка очень разнообразен. Красив и величественен его «Красный проспект» (1959). Прозрачна, напоена студеным воздухом акварель «Зимний город. Морозное утро» (1959). Солнечным светом, радостью жизни насыщен пейзаж «Лето» (1961). «Вид с Оби» (1969) словно наполнен свежим, упругим ветром. Ощущение пространства и шири мастерски передается здесь спокойными горизонталями земли и неба, противопоставлением беспорядочного нагромождения многочисленных построек на дальнем берегу и ровно-голубой могучей глади реки. Но иногда в пейзажах Грицюка стены домов воспринимаются мрачными громадами, а маленькие дворики — тупиками. Акварель «Во дворе» (1960) — обычный городской мотив, увиденный из окна. Но так крошечен и пуст этот сдавленный глухими стенами дворик, откуда не видно выхода, так неестественно вытянулись и застыли посреди него человеческие фигурки, так резки и тревожны контрасты темного и

светлого, что изображение выходит далеко за рамки простого этюда, пробуждая множество мыслей и ассоциаций. Таков город Грицюка — красивый, шумный, мрачный, суетливый, лирический и жестокый.

В отдельную группу листов из новосибирской серии выделяются многочисленные строительные композиции — с ажурными башенками кранов, тяжелыми экскаваторами, стремительно вырастающими стенами домов. В названиях некоторых из них обозначен точный адрес: «Кировский массив», «Академстрой», но чаще встречаются иные наименования: «Стройплощадка», «Строймассив». И действительно, это не столько изображения конкретных мест, сколько образы быстро меняющегося города. В этих работах меньше драматизма, меньше подтекстов; в них отражено простое любовное отношение к растущему городу, привлекательным своей неумолимой жизненной силой. Апофеозом, своеобразным гимном стройке воспринимается «Строительная импровизация» (1966). Ее декоративная композиция напоминает нарядную мозаику, собранную из множества коричнево-серых фрагментов разных оттенков. Ритм динамичных линий, цветовых пятен создает ощущение жизнерадостности и энергичности. Эта работа принадлежит к числу своеобразных грицюковских «фантазий», занимающих значительное место в его наследии.

Произведениям новосибирской серии Н. Д. Грицюка присущи многогранность и неоднозначность образов, глубокая искренность их воплощения — и в этом заключена сила и притягательность творчества художника.



## АВТОРЫ НОМЕРА

**Беляева Светлана Анатольевна** — главный хранитель Новосибирского государственного художественного музея.

**Бимаев Анатолий** родился в 1987 г. в пос. Солнечный Красноярского края. Окончил юридический факультет Хакасского государственного университета, учится в аспирантуре на филологическом факультете. Публиковался в журнале «Нева», альманахе «Порог». Живет в Абакане.

**Зайков Николай Николаевич** родился в г. Черемхово Иркутской области в 1953 году. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Журналист, с 1992 по 2007 г. — главный редактор газеты «Вечерний Новосибирск». Живет в Новосибирске.

**Кекова Светлана Васильевна** родилась в 1951 г. на Сахалине. Окончила филологический факультет Саратовского государственного университета. Доктор филологических наук. Автор более десяти книг стихотворений, литературоведческих книг и статей, посвященных творчеству Н. Заболоцкого, А. Тарковского, В. Ходасевича, В. Набокова, Ф. Достоевского, философов Ф. Степуна и С. Франка, поэтов-обэриутов и др. Стихи Кековой переведены на все европейские языки. Лауреат многих литературных премий. Член Союза российских писателей. Живет в Саратове.

**Косогов Владимир Николаевич** родился в 1986 г. в г. Железногорске Курской области. Окончил филологический факультет Курского государственного университета. Работает в СМИ. Живет в Курске.

**Папкина Елена Алексеевна** — старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, кандидат филологических наук. Сфера научных интересов: русская литература 1920-х гг. Автор более 40 печатных работ. Публиковалась в журналах «Вопросы литературы», «Сибирские огни» и др. Живет в Москве.

**Пивень Сергей** родился в 1976 г. в Алтайском крае. Окончил юридический факультет Алтайского государственного университета. Работал в органах прокуратуры, в настоящее время занимается адвокатской

практикой. Автор книг «В награду — расстрел», «Засада». Живет в Барнауле.

**Пономарёв Павел** родился в 1984 г. в Рубцовске, окончил филологический факультет АлтГПА. Преподает словесность в Алтайском краевом колледже культуры. Живет в Барнауле.

**Тарасов Алексей** родился в 1967 г. в Кургане. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Работал в «Известиях», «Московских новостях», «Новой газете». Лауреат премии фонда В. П. Астафьева (1996). Живет в Красноярске.

**Сухачёв Александр Павлович** родился в 1955 г. в с. Ново-Кускове Томской области. Окончил Томский инженерно-строительный институт. Работал мастером, прорабом, начальником строительного управления, главным инженером ДСК (домостроительного комбината). Ветеран войны в Афганистане. Живет в г. Рубцовске Алтайского края.

**Тарковский Михаил Александрович** родился в 1958 г. Окончил Московский государственный педагогический институт. Публиковался в журналах «Новый мир», «Юность» и др. Лауреат литературной премии «Ясная Поляна» (2010).

**Устименко Алексей** родился в Новосибирске в 1948 г. Окончил Ташкентский государственный университет. Работал в Средней Азии собкором ряда центральных изданий, главным редактором журнала «Звезда Востока». Первые рассказы и очерки публиковались в газете «Молодость Сибири» (Новосибирск). Автор нескольких книг прозы, публиковался в журналах «Дружба народов», «Новая Юность», «Нева» и др. Живет в Ташкенте.

**Шекшеев Александр Петрович** — кандидат исторических наук, член правления Хакасской республиканской организации общества «Мемориал», автор трех книг и 250 научных статей и сообщений. Печатался в журналах «Вопросы истории», «Российская история», «Родина», «Гуманитарные науки в Сибири», в альманахах «Белая гвардия», «Тобольск и вся Сибирь» и др. Живет в Абакане.



## МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

**Работают отделы:**

**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

**Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

Верстка: *О. Н. Вялкова*

Корректурa: *М. Н. Долгов*

**630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19,**

**тел.: (383) 223-10-15**

**E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [сибирскиеогни.рф](http://сибирскиеогни.рф)**



Сдано в набор 11.05.2016 г. Подписано в печать 2.06.2016 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7.

Тираж 1500 экз.

**<http://книгосибирск.рф>**

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.